В. Богомолов ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ

Владимир Богомолов

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ

Владимир
Богомолов

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ

Повести
и
рассказы



Нижне-Волжское
книжное
издательство
Волгоград
1984

Рукопись рецензировал и рекомендовал
к изданию член СП СССР В. С. Макеев

Богомолов В. М.

Б74 Особое задание: Повести и рассказы.— Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1984.— 400 с.

Новый сборник волгоградского прозаика В. Богомолова состоит из повестей и рассказов, написанных им в разное время.

В повестях «Все сначала», «Две встречи» и «Останутся навечно» автор показывает мужество и героизм советских людей, проявленные в борьбе с фашистами, раскрывает их высокие моральные качества.

Рассказы В. Богомолов посвящает в основном нашим современникам.

Б $\frac{4702010200 — 027}{М151(03)—84}$ 24—84 84Р7

ВЕРНОСТЬ ГЕРОИКЕ

Героический характер, подвиг, его нравственное содержание всегда интересовали литературу. В русской литературе от «Слова о полку Игореве» до «Войны и мира» подвиг во славу Отечества был едва ли не высшим проявлением человеческого духа. Советская литература, развивая эту тему, неизмеримо расширяла диапазон проявлений героического: героика и подвиг в мирное время, мужество защиты идей коммунизма, защиты социалистического Отечества. Богатство философских концепций, представлений о человеке, выработанное классической русской литературой, умножилось в советской представлениями об интернациональном долге, о служении идеям революции, о творческой силе революционного народа, рождающей новый тип героизма.

В. Богомолов в своих книгах разрабатывает героическую тему, свободную от внешних эффектов, от сверхнеобычных ситуаций, от исключительности. Писатель стремится рассмотреть то, что объединяет его героя со всеми советскими людьми, нравственные истоки мужества. Такое представление о характере героического ставит перед писателем сложные задачи, но оно же дает ему возможность создавать правдивые характеры, показывать природу героизма советского человека художественно убедительно.

В чем секрет притягательности новой книги В. Богомолова? Читатель, познакомившись с ней, не задумываясь, ответит: в яркости характеров, в оптимизме авторского восприятия и изображения жизни. В том, что это неотъемлемое свойство нашей действительности, убежден каждый, и все мы помним, что даже самые трагические страницы литературы социалистического реализма внутренне глубоко оптимистичны. Они служат выражением

жизнеутверждающего пафоса нашей жизни, социалистического гуманизма, потому что пример гибели во имя торжества идей трудового народа возвышает и очищает, а идеи эти не умирают, потому что истинны и потому что защищают их честные, мужественные люди.

Однажды выбрав своим героем человека подвига, бесстрашного и мужественного командира гражданской войны Дундича, В. Богомолов остался верен теме прославления сильных духом и чистых сердцем. Прикоснувшись к историческому, граничащему с легендарным материалу, писатель уже не мог отказаться от желания соединить правду истории с художественной правдой в изображении героики гражданской войны и героики нового поколения — поколения Великой Отечественной.

Под одной обложкой в этой книге помещены повести и рассказы о событиях времен боев за Советскую власть и мирного строительства, о борьбе с фашистскими захватчиками и о силе человеческого добра и любви, созданные автором за сорок лет. В этом смысле книга является своеобразным творческим отчетом перед читателями-земляками.

Повесть «Останутся навечно» посвящена героям партизанам, действовавшим в 1942 году на территории нашей области. Она документальна в своей основе, и в то же время в ней есть широта дыхания художественного полотна. Автор рассказывает о тех, кто в трудные дни обороны Сталинграда в степях междуречья помогал Советской Армии бороться с фашистами, помогал готовить победу.

На просторах донских степей живут и трудятся Зиновий Романов и Пимен Ломакин, старые рубаки-буденновцы, юный Миша Романов и его друзья. Неторопливо и точно выписывает В. Богомолов спокойную кряжистую фигуру казака коммуниста старшего Романова, готового по приказу партии и велению сердца ехать в отдаленный степной колхоз, а в трудную минуту взять в руки оружие. Под стать ему бывший эскадронный, когда-то лихой рубака и находчивый разведчик Пимен Андреевич Ломакин. Лирично и просветленно воссоздается жизнь младшего Романова, открытого в детском приятии мира, чуткого к добру, смелого уже в самой готовности защищать правду, бороться со злом.

Незаметно меняются планы повествования — от от-

страненно эпического изображения жизни села и небольшого городка Котельниково к восприятию, чувствам и мыслям героев. Меняется место, появляются новые персонажи, мир повести наполняется живыми людьми. И чем ближе к военной поре, к испытаниям, подвигу, тем напряженнее атмосфера повествования, экономнее детали.

Характеры героев раскрываются прежде всего в делах, в поступках. В. Богомолову удается уравновесить описание и диалоги динамикой жестов, наполненностью чувств; автор живописен в показе природы и может расширить эпический простор картины естественным включением песни, как это происходит в сцене объяснения отца Мише, почему больше всего в степи красных тюльпанов.

Вообще сдержанный в деталях, автор подробно, когда это требуется, описывает, например, зачисление старых буденновцев вместе с Мишей в партизанскую школу, действия подпольщиков и партизанского отряда Ломакина. В эпизодах коротко, но памятно появляются командующий Сталинградским фронтом Еременко, представитель Центрального штаба партизанского движения Кругляков, начальник партизанской школы Добросердов.

Все это реальные исторические лица, как и прочие герои повести, и документальная точность только усиливает художественную правду о защитниках Родины, объединяя в себе подлинность документа и верность переживаний юного связного, его старших друзей-товарищей.

В нашей литературе правда о подвиге народа, о партизанской борьбе всегда в произведениях К. Симонова, Ю. Бондарева, В. Быкова, Б. Васильева рождается из увиденного и пережитого, из документа и художественного обобщения. В. Богомолов нашел свой путь раскрытия этой темы: открытое, прямо выраженное восхищение характерами своих героев и точное живописание их без излишней аффектации, без красивости. Поэтому и веришь тому, что и как герои говорят, что и как они чувствуют. Читаешь и видишь: так было! И возникает по прочтении повести то чувство, которое поэтически строго выразил А. Твардовский: «Есть имена и есть такие даты — они нетленной сущности полны...»

В этой книге читатель вновь встречается со знакомы-

ми ему уже по другим книгам героями — Дундичем и его друзьями в рассказе «Письмо его превосходительству». А мир сильных духом характеров пополняется новыми именами. Мария Казанская из рассказа «Особое задание», хрупкая и миловидная, совсем не похожая на человека железной воли, выполняет задание, сопряженное со смертельным риском. Внутренний драматизм поединка девушки с матерым белогвардейским контрразведчиком передается психологически тонко и вместе волнующе. Автор как бы раскрывает в словах героини свое отношение к деталям: «Эти детали очень важны. По каждой из них можно определить довольно точно состояние человека».

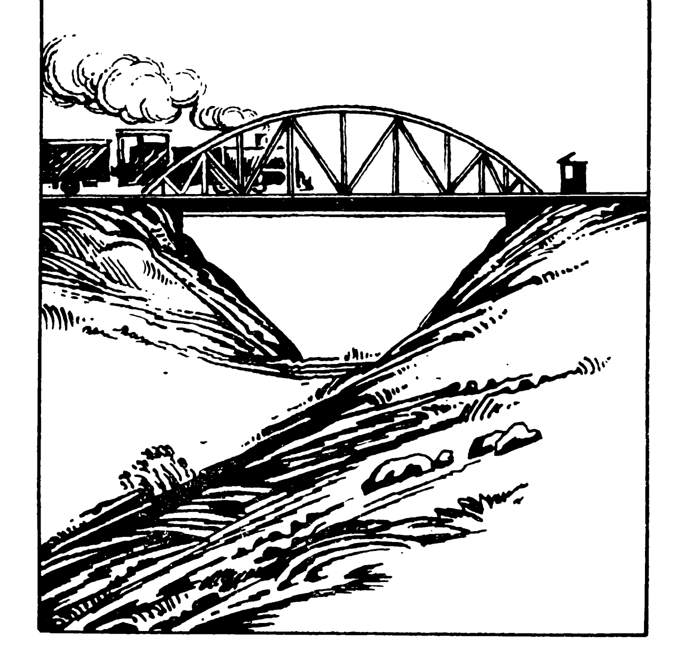
Сильные духом люди, как правило, обладают цельным характером, духовно богатые — они щедры на доброту. Таковы герои маленькой повести «Все сначала», рассказа «Две встречи», сумевшие преодолеть психологическое отчуждение, сохранить любовь; такова Галина Крапивка, молодой инженер, отчаянно защищающая свою правоту, потому что плотина, которую строят люди, должна быть прочной, таковы герои других рассказов.

Автор книги, изображая своих героев в буднях мирных строек и в испытаниях военных лет, создает как бы единый обобщенный образ — сталинградский характер, советский характер.

Книга В. Богомолова — и память погибшим, и живое свидетельство того, что сила идей коммунизма и сила духа людей, служащих этим идеям, способны преодолеть все препятствия, чтобы, по словам нашего земляка поэта Михаила Луконина, «работой прославить в мире мир навсегда».

Кандидат филологических наук
А. М. БУЛАНОВ

ПОВЕСТИ



ОСТАНУТСЯ НАВЕЧНО

ДО СВИДАНЬЯ, ГОРОД

Зиновий Афиногенович возвратился с работы чуть раньше обыкновенного и, как успели заметить дети, необычно возбужденный, прямо ликующий какой-то.

— Ну, мать,— набатом гудел его голос в кухне, куда он шагнул, повесив куртку.— Нужон еще Зиновий Романов своей партии. А ты говоришь, будто нас давно в архив списали...

— Премию дали, или опять грамоту?— осторожно полюбопытствовала жена, собирая на стол.

— Почему обязательно «дали»,— удивленно вскинулись подбитые сединой широкие брови Зиновия.— А впрочем, ты маленько угадала,— подобрело большое лицо мужа.— Дали. Только на этот раз ответственное поручение...

Анна Максимовна с любопытством посмотрела на мужа. За пятнадцать лет совместной жизни она уже привыкла к сочетанию слов «ответственное поручение». Хотя по ее мерке некоторые из них не казались ей таковыми. Назначили агитатором среди ремонтников, утвердили членом избирательной комиссии по выборам в местные Советы, поручили отвезти в подшефный колхоз зубья для борон и диски сошников сеялок... Будто нет у них в организации кого помоложе, посвободнее от семейных забот. А он — нет, точно сем-

надцатилетний, за все берется с азартом, с такой ответственностью, словно кроме него никто не сможет выполнить это поручение. А как доходит до повышения в должности, то одни отговорки. То возраст уже не тот, не перспективный, то грамотности немножко не хватает, то культурный уровень не на высоте... Вот так и дослужился всего-навсего до весовщика железнодорожного узла. И доволен.

— Да ты пойми, мать,— говорил он самозабвенно в такие минуты.— Какое ответственное поручение дала мне партия: быть ее глазами в весовом деле, чтоб ни обвеса, ни перевеса. Потому как социализм — это учет.

То было давно. А сегодня... После обеда вызвали его в райком партии, и там первый секретарь, выйдя из-за стола и пожимая тяжелую, как кувалда, руку Романова, с затаенным волнением сказал, что вся надежда на него, бывшего красного партизана, конника-буденновца, старого партийца. Словно собирался райком командировать своего учетного не в соседний колхоз возглавить партийную организацию, а в какое-нибудь тридевятое государство занять должность политического комиссара всех революционных полков.

Ну, пусть посудит она, пусть дети посудят, разве мог он отказаться от такого ответственного поручения?

— Ах, отец, отец,— только и сказала на этот раз Анна Максимовна.

Она спешнее обычного налила борщ в алюминиевую миску, пододвинула мужу тарелку с хлебом и, усадив на колени младшенькую Лидушку, с сожалением взглянула на старших — Тамару, Валентину, Мишу. Ее взгляд как бы приглашал их не оставаться безучастными свидетелями, а вступить в разговор, занять позицию матери, подсказать отцу, что пора ему остепениться. Разве шутка, через три года шестьдесят стукнет. Только-

только жить начали. И на тебе, все бросай, поезжай в хутор. Другие-то знакомые из села в город норовят, а тут наоборот. Так всю жизнь.

Всю жизнь... Она смотрит на большие руки мужа, бережно несущие ложку и хлеб ко рту, на крутые челюсти, на все еще пышные усы, двигающиеся вместе со скулами, на подбитый серебром чуб, решительно нависший над высоким лбом, и почему-то с нежностью начинает вспоминать, где и как она обнаружила у мужа первую седую прядку, первую глубокую бороздку под глазами. Эти первые приметы старости как будто предупреждали: остановись, передохни. Но Зиновий Афиногенович не замечал собственной осени. И она не хотела замечать, поэтому однажды попросила:

— Ты бы хоть подкрасил виски.

Он хмыкнул и упрекнул ее:

— Что же ты хочешь у меня такую красоту отобрать.

Она пригляделась пристальнее: верно, краше прежнего стал ее Зиновий.

И после этого всякую новую примету осени на его лице они встречали как праздник весны. Главное, заметила Анна Максимовна, душой он не изменился. Силушки в нем не поубавилось. За эту молодость духа неизбывно любила она своего казака.

Завтра на железной дороге он получит расчет и выедет в село. Там вечером состоится собрание коммунистов. Медлить нельзя ни минуты. Сев затянули. Тракторы плохо подготовили к весенне-полевой кампании. Может, орудуют там подкулачники, которых они выселяли в тридцатом году в Сибирь. Сегодня кое-кто из них вернулся. Документы у них чистые, а вот насчет совести — надо проверить. Иначе чем объяснить, что передовой колхоз «Красный партизан» оказался в хвосте по всем статьям.

— Ты горячку-то не пори, отец,— настав-

ляла его как малого Анна Максимовна.— Разберись сперва, а потом уж принимай решение.

— Будь спокойна, мать,— заверил ее Зиновий.— Глаз у меня еще вострый, и рука твердая. Если там орудует недобитая контра, я ее выведу на чистую воду. Ну, а если хозяйство запустили по неумению или по нехватке техники, поможем разобраться.

Они стали держать совет: когда лучше забрать семью. Судили, рядили и решили: отец с Мишей уедут завтра, будут потихоньку готовить дом, а мать с девочками останется до окончания экзаменов. Тамара заканчивала седьмой класс, а Валентина — пятый. Конечно, мужчины могли бы забрать с собой меньшую — Лидушку. Но кто за ней там будет ухаживать? Отвезти ее к бабушке? У той и без Романовых внучат полный двор. А Мише очень полезно попить утром парного молока, поесть свеженьких яиц и сметанки. И пусть он там не в конторе сидит, ожидая отца, а больше бывает на свежем воздухе.

Когда солнце ушло за могучие купы дубравы, во двор заглянул давний друг Романовых, бывший командир краснопартизанского отряда Пимен Андреевич Ломакин. Был он старше Зиновия всего на год и тоже выглядел бодро, даже молодцевато. Живые острые глаза, всегда нацеленные на собеседника, тяжеловатый подбородок, большой нос с горбинкой в минуты вдохновения или глубокого раздумья придавали его загорелому лицу черты большого государственного деятеля. Но в семье Романовых любили его не за монументальность, а за широкую, добрую улыбку. Казалось, никакие житейские, служебные неурядицы и невзгоды не в силах отнять у этого старого буденновца великого жизнелюбия, которым он был, в октябрьские дни семнадцатого года, заряжен как патрон порохом.

— Романовы дома?— весело спросил Пи-

мен Андреевич, оставаясь на пороге, хотя он отлично видел, что вся семья сидела тесно за небольшим столом. Но такая уж была привычка у Ломакина — первым делом узнать, все ли дома, а затем уже пожелать друзьям доброго здоровья, благополучия и долголетия.

— Вот-вот,— не очень приветливо встретила гостя на этот раз Анна Максимовна.— Твои бы слова да богу в уши.

— Что так, Аннушка?— встревожился не на шутку Ломакин, проницательно глядя на своего старого верного товарища.— Какая беда переступила твой порог?

— Тебя-то никуда, небось, не посылают,— с укором сказала Анна Максимовна,— а нашего отца парторгом в Майоровский направляют.

Широкая светлая улыбка осветила добродушное лицо Пимена. Ну до чего же смешными иногда выглядят их жены! Не понимают, какую великую честь оказывает партия, посылая своих старых бойцов на самые трудные участки, на прорыв... И ведь говорят об этом бабы, не задумываясь, что рядом дети, что неразумные речи входят в их сознание, проникают в душу. Вот и у него дома сколько раз возникали подобные сцены. Сколько раз критиковали бывшего эскадронного, лихого рубаку и находчивого разведчика за то, что в мирное время не доверяют ему больших постов, высоких чинов. Да разве он за чины дрался с мировой контрой? Чтоб простому трудящемуся жилось при новой власти по-человечески. И чтоб к руководству таким большим и сложным хозяйством встали люди молодые, грамотные, культурные, то есть наши дети, внуки. Погодите чуток, подрастет ваш Мишутка, доверим мы ему портфель большого районного начальника, а может, областного. Да чем черт не шутит, глядишь, станет Михаил Зиновьевич Романов каким-нибудь наркомом...

И так задушевно говорил Пимен Андреевич, что глаза Анны Максимовны покрылись влагой. В ее сердце вдруг поднялось теплое чувство уважения к старому другу мужа. Слушая Ломакина, мать прижала к себе сына, веря в его светлое будущее, так заманчиво и в общем-то реально нарисованное желанным гостем.

Мужчины вышли на крыльцо, присели, достали кисеты, скрутили по «козьей ножке», всласть затянувшись собственным самосадом, доверительно взглянули друг на друга и только после этого заговорили о том, что тревожило их сердца. Заговорили о войне, которая неудержимой огненной лавиной катится к границам Советского государства и с запада и с востока.

— Неужели еще доведется седлать коней?— с затаенной тревогой спросил Зиновий Афиногенович старшего товарища.

— Все может случиться, Финогеныч,— не решился разуверить Романова Пимен.— Но я так рассуждаю: нам с тобой дали отставку, значит заставят в тылу работать. А я бы за милую душу еще поскакал с саблей... Да ведь не доведется. Не допустит наше правительство, чтоб фашисты перешли границу. Читал, как наш дорогой Клим сказал: если сунутся, будем бить гадов на чужой территории.

— Это бы хорошо,— согласился с Ломакиным Зиновий.— Но меня дюже смутила война на этой проклятой линии Маннергейма... А ежели у них кругом такие укрепления?

— Да и у нас в приграничной полосе кое-что имеется,— уверил его друг.— Не сидим же мы, сложа белые рученьки. Сам видишь, все меры принимаем. Вон мой знакомец один на «Красном Октябре» работает, сталь варит. Рассказывал: такую броню для танков изобрели, что никакой снаряд не пробивает, как от стенки горох... А боевую смену как готовим! Парашютные вышки для них по-

настроили, аэроклубы открыли, кружки разные технические...

— Знаю,— расправил все еще густые усы Романов.— Сам занимался с мальцами в кружке ворошиловских стрелков... Я ведь не сомневаюсь в силе русского оружия, Пимен. Я толкую про то, что война будет не прежняя.

— Да ведь и мы не прежние,— с достоинством сказал Ломакин.— По себе можешь судить. Думал ли ты когда-нибудь, что направят тебя на такой ответственный участок? Честно говоря, Зиновий, завидую я тебе немножко. Тебя парторгом рекомендуют, а меня сегодня подчистую списали. Вызвали в военкомат и сообщили: снимаем вас, Пимен Андреевич, с воинского учета.

— Ну, а ты?— приподнялся Романов, услышав такую неожиданную новость. Ведь этак скоро и его могут пригласить в райвоенкомат.

— А что я?— переспросил Ломакин.— Начал было шуметь. Дескать, несправедливо это, я еще и в огонь, и в воду. А военком спокойно так говорит: «Ни в огонь, ни в воду мы посылать вас не будем, а к оборонной работе, если пожелаете, прикрепим. Идите в райком Осоавиахима. Там опытные бойцы очень нужны». Буду теперь ходить на пионерские сборы, рассказывать казачатам, как мы контру громили. Вот так-то, брат,— не очень добро закончил исповедь Ломакин.— Ну, давай на прощанье еще по одной засмолим да разбежимся. Завтра ты в Майоровский, а я в Заветинский район, по отарам, элитную породу отбирать для науки...

Расставаясь, Пимен Андреевич как бы вспомнил забытое:

— Да, ты не стесняйся. В случае тугана́ какого, обращайся за помощью прямо ко мне. Народ организую, подможем. Словом, будем крепить союз серпа и молота. И Сергею Ивановичу мой поклон и привет...

Проводив Пимена за калитку, Зиновий Афиногенович долго смотрел вслед удаляющемуся другу, словно виделись они в последний раз, словно судьба навечно разъединяет их.

Не знал тогда Романов, что в оставшиеся мирные месяцы они действительно больше не встретятся и что в грозовом августе сорок второго пути-дороги друзей вновь тесно переплетутся, так тесно, что жизнь их кончится в один и тот же час и прах их будет покоиться вечно в одной братской могиле. Но это все будет потом, через полтора года, а сегодня старые друзья, расставаясь, как обычно, думали каждый о своем деле, о том, как его лучше сработать...

Итак, завтра в жизни Миши Романова наступит перемена. Что хорошего принесет она? Друзей-приятелей он оставляет здесь. Голубей у него нет больше. Как его встретят хуторские? Он по себе знает, как нелегко приживаются новички на улице и в классе.

Когда они переехали с улицы Сербина, где жили в низах у доброй и веселой Анны Григорьевны, на эту улицу, Миша не сразу нашел себе приятелей. И вроде характер у него общительный, и песни петь он мастак, и под балалайку сплясать может. А сколько дней уличные пацаны не принимали его в свою компанию. Все приглядывались. И только когда Мороз у Пичуги зажилил бабку со свинчаткой и никто не посмел вступиться за конопатого пацана, Миша подошел к пострадавшему и предложил:

— Давай вдвоем отнимем.

Морозов, уже тогда крепкий, откормленный, нагло засмеялся ему в лицо и издевательски заметил:

— Нет, гляньте, во дает цыганенок.

Но бабку кинул к ногам Пичугина. Только тогда Романова приняли за своего. А старшие ребята, услышав вечером, как он поет казачью песню «Из-за леса, леса — красные

полки», увели его на околицу и попросили, чтобы научил их. До ярких звезд звенел над притихшей степью чистый, как ручей, голос Миши. Он то поднимался высоко-высоко, то падал на самую землю.

И настолько песня сдружила ребят этой окраинной улицы, что в сентябре, когда старшие пошли в школу, шестилетний Миша увязался за ними. Он пришел на урок как на большой праздник — в новой сатиновой рубашке и длинных брюках, перешитых из старых отцовских шаровар. На черной, будто обугленной голове сверкала всеми цветами радуги расписная феска. Кто знает, может, так и закончил бы досрочно первый класс, если бы не дождливая холодная осень.

Промочил Миша ноги, сильно простыл. Пока его лечили травяными отварами, выпал на улице снег. Смастерил своей детворе Зиновий Афиногенович завидные салазки, а Мише деревянные коньки.

Как давно все это было. Первый класс и деревянные коньки, песни в степном раздолье и голубиная воркотня на крыше... Теперь все это останется лишь в воспоминаниях, а все новое будет в хуторе.

Хутор этот, правда, не за кудыкиной горой находится, а всего-навсего в двенадцати километрах. Но все равно, жалко расставаться со всем, к чему привык за одиннадцать лет.

Когда отец отправился на станцию, Миша решил заглянуть в школу. Он вошел в свой класс. Распахнул раму и сел на подоконник.

Со стены на него немного насмешливо смотрел Пушкин. Поэт точно говорил мальчику голосом отца: да ты не грусти понапрасну, Мишутка, поверь мне: будут у тебя в Майорове друзья не хуже здешних, и школа там есть, и учителя.

Романов согласно кивнул головой и вышел из класса. Направился в конец коридора.

Вот и библиотека. Сейчас она закрыта. Но даже сквозь доски, словно сквозь стекло,

Миша отлично видит стеллажи с книжками, маленький столик с абонементным ящиком, где на букву «Р» есть и его карточка.

Миша даже видит библиотекаря — Евгению Евгеньевну Георгобиани. Высокая, стройная и совсем седая. Лицо этой женщины, с орлиным носом и черными широкими бровями, Романов запомнит на всю жизнь. Это она первая узнала, поняла, почувствовала сердцем, какую именно книжку нужно дать Мише, чтобы пробудить в нем интерес к чтению.

Когда Евгения Евгеньевна встретила Мишу в школе, она завела его в библиотеку и сказала, что каждая книга — это большой и настоящий друг человека. Только надо уметь выбирать друга. Вот, например, Миша любит каких друзей? Сильных и смелых, и чтоб они не врали. Евгения Евгеньевна улыбнулась и протянула руку к тоненькой книжке в красной обложке. На ней был нарисован мальчик в драных штанах, в женской кофте и с веселой физиономией — маленький парижский бродяга Гаврош.

Он читал про его короткую и отважную жизнь почти всю ночь. На следующий день Миша возвратил «Гавроша», а взамен получил гайдаровскую книжку с непонятным названием «РВС»...

Внизу, у самого выхода, Миша остановился еще раз. Не мог уйти из родной школы, не заглянув, хотя бы на минуту, в пионерскую комнату. Дверь была открыта, и там слышался плеск воды и шлепанье тряпки.

— А, Романов, Михаил,— добродушно проговорила тетя Дуся, увидав старого знакомого.— А я думаю, кто это там шастает. А это, оказывается, ты. Никого нет. Ты, милок, приходи уже теперь на экзамены.

— Да я просто так,— улыбнулся Миша.

— Ну, тогда гляди,— разрешила уборщица и вновь занялась полами.

Год назад вон под тем знаменем дружины

сам Пимен Андреевич Ломакин большими мозолистыми руками неуклюже завязал на груди Миши красный галстук и сказал:

— Теперь ты — наша кровная частица. И обязан по тревоге в любое время встать в строй верных бойцов Отечества.

— Всегда готов!— вскинул руку над головой пионер.

А тревога была повсюду. Еще дрались разрозненные группы красных басков против франкистов за Пиренейскими горами, отбивала натиск самураев и чанкайшистов народная армия Китая, пробовали крепость наших северных рубежей белофины, кованые сапоги германских фашистов топали по горячей земле Польши, война катилась дальше к границам Советского Союза. И партия поднимала по тревоге своих лучших бойцов. Правда, она не трубила общий сбор. Но по всему чувствовалось, что она готовит людей к обороне первой в мире республики рабочих и крестьян.

Мускулистые, загорелые вчерашние десятиклассники шли в авиационные и военно-морские училища. Они учились стрелять по-ворошиловски, покорять небо по-чкаловски...

Обо всем этом говорили на пионерских сборах, на комсомольских собраниях старшие товарищи: шефы — рабочие железнодорожного депо, работники райкома общества содействия авиации и химии, ветераны партии, кто получал свой билет в грохоте великих сражений гражданской войны. И в такие минуты Мише казалось, что гражданская война, на которую он так безоговорочно опоздал, еще не кончилась. Ее звуки слышны сегодня в песнях отцов, в новых песнях про Орленка, Каховку, матроса Железняка...

А праздничными вечерами старые партизаны собирались у кого-нибудь из друзей, и тогда до глубокой ночи над двориком, над сводами комнат грохотало эхо гражданской войны в рассказах, бесконечных воспомина-

ниях, песнях. Особенно Миша любил, когда партизаны приходили к ним в гости. Эти сборы оставили в его памяти такие песни, от которых волосы на голове шевелятся, а по спине бегают мурашки.

В такие вечера Миша жалел только о том, что этих песен не слышат Власова и Королева. А ведь Лика тоже очень любит музыку. В этом Романов убедился, когда однажды она пригласила его к себе и он увидел на тумбочке патефон, а в коробке набор грампластинок. По одному его взгляду она догадалась, что ее новому товарищу страсть как хочется послушать патефон.

— Заведем?— спросила Лика, доставая пластинку.

— Если можно,— застенчиво оглянулся он на дверь, за которой слышались голоса взрослых.

Лика поставила на синий бархат диска пластинку, покрутила ручку и опустила мембрану. Комната наполнилась звуками рояля. Они, словно живой голос, бурно и страстно звали куда-то, тревожили... Пусть не так, как знакомые песни.

— Шопен,— сказала Лика, снимая пластинку.— «Революционный этюд».

— Раз «Революционный», значит, хороший,— одобрил ее вкус Миша.— Но все равно наши песни лучше.

— По-своему лучше,— совсем как взрослая заметила Королева. И рассказала своему сверстнику, что кроме Дунаевского и Чайковского, имена которых Миша знал, есть очень много прекрасных композиторов. Ну, например, Бетховен и Бородин, Верди и Даргомыжский...

— Я же не спорю,— вяло соглашался Романов.— Но наши песни все равно лучше их-них. Вот послушай, хотя бы эту.

И Миша вполголоса запел:

Под частым разрывом гремучих гранат
Отряд коммунаров сражался...

От такта к такту песня росла, крепла, звенела. Она звала не только помнить, но и продолжать дело тех, кто, стоя на обрыве братской могилы, верил, что отныне и во веки веков будет жить свободная Советская Русь...

— И о чем ты, друг сердечный, печалишься,— перебила Мишины мысли тетя Дуся.— На другой год останешься? Эка невидаль. Не из разгильдяйства, поди, а из-за болезни...

— Так-то оно так,— по-взрослому ответил Романов,— а все равно обидно.

— А ты делай, как мой Васька,— назидательно сказала тетя Дуся.— Он у меня до десяти годков был не лучше тебя, лядащий. А потом батька его заставил насильственно каждый день физкультурой заниматься и, главное, холодной водой обтираться... Так теперь никакая, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, хворь к нему не пристает.

— Я тоже буду,— сказал, как о чем-то твердо решенном, Миша.— Мне доктор рассказал, как это делать... Только уезжаем мы.

— Далеко?

— В Майоровский.

— Так то же ваша родина. Тебе там, как стригунку, раздолье будет. Слушай, друг сердечный, а может, тебе поступить в какое-нибудь училище? Вот Васька наш еле дождался конца семилетки. А теперь в ремесленном отличник. И в каком-то Осохиме днюет и ночует. То с парашютом прыгает, то винтовку разбирает, то гранату припрет...

— Меня не возьмут, лет мне мало,— напомнил тете Дусе Романов.— Только одиннадцать.

— А-а,— протянула с сожалением уборщица.— И верно. Наш-то уже за девками бегает. Третьего дня так хвалил вашу пионервожатую.

Что ни говори, а с новой старшей пионервожатой им здорово повезло.

ДЕРЖАТЬ РАВНЕНИЕ НА ЗАРЮ!

Наталья Леонтьевна Власова приехала в Котельниковскую железнодорожную школу после ноябрьских праздников из Сталинградского педагогического училища. Приехала на преддипломную практику.

С короткой мальчишеской русой челкой, открытым добрым лицом, эта голубоглазая восемнадцатилетняя комсомолка будто была рождена для работы с детьми. Она в первый же вечер завоевала ребячьи сердца. Собрала после уроков всех пионеров и спросила, кто читал повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Оказалось, одна Лика Королева. Все с завистью поглядели тогда на четвероклассницу.

— А где ты читала?— спросила Наталья Леонтьевна.

— В «Пионерской правде». Мне папа выписывает,— с каким-то вызовом, как показалось Мише, ответила Лика. Она почти всегда отвечала вот так, приподняв круглый подбородок с маленькой ямочкой посредине. Из-за этого ее не очень жаловали котельниковские девчонки. Они секретничали на переменах, сбившись в кучу. Но стоило Лике подойти к ним, сразу замолкали.

Так случилось раз, и два, и три. Новенькая поняла, что одноклассницы не хотят с ней дружить, и перестала подходить к ним. Когда же она попыталась заговорить с мальчишками, те откровенно посмеялись над ней. Витька Морозов, самый рослый и сильный в классе, потянул Лику за косу и насмешливо спросил:

— Знаешь поговорку: гусь свинье не товарищ?

Лика сощурила глаза, подняла подбородок и в тон Витьке ответила:

— Ну, и кто гусь, а кто свинья?

— Вот оставлю без косы, тогда узнаешь,— рассердился уязвленный Морозов.

— Я только об этом и мечтаю,— в том же тоне продолжала разговор Королева.— На, режь.— Она подставила Витьке косу.

До приезда в этот маленький городок Королева жила в Москве. Но тяжело заболел отец, и врачи посоветовали ему переехать в степной район. Королевы приехали к своим дальним родственникам.

Вот с того вечера, когда Натка спросила про Тимура, и началась Мишина дружба с Ликой. Что ж, что она девчонка, зато с ней разговаривать интереснее, чем со многими мальчишками. Конечно, не считая тех, кто водит голубей или кроликов. С такими ребятами у него самая крепкая дружба. С ними он может часами говорить о своих сизарях и вяхирях.

Лике тоже нравятся голуби. Она даже попросила Мишу показать ей голубятню. Когда они влезли на чердак и Миша, открыв дверцу вольеры, достал своего любимца Колумба — голубовато-серого вяхиря, девочка от восторга даже зажмурилась. Она забыла вдруг о том, что, задрав подбородок, любит глядеть на все с легким прищуром. Она покорно попросила у одноклассника разрешения подержать голубя. Миша великодушно протянул ей Колумба.

Как все это давно было! Лика со своими рассказами о Москве, и Наталья Леонтьевна с вечерами в пионерской комнате, и Витька Морозов, который обещал приходить к нему в больницу каждый день, а не показывался неделями. Уж кому-кому, а ему Миша верил. Собственно говоря, ведь это из-за него пролежал он в больнице и дома почти две четверти, и теперь ему снова нужно идти в четвертый класс.

Перед самым Новым годом Натка принесла в пионерскую комнату газету «Дети Октября» и, сияя, как новенькая медаль, которой недавно наградили их библиотекаря, сказала, что по решению обкома комсомола и обкома

Осоавиахима в школах области идет подготовка к новой военно-спортивной игре «На штурм» в зачет норм на значок ГТО.

Сколько было восторга и шума в тот вечер! Во-первых, все хотели быть «красными». «Синие» — это все равно, что белые, а белые — все равно, что фашисты. Ну, а кто же захочет стать фашистом, когда они в Испании задушили республику, прошлой осенью захватили Польшу, а еще раньше разбомбили и сожгли города и деревни Абиссинии...

Спорили до тех пор, пока Власова не предложила тянуть жребий, какому отряду кем быть. Втайне надеясь на счастье, Морозов принял предложение и первым запустил руку в Мишину шапку, где лежали бумажки с красной и синей полоской. Он везучий, Витька, и на этот раз ему повезло. Как самого сильного и горластого его избрали командиром взвода разведки.

На третий день каникул во дворе школы-новостройки звонко протрубил горн. Он собирал юнармейцев на общий смотр. В гости к ребятам пришли старые буденновцы, красные партизаны, инструктор райкома Осоавиахима. Ветераны вспоминали, как они громили контру, и представитель Осоавиахима сказал, что именно вот в таких играх рождаются настоящие бойцы, и тут же вручил всем маленькие книжки Общества содействия авиации и химии.

Когда торжества были закончены, директор школы передал Власовой большой синий конверт. Наталья Леонтьевна громко зачитала приказ. В нем «синим» давалось задание: «Укрыться в снежной крепости и спрятать свой флаг». От «красных» требовалось обнаружить крепость и овладеть ею. Оборона крепости возлагалась на старшую пионервожатую, штурм — на секретаря школьного комитета комсомола.

Крепость у «синих» уже была готова, но где, никто не знал. То есть сами «синие», да

и в штабе наверняка знали, но держали это в секрете.

Чтобы сбить «красных» с ориентира, «синие» вышли со двора несколькими отрядами в разных направлениях. «Красные» должны были покинуть базу через час. Но едва «синие» скрылись, Витька, вручив свои лыжи Мише, куда-то исчез.

— Вы тут проверьте крепления,— строго предупредил он товарищей,— а то потом возись с вами на морозе.

Он появился минут через пятнадцать. Веселый, довольный подбежал к одноклассникам.

— Куда ты провалился?— накинулись на него разведчики.— Скоро выходить.

— Значит, так, братцы,— лихо прохаживался перед куцым строем Морозов.— Мы трое, я, Ковалева и Пичуга, идем на восток. Вы трое, во главе с Романовым, двигаетесь в сторону кирпичного. Ясно? Смотрите, не попадите в засаду.

В Витькиных глазах при этом все время блестели озорные огоньки. Казалось, еще чуть — и они начнут оттуда сыпаться, как искры из печки. Словно он один знал что-то такое, от чего у других должно перехватить дыхание. И это сокровенное он выложил, как только, легко скользя по накатанной грейдерной дороге, тройка вышла за город. Переведя дух, Морозов оглянулся и заговорщически зашептал, будто его кто-то мог подслушать в километре от города:

— Не в Майорове крепость, доложу я вам, и не за кирпичным. А за балкой Терновой, за рекой Аксай.

Его спутники действительно захлебнулись, услышав такое сообщение. Но откуда об этом узнал Морозов?

— Когда они ушли, а я пропал. Помните? Ну вот. Я так быстренько-быстренько по пожарной лестнице на чердак. Глянул, а они прямо по Октябрьской улице. Смотрю, а за

речкой снежная гора, как Ключевская сопка на Камчатке, поднимается,— блеснул он знанием географии.— Их крепость.

Витька продолжал двигаться и говорить, раздуваясь от гордости, от своей находчивости и ловкости.

Идя вслед за ним, Королева, переводя дух, стыдила командира за нетоварищеское отношение к лыжникам Романова, которые зря тащатся по степи.

— Так надо,— твердил Витька в такт шагу.— Тут стратегия. Так надо.

Он постарался сильнее оттолкнуться, чтобы лыжи унесли его дальше от этой назойливой Королевой.

Морозов оглянулся. Красная, как варежка, Лика спешила за командиром, но по ее частым взмахам палками он понял, что девчонка здорово устала. Больше Лики его удивил Пичугин. Он плелся метрах в ста. И по его ленивому шагу можно было догадаться, что он никуда не торопится.

— Слушай, Витек, куда мы тащимся?— подал голос Пичугин, с опаской оглядываясь вокруг. В степи было пустынно и холодно. Солнце уже не грело, как днем, его оранжевое яркое колесо только светило. Откуда-то из-за Дона потянуло ветерком. Он стелился возле самого покрова, поднимая и перемещая снежную пыль.

— Заблудимся,— встревожился не на шутку Пичугин и указал в ту сторону поселка, где кроме водонапорной башни да деповской трубы уже ничего не было видно.

Морозов не удостоил одноклассника ответом, а заметив, что Королева успела немного отдышаться, снова взмахнул палками и пошел вперед. Через несколько минут он оглянулся и увидел, что за ним идет одна Лика. Пичугин присел на корточки и возится с лыжей.

— Ну что там у тебя?— с досадой спросил Морозов.

— Иди, иди,— махнул Пичугин рукой.— Я вас догоню.

Прошли еще метров сто. Остановились на гребне балки. Предстоял спуск не крутой, но длинный, а противоположный склон был еще круче.

Перед спуском Морозов еще раз оглянулся. Его догоняла только Королева. Витька напряг зрение и увидел, как Пичугин, размахивая бестолково руками, уходит от них.

— Сто-ой!— надрывал горло Витька.— Ну, гад, не появляйся больше в школе,— зло выругался Морозов и спросил у Королевой:— Может, ты тоже повернешь?

— Нет, не поверну,— сощурила глаза Лика.— Только зря мы такой крюк делаем. Ведь нас там ждут...

— Подождут,— отрубил Витька и, нахлобучив заячью шапку на самые брови, оттолкнулся. Лыжи, словно крылья, легко и стремительно понесли его вниз. Лика пошла по его следу. От быстрой езды у нее несколько раз перехватывало дыхание. Слезы застилали глаза. Она уже с отчаянием подумала, что хорошо бы упасть и тем прекратить страшную гонку. Но в это время раздался треск, будто лопнула сухая ветка в лесу.

Внизу барахтался Морозов. Он отстегнул лыжи и выбросил их из ямы, в которую влетел.

Выбравшись наверх и отдышавшись, сдвинул на затылок заячий треух и принял, наконец, решение:

— Ты бери мою лыжу, выбирайся на дорогу и дуй в город, а я пойду один.

— Нет, мы пойдем вместе,— заупрямилась Лика, глядя на сумрачное небо над головой.

— Ты что, Королева, совсем рехнулась? Ты же ходишь, как черепаха. А я пулей туда-обратно смотаюсь. Не успеешь и полдороги пройти, как я тебя догоню. Давай мне свою левую. Да поживее. Видишь, небо хмурится. Как бы не замело.

Он нагнулся и, не ожидая разрешения Лики, начал расстегивать ремень левой лыжи.

Как только Мишина тройка вышла за последние дворы Степной улицы, они увидели проложенную в балку и пропавшую в зарослях камыша лыжню.

«Это синие»,— догадался Романов.

— Вы оставайтесь здесь,— приказал он ребятам,— а я поднимусь туда, посмотрю. Если они меня схватят, я крикну — и вы быстро уходите в штаб. Идите разными улицами. А если там все тихо, я дам сигнал.

Лежа в камышах, он разглядывал каждую складку местности. Стой! Вон же крепостные стены. Они такие же бело-синие, как снег вокруг. Но левая, теневая, сторона темнее. Он-то по наивности думал, что крепость у «синих» будет высоченная и непременно со сторожевой башней, наподобие пожарной каланчи. А оказалось, что стены поднимаются от земли самое много метра полтора.

Возвращались радостные. Сам директор похвалил разведчиков за находчивость, но тут же обеспокоенно спросил:

— Да, но где остальные лыжники?

Он приказал Мише выйти сейчас же по следу Морозова и вернуть группу.

Не мешкая, Романов пристегнул лыжи и выбежал со двора. Он двигался вдоль дороги, не теряя из виду лыжню Морозова. Ему казалось, что не пройдет он и квартала, как встретит Витьку с друзьями.

Он прошел с километр по степной дороге, прежде чем увидел бредущего Пичугина.

— Где ребята?— крикнул нетерпеливо Миша.

Пичугин молча махнул рукой в сторону Терновой балки.

— Тоже мне следопыт, Миклуха Маклай,— пробурчал Пичугин и двинулся дальше.

— Да погоди ты,— остановил его Миша.— Скажи толком, что случилось?

— Ничего,— равнодушно проговорил разведчик.— Просто Мороз захотел остаться вдвоем с этой красулей.

Это известие неприятно кольнуло Романова. Он огорченно подумал, что Витька недаром взял в свой отряд Королеву. При всех мальчишках он говорил, что Лика воображала и гордячка, которой надо выдернуть косы, а сам только ищет удобный момент, чтобы остаться с ней наедине. Он хотел уже повернуть лыжи и догнать Пичугина, но вдруг в его памяти всплыло лицо директора. И он услышал его приказ. Личная обида, вспыхнувшая в душе мальчика, погасла. Он почувствовал, что не имеет права вернуться без Королевой и Морозова.

Снова он бодро бежал по лыжне, которую кое-где уже успел занести стелющийся, как песок в пустыне, снег.

Он не заметил свежей лыжни, свернувшей недалеко от балки. Остановился на гребне, увидел два следа, убегающих на дно. Но там, внизу, никого не было. Лишь валялся обломок лыжи. Кто влетел туда? Наверняка Лика. Это и не удивительно, Морозов опытный лыжник.

Итак, Лика ушла обратно. Но почему же они не встретились? Куда она могла деться? Не провалилась же на ровном месте?

Степь уже не сверкала парчовой красотой. Небо становилось темнее, точно его чересчур подсинили. Ветер чаще и чаще поднимал с поверхности пригоршни снега и, словно пушинки, кружил, то подбрасывая, то опуская.

Двигаясь по следу, он внимательно смотрел по сторонам: не покажутся ли на нем отпечатки валенок? «Стой!»— приказал он обрадованно себе, когда увидел глубокие маленькие, точно сайгачьи, следы. Кроме нее здесь никто не мог проходить. Теперь — как можно быстрее по этим шажкам.

И он, налегая изо всех сил на палки, бежал и бежал по снежной целине. Он уже не замечал пота, который заливал ему глаза, он уже не слышал воя ветра, тянувшего свою печальную песню. Он уже не видел впереди ничего, кроме одинокого человека. И этот человек был, конечно, Ликой, Леокардией Королевой!

Он остановился и, сложив ладони лодочкой, разбудил степь гортанным криком:

— Эге-ге-гей! Стой, Лика!

И Королева остановилась, оглянулась. На ее зареванном лице вдруг появилась улыбка. Такая беспомощная и прекрасная.

— Миша, Мишка! — визжала радостная Лика, стараясь растормошить Романова.— Ну что ты как статуя! Улыбнись. Это я, Миша!

Миша улыбнулся. Потом присел на корточки, с трудом развязал ремни и предложил Лике:

— Бери мои, и пойдем скорее. А то видишь, уже темнеет. А у нас тут и волки водятся.

Лика испуганно оглянулась по сторонам и незаметно для себя прибавила ходу. Едва ступив на накатанную колею большака, Миша почувствовал усталость и дрожь.

— А ты знаешь,— сказала Лика, и в голосе ее прозвучали нотки обиды,— в школе, наверно, все давно кончилось. И о нас никто не вспомнил.

— Такого не может быть,— разуверил ее Миша.— Разве Натка допустит? Она поднимет всех на ноги.

Они прошли еще с полкилометра и увидели на дороге что-то черное, растянувшееся поперек грейдера, от кювета до кювета.

— Наши!— радостно крикнула Лика, услышав голос Натальи Леонтьевны. Все страхи, вся усталость, все, что было мучительного сегодня, вдруг свалилось с плеч Королевой, и она рванулась вперед. А Миша не

мог бежать. Он чувствовал, что голова стала тяжелой, как их семейный чугун...

Только накануне первомайских праздников доктор разрешил Романовым забрать сына из больницы. Но велел держать его в кровати.

Оказывается, у Миши было крупозное двухстороннее воспаление легких. Два раза жизнь его висела на волоске. Даже когда ему стало легче, врачи не разрешили брать в руки книжки, заниматься.

— Школу ты еще наверстаешь,— успокаивал его врач, видя слезы в больших черных глазах мальчика.— А вот утраченное здоровье никогда не наверстаешь. Так что лежи, слушай радио и дыши глубже...

Пока Миша лежал в больнице, его лишь дважды навещали Морозов и Пичугин. Зато Наталья Леонтьевна приходила через деньдругой. Посмотрев на табличку, где отмечалась температура, она переводила посветлевший взгляд на больного.

— Порядок. Дело идет на поправку.

Потом рассказывала о новой стенгазете или фотомонтаже, о том, как прошел концерт 8 Марта... А однажды сказала:

— После училища попрошусь в вашу школу. Уж очень вы мне по сердцу пришлись.

Последний раз Наталья Леонтьевна заходила к Мише перед отъездом в Сталинград. Она посмотрела бирку, прикрепленную к кровати, мягкой рукой пригладила жесткие темные вихры мальчика и впервые не стала говорить, что произошло в отряде, а грустно объявила:

— Уезжаю я, Миша. Кончилась моя преддипломная практика.

— Когда?

— Сегодня в семнадцать ноль-ноль. Вот забежала проститься. Рада, что скоро выпишут, я спрашивала доктора. Ой, Миша, сколько мы за тебя поволновались, если бы ты знал.

Миша, слушая пионервожатую, не понимал ничего, кроме одного: Натки больше не будет, она уезжает. Уезжает, конечно, навсегда. В прошлый раз обещала проситься в Котельниково. А сегодня уже помалкивает.

Почему жизнь такая несправедливая: только встретишь хорошего человека, ему обязательно куда-то надо уезжать.

Сначала, когда у него была высокая температура и он бредил, говорят, к нему приходила девочка в красных варежках. Ее, конечно, не пустили к больному, а когда дело пошло на поправку и Миша больше других ждал ее, она не появлялась.

Несколько дней Миша не решался спрашивать про Лику. Но однажды не выдержал и задал вопрос Натке.

— Ты разве не знаешь?—удивилась девушка.— Отец у нее умер. Мать рассчиталась. И они уехали в Москву.

— Как в Москву?—не поверил Миша.— Насовсем?

— Ну, конечно. Она обещала писать. Пока, правда, не прислала ни одного письма. Но ты не унывай. Еще, может, пришлет.

Сегодня Наталья Леонтьевна сама спросила:

— Лика молчит?

Миша кивнул. Он до сих пор не представляет, как это можно так поспешно уехать, даже не проститься с человеком, который помог тебе выбраться из беды? Вот и Натка уедет и забудет Котельниково. Там в большом городе столько всего: друзей, театров, музеев... Разве за всем этим вспомнишь какой-то городок в степи? Что вспоминать-то? Зимние морозы да летнюю жарищу, которой, наверное, один верблюд радуется. Правда, есть еще в придонских степях лазоревые цветы — тюльпаны. Такие, каких нигде больше не встретишь.

Выйдешь перед маем в степь, а этих тюльпанов видимо-невидимо. Иди, иди, а они все

будут глядеть на тебя и будто просить: меня, возьми меня. А ты поначалу наберешь в охапку всяких, лишь бы покрупнее, а потом начинаешь привередничать, рвать только необыкновенные: алые, или сиреневые, или желтые с оранжевыми приталинками. Но все равно больше других в твоем огромном букете всегда оказывается красных.

Как-то Миша спросил у отца, почему. Тот потрогал большие усы, почесал в затылке и ответил:

— Очень просто это объясняется, Мишутка. Я тебе песню сыграю, а ты с пониманием слухай.

И он чистым сильным голосом запел:

А засеяна славная землюшка казацкими
головами,
Украшен-то Тихий Дон молодыми
вдовами,
Цветен наш батюшка славный Тихий Дон
сиротами,
Наполнена волна в Тихом Дону да горькими
слезами...

— И все это, милок, на кровях наших взросло. А кровь, она, сам знаешь, какого цвета...

Натка молчит, и Мише нечего ей сказать. Он тоже, прикрыв глаза, молчит. А что сказать, когда человек уезжает и ты уверен, что больше его не встретишь? Она стоит у окна, барабанит пальцами по стеклу и напевает про какую-то Гренаду...

— Да не думай ты так,— вдруг доносится до него обиженный голос Власовой.— Сказала, что к вам приеду, значит, конец сомнениям.

Миша открывает глаза и удивленно смотрит на пионервожатую. Откуда она знает про его думы? Что она, колдунья и умеет читать мысли человека на расстоянии?

От слов Натки ему становится теплее. Он хочет для нее сделать что-то приятное. Му-

чительно морщит лоб, стараясь придумать что-то необыкновенное, но ничего не идет на ум. Он поворачивает голову к окну. За синим стеклом в полнеба алеет закат. Он напоминает Мише разлив тюльпанов. Перед его глазами встает отец, и он слышит его слова, которые повторяет Натке:

— Почему тюльпаны такие красивые, знаешь?

Наталья Леонтьевна отрицательно тряхнула своей мальчишеской прической.

— Потому что они всю жизнь равняются на зарю.

— Как это? — удивилась Власова.

— А вот так,— словами отца ответил Миша. Ему хотелось, чтобы в его голосе сейчас было столько же волшебства, светлой радости, сколько он уловил тогда в голосе отца.— Только заалеет заря, тюльпаны, будто по команде, раскрывают свои лепестки и смотрят на солнце.

— Это здорово, Миша,— восхищенно прошептала Наталья Леонтьевна.— Вот бы и люди так, держали равнение на зарю. На светлое, чистое, счастливое... Представляешь, как хорошо было бы на земле...

— И фашистов бы не было?

— Не было,— убежденно ответила Власова.— Стыдно было бы человеку делать подлость. Такую, как Морозов...

— Какую?

— Голубей твоих продал или отдал кому-то, а сказал, что их кошка съела. Ну, не расстраивайся, Миша. Голубей мы еще заведем.

Попрощалась Наталья Леонтьевна необычно:

— Ну, пионер, держи равнение на зарю.

— Есть держать!— присел на кровати Миша и вскинул руку над головой.

— Тише ты!— дурашливо испугалась Власова.— Доктор услышит, задаст нам трепку за нарушение режима.

— Он добрый и хороший, как ты,— успокоил ее Миша.— Он вместе с нами порадуется.

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Размеренно трусил по наезженной колее серый дончак. Зеленая бричка катилась легко, изредка подпрыгивая на ухабах. Отец и возница сидели на передке и вели неторопливую беседу о жизни, а Миша блаженно лежал на охапке душистого свежего сена. Он то глядел в бездонное небо и думал о перемене в своей судьбе, то прислушивался к разговору старших, то напевал...

Возница, старый усатый казак с длинной, как у гуся, шеей, между затяжками и приступами кашля пытался доказать Зиновию, что хозяйство в «Красном партизане» потому пришло в упадок, что пробрались в правление скрытые враги народа, те, которых они с Романовым недорубили в восемнадцатом-двадцатом годах, недораскулачили в тридцатом, а теперь те куркули, отбыв положенный срок на севере и в Сибири, вертаются домой, приустраиваются на выгодные работы. То за технику отвечают, и она ни черта не двигается, то к кормам прильнут, и коровенки едва-едва дотянули до весны. Какое уж там молоко от буренок требовать. То забыли семена обменять на кондиционные... Вот и выходило по грустному рассказу казака, что куда ни кинь — всюду клин. А за что боролись?

Зиновий Афиногенович сначала слушал возницу со вниманием, но затем длинные перерывы, вызванные его клокочущим кашлем, сбили с четкого ритма мыслей, и он уже чаще думал о том, как и чем может помочь безнадежно больному дружку... Понял Романов, что многое видится Сергею Ивановичу в черном цвете от его недуга, от того, что кто-то из правленцев проявил, может быть, нетерпе-

ние или еще хуже — равнодушие в решении вопроса о его лечении, и вот уже новая жалоба полетела в район... Народ-то теперь грамотным стал. Чуть что,— за бумагу и в райком, в обком, а то и в Москву. А что, все равны, всем дано право обращаться со своими нуждами куда угодно, вплоть до Верховного Совета. С одной стороны, это, конечно, прекрасно, это великое завоевание советского человека, а с другой — хреновато, когда, скажем, из какого-нибудь хуторишки, навроде Майоровского, в саму Москву, в Кремль, к товарищу Сталину идет жалобное письмо. Ведь тот, кто пишет, не думает обо всем государстве, думает о своей обиде-печали. Надо полагать, таких обиженных по стране каждый день набирается тыща. Каждый день тыща конвертов ложится на стол товарища Сталина. Когда ж ему заниматься мировыми и государственными проблемами? Понятно, что у него помощники есть, они тоже читают почту, но ведь решает-то по каждому он сам лично.

Значит, думает Зиновий Афиногенович, нужно делать, чтоб народ прежде всего поверил в силу местной власти, сельский Совет, шел туда днем и ночью с любой своей болячкой. И чтоб получал ответ по существу, а решение по справедливости. Тогда и с народа можно будет спросить. Конечно, в нынешних условиях все обстоит посложнее, чем, скажем, в боевом девятнадцатом, когда было в республике прекрасное время военного коммунизма.

В ту пору любой вопрос решался скоро и однозначно: или — или, третьего не дано. А теперь с каждым умей поговорить, чтоб он не обиделся на тебя, чтоб до него дошло... Будто поглупели все. Небось, как «сабе», так и трактор работает в любую погоду и в любой час, а как «табе», то есть государству, тут и хворь, и старость, и неурочность... А куда денешься, усмехнулся над собой Зиновий

Афиногенович, так ведь партия и учит нас работать с народом. Терпеливо, внимательно. Ведь это и есть главная цель всякой партийной работы — воспитать в человеке сознательного борца за коммунизм.

Не мог допустить мысли бывший красный партизан Романов, что в его хуторе недобитая контра вновь свила гнездо, захватила руководящие посты и теперь только тем и занимается, что разлагает дисциплину, разваливает коллективное хозяйство — основу самого разумного социалистического способа ведения сельского хозяйства.

— Вот приеду, разберусь с каждым,— сказал он вознице, успокаивающе похлопывая его по коленкам.— Потом соберу вас всех, доложу обстановку и сообща будем думать, решать, как и что должны сделать, чтоб вернуть колхозу доброе имя... Так-то вот, дорогой друг мой...

— Это бы хорошо, Зинавей,— согласился казак, промокая рукавом слезинки на лице. У него после каждого приступа кашля они катились по впалым щекам.

А Миша, чувствуя сердцем тревогу отца, все-таки был далек от проблем взрослых. У него своих забот хватало по самое горло...

Уезжая, он строго-настрого наказал матери не задерживать письма, если они придут из Москвы от Лики или из Сталинграда от Натальи Леонтьевны. И теперь ему казалось, что по синему небу плывут не облака, а белые листки. Один из них непременно должен опуститься в Котельниках. То, что до сих пор ни Власова, ни Королева не написали Мише писем, он объяснял скорыми экзаменами и у одной и у другой.

Но Миша верил, что едва наступят каникулы, они напишут ему... Лика — о том, как ходила на первомайскую демонстрацию на Красную площадь, как потом объедалась мороженым в белых хрустящих вафлях, а вечером при красочных иллюминациях ка-

талась на карусели в знаменитом парке культуры и отдыха. В конце листка она непременно пригласит его в гости.

Никуда бы Романов не поехал с такой охотой, как в Москву, на Грузинский вал, где стоит дом № 141. У них, в Котельниково, нет таких длинных улиц. Даже самая большая — Железнодорожная — наполовину короче. Конечно, если к дому Лики ехать на таратайке, то и через месяц не доберешься, а если лететь по небу, то можно опуститься на Грузинском валу к вечеру. Вот удивится и обрадуется Королева. Она выбежит навстречу, будет тянуть его в дом и кричать:

— Кто к нам приехал!

И Миша действительно слышит радостный возглас возле самого уха:

— Посмотрите, кто к нам приехал?!

Оказывается, бричка уже стоит возле просторного база Романовых, а причитает над заснувшим внуком бабушка, которой уже было под сто лет.

— Ну ты, антихрист,— говорила она, обращаясь к сыну,— дай я тебя хоть поцелую. Уехал и глаз не кажешь.

— Да все недосуг, маманя,— басил Зиновий Афиногенович, обнимая мать.

— Внучка бы прислал. Ну, мы старые да глупые в размолвке доживаем век, а внучку-то на што маяться.

— Нет, маманя,— посуровел вдруг отец.— Мишутку калечить не дозволю.

— Не пужайся,— расслабленно сказала бабушка.— Не стану я его к нашей вере приучать.

— Вы не станете, так Марья с Фиской...

— Да будет тебе, антихрист,— отвернулась мать и прижалась морщинистым сухим лицом к внуку.

Сколько уж воды утекло в Дону, а всякий раз, попадая в родной курень, Зиновий не может не вспомнить всю свою жизнь от самых истоков. Он родился в семье старове-

ров. Законы у них были суровые. Жили Романовы нелюдимо. Сами ни к кому не ходили и гостей не привечали. А у Зиновия характер был общительный, веселый, компанейский.

Чтобы образумить сына, женили его на зажиточной казачке Полине, тоже из староверов. Но у Зиновия не лежало сердце к этой тихой, забытой богом женщине. И ждал он, как престольного дня, ухода в армию.

Проводили Романова на службу перед самой русско-японской войной. Как уехал казак во чужбину, в далекие Маньчжурские края, так до зимы 1917 года и не казал глаз домой. Вернулся, думал, что революция дошла и до Майоровского, увидит он новую жизнь, и будет для него подлинная свобода.

Но в хуторе было по-прежнему, так же правил атаман, в доме Романовых поднимались и ложились с крестным знамением. И хоть молились здесь господу богу больше, чем прежде, счастья семье он не послал, хозяйство пришло в упадок. Двое зятьев, ушедших на империалистическую, сгинули в гнилых Курляндских болотах, а брат Зиновия маялся где-то в немецком плену.

Собрались вечером казаки-фронтовики и стали думу думать, как же власть атамана свергнуть и установить свою — народную, равную для всех? Услыхала их крамольные речи Полина и побежала к отцу, а тот поспешил к атаману с доносом. Не успели казаки принять решение, а в хату ввалилось полдюжины атаманских выкормышей из тех, кто имел земельный надел побольше, свою мельницу, свою лавку, свои табуны знаменитых тонконогих дончаков. Хотели они кнутами да кулаками проучить смутьянов, но не тут-то было. У тех под руками оказались винтовки и штыки. Клацнули затворы. Кто-то ударил по лампе. В кромешной тьме грохнул выстрел. Раздался отчаянный вопль.

Выскочили из хаты атамановы послы, об-

ложили, как медведя, двор и начали стрелять по окнам и дверям. А время от времени призывали станичников сложить оружие и добровольно отправиться на суд праведный к войсковому атаману. Но казаки-фронтовики решили биться до последнего патрона...

Кто сообщил в Котельниковский ревком о событиях в Майоровском, неизвестно. Только пришел оттуда красногвардейский отряд Пимена Ломакина, выручил осажденных, а над крыльцом правления вывесил красный флаг. С той поры и началась дружба Зиновия с Пименом. Вместе были в отряде, вместе вошли в состав коммунистического полка, где служил и Кругляков, а организовалась конная бригада Буденного — вступили в нее.

Только весной 1921 года вернулся в родной хутор Зиновий. Не пошел он к своей жене Полине: не мог простить ей предательства. В отчем доме тоже тошно было жить. Ушел Романов на квартиру. Приглянулась ему ладная да сердечная Аня. Без сватов, без попов сошелся с любимой Зиновий.

Жили ни богато, ни бедно. Но не давали проходу молодухе родственники, а его самого прокляли. И как только народилась Тамара, перебрались они в город. Пимен помог своему полчанину устроиться на железную дорогу.

С той поры, выезжая в колхоз по заданию райкома партии на посевную или уборочную, Зиновий редко заглядывал в родительский курень. Придет, поможет на крыше камыш заменить, огород вскопать, колесо у арбы железом ошиновать, сбрую приладить... Но ночевать уходил в клуб, где жили все уполномоченные... Когда дети подросли, брал с собой то Тамару, то Валюшку, то Мишутку, оставлял внучат в родимой хате на неделю-другую. Но замечал, что родственники заставляют их просить у бога прощение за грехи родителей, крепко ругался с матерью и увозил детвору домой...

Миша едва помнит эти сцены. Но навсегда в нем остался страх перед седым, как лунь, дедом, жестким пальцем тыкавшим его в лоб и скрипуче поучавшим:

— Не гневи господа непослушанием.

Да и бабка, вечно закутанная в темный платок, без ласки, без улыбки потчевала внучат молоком или лепешками, требуя, чтобы прежде они осенили себя крестным знамением. А самое главное, старики не велели бегать по улице и водить дружбу с соседскими мальчишками. Может, поэтому у Миши и не было друзей в хуторе.

И вот теперь, во дворе Романовых, Миша с тревогой подумал, что не только отца ожидают трудности, но и ему будет нелегко на новом месте.

Недели через две отец привез Анну с дочерьми. Поселились они на краю хутора, в просторной мазанке, которую колхоз отремонтировал специально для нового парторга. За окнами их дома, через зеленый дол, виднелись крыши конюшен с большим загоном, в котором с утра до вечера ходили разномастные кони. Они сразу покорили мальчика. Один их вид рождал в голове фантастические истории с погонями, выстрелами...

Уже на следующее утро Миша пришел к конюшне. К его удивлению и радости, конюхом оказался тот самый казак, который вез их из города. Сергей Иванович приветливо поманил мальца к себе и спросил:

— Небось, хочешь прокатиться?

— Хочу,— выпалил обрадованный пионер.

— А ездить-то умеешь?

— Нет,— чистосердечно признался Миша, но тут же испугался, что конюх не доверит ему даже самого ледащего меринка, добавил:— Но я понятливый. Вы расскажите, я враз пойму.

— И что за казачество пошло,— сокрушался Сергей Иванович, перекладывая уздечку с одного места на другое.— Все им трактора

подавай. А того не могут понять, что казак без коня — что зима без снега. Но это хорошо, что у тебя душа к лошадкам лежит.

Он, наконец, нашел нужную уздечку и, подойдя к загону, с умилением смотрел несколько минут на молодых скакунов. Потом спросил у Миши, какой ему больше всего нравится. У Миши разбежались глаза. Он переводил взгляд с одного на другого, но никак не мог остановиться на каком-то. В это время к изгороди подошел белый с подпалинами жеребчик. Миша сразу забыл обо всех остальных.

— Ишь ты, почуял хозяина,— добродушно проворчал Конев, трепля шелковистую шерсть лошади.— Бери. Колумб надежный во всех статьях.

Конюх подлез под жердь, накинул белогривому уздечку и вывел его из калитки. А Миша, ошарашенный кличкой лошади, все стоял, боясь, что первый шаг разрушит этот чудесный сказочный сон.

Оседлав Колумба, конюх поставил ногу в стремя, и точно какая-то пружина кинула его в седло. Конь, почуяв хозяина, радостно оскалил большие восково-желтые зубы и раздул ноздри. Но Сергей Иванович не поехал никуда, а посмотрел на Мишу и спросил:

— Понял, как в седло садятся? Говори правду. Если не понял, еще покажу.

Смешной этот Конев. Миша ему сказал, что он смышленый. Только он думал, что Сергей Иванович сначала расскажет, как садятся в седло, а тот молча вскочил, и дело с концом. Вот так учитель! Миша мысленно стал повторять движения конюха. Все, вроде, получалось ловко. Но старик, заметив заминку парнишки, сказал:

— Смотри еще раз.

Снова невидимая пружина кинула его в седло. Снова Колумб нетерпеливо ударил копытом землю.

— Да я понял,— попробовал успокоить

конюха мальчик.— Только про себя повторял.

— Это стихи про себя повторяют. Тогда они лучше на память ложатся. А тут сноровка требуется. Ну, раз уразумел, то садись.

Миша едва дотянулся до луки седла левой рукой. Встав на цыпочки, вдел босую ногу в холодное кольцо стремени, а вот присесть, напружиниться, как Сергей Иванович, он не смог — не хватило десяти сантиметров. С пальцев не оттолкнешься, когда они едва касаются земли.

— Вынь ногу,— потребовал конюх. И когда раздосадованный малец снял руку с луки седла, думая о том, что опозоренный будет спроважен со двора, Сергей Иванович потянул за уздечку Колумба. Конь послушно направился к старой большой спиленной ветле.

— Становись,— подал команду, как на плацу, конюх. Миша впрыгнул на уже отполированную поверхность порушенного дерева. Теперь он легко доставал до стремени.— А ну,— командовал Сергей Иванович,— в седло, арш!

И Миша, не помня себя от радости, по-кошачьи прыгнул в седло. Конев удовлетворенно крякнул и приказал:

— С седла, арш!

Так Миша прыгал туда-сюда до тех пор, пока перестал левой рукой хватать, как спасательный круг, горячую кожу луки.

И когда, наконец, Сергей Иванович удовлетворенно сказал: «Вот теперь добре», Миша подумал, что он разрешит ему зажать в руках повод и рвануть с места в карьер ничуть не хуже заправского наездника. Но старик, достав из длинного кармана безлампасных шаровар старую прокуренную до черноты трубку и не менее древний кисет, сел на колоду, закурил и тут же тяжело, со стоном закашлялся. Когда наконец чуть отдышался, попросил:

— А теперь, парень, принеси кнут. Он там, в шорной.

Миша хотел выполнить поручение быстро, но, к удивлению, заметил, что ноги ему не повинуются: они точно налились свинцом и не хотят сгибаться. Не только ноги, но и руки, и спина — все вдруг невообразимо жутко заныло. Можно подумать, что старый кавалерист заставлял его прыгать не в седло, а через высокий костер. Но Миша превозмог ломоту и сделал шаг, потом другой. Поглядел на конюха. Тот хитро улыбался. «Ну, нет,— решил про себя Романов.— Я сейчас пойду нормально». И пошел...

Когда принес длинный ременный кнут, конюх, как цирковой дрессировщик, ловко взмахнул им, раздался громкий щелчок, похожий на выстрел.

— В седло, арш!— скомандовал Сергей Иванович. И, как только Миша оказался на спине у Колумба, нравоучительно объяснил:— Бери повод. За правый потянешь, конь пойдет вправо, за левый — влево, за оба конца дернешь, встанет. Опустишь — пойдет прямо. Понял?

— Ага!

— Тогда с богом!

Миша наклонился к гриве, ласково хлопнул по крутой шее коня и попросил, как человека:

— Поехали, Колумб.

Конь вскинул морду, покосился на хозяина и сделал первые, не очень уверенные шаги. Казалось, он ждал команды остановиться, но ему никто не приказывал, и он все увереннее набирал шаг. Миша сидел так, точно его огромным шурупом привинтили к седлу.

— Спокойнее, внучек,— поучал его Конев.— Не напрягайся. Конь чует и думает, что ты боишься.

Миша попробовал расслабиться, но через несколько шагов вновь каменел. Происходило это помимо его воли. Сначала он думал: вот бы посмотрели его друзья, какой герой Романов Михаил, но потом забыл о своем

тщеславном желании и думал лишь о том, как бы не сползти и не вывалиться из седла.

Конь вроде шел прямо, а при каждом шаге Миша кренился то влево, то вправо. Будто ехал он не по ровной земле, а по сплошной осенней борозде. Сделав три ездки вдоль загона, Миша почувствовал страшную усталость во всем теле. Особенно ныла спина, а ноги вот-вот, казалось, сведет судорога. Только бы не свалиться, не опозориться, думал мальчик, смахивая пот с лица.

Нет, Сергей Иванович не смотрит в его сторону. Он подошел к загону и что-то говорит своему помощнику. Но как только Колумб поравнялся с ним, Сергей Иванович взял его под уздцы и сказал седоку:

— Слезай. На сегодня будя. Посиди пока в холодке. Завтра, живой останешься, приходи.

Потом неторопко, по-прежнему легко бросил свое тело в седло и, взмахнув кнутом над головой заржавшего Колумба, помчался из ворот в степь. Миша восхищенно следил за всадником до тех пор, пока он не скрылся за бугром.

— Вот чертяка старый,— то ли насмешливо, то ли с завистью сказал за спиной Миши мужчина.— Седьмой десяток, а скачет, чисто парубок.

Миша посмотрел на говорившего. Лицо его, поросшее рыжей щетиной, пожалуй, выражало насмешку, а где-то в уголках выцветших глаз притаилось выжидание.

Мужчина перелез через жердь, присел на ветлу возле Миши и положил огромные мозолистые ладони на колени. Пристально посмотрел на мальчика и спросил:

— Романова Зиновия сынок, значица?

— Да,— ответил Миша.

— Давненько я не видел Афиногеныча. Считай, десяток годков. А когда-то вместе к девчатам бегали,— думая о чем-то своем, говорил мужчина.— Теперь дорожки наши

разминулись. Он, видишь, в гору пошел, а я с горки качусь. Ну да ничего, может, еще все возвернется на круги своя. Так, что ли, в писании сказано?— вдруг повеселевшим голосом спросил собеседник.

— Не знаю. Я не читал писание.

— А зря,— не сказал, а рыкнул мужчина.— Эта книжка сто очков наперед даст любой вашей грамматике. А вон и чертяка скачет.— Вставая, мужчина попросил:— Отцу скажи, мол, Иван Фокич Захаров зла, мол, не помнит, поклон шлет и в гости приглашает.

— Ну, все сидишь?— крикнул Сергей Иванович от ворот. На его загорелом лице блуждала добрая улыбка.— Отдыхаешь?— интересовался он, останавливая разгоряченного быстрой ездой Колумба.— Или эту контру слухаешь?— посуровел вдруг конюх, глядя в упор жесткими глазами на рыжебородого.

— Ну ты,— снова не сказал, а по-звериному рыкнул мужчина.— Поукороти язык, а то, неровен час...

— Что, кадетская твоя душа?— гордо выпрямился Сергей Иванович.— Договаривай...

Рыжебородый зло сплюнул, перелез в загон, взял ведро и направился к яслям.

— Ты его не слухай,— сказал Сергей Иванович, присаживаясь возле Миши.— Он — натуральная контра... Сперва в кадетах супротив нас воевал, а после в кулаках верховодил. В тридцать первом году мы его за поджог амбара раскулачили и в Сибирь сослали. Он там десять лет, копейка в копейку, тайгу пилил. Только возвернулся. Документы в порядке. По Конституции обязаны ему предоставить работу. Вот и прислали ко мне на перековку. Пустое это дело, Миша. Легче меч на орало перековать, чем из Фокича нашего человека сделать... Работает вроде не хуже других, но я тебе скажу, паря, сколько волка ни корми, а он все в лес смотрит. Только одного, дурачок, не разумеет, что Со-

ветская власть — это штука вечная... И ты на нее держи равнение, а этих недобитых контриков не слухай.

— Да он ничего такого не говорил, — сказал Миша, увидев, что Сергей Иванович, закончив речь, неторопливо достает трубку и кисет.— Привет просил отцу передать, в гости приглашал.

— Во-во,— задымил едким зельем и закашлялся конюх. — Поначалу приветы, гостевания, а потом, гляди, и свою кадетскую пропаганду зачнет.

— Да нет, у меня папка большевик,— с гордостью за отца сказал мальчик.— Он, если кто против Советской власти говорит, враз на место ставит.

— А еще лучше, Мишка, ставить бы их к стенке,— как большую личную тайну доверил старый партизан мальчику свое твердое убеждение.— Воздух был бы чище, да держава крепче.

Каким бы решительным в своих суждениях ни был Сергей Иванович, но Миша к нему прикипел сердцем. У него не было другого более любимого занятия, чем пропадать на конюшне.

Май, прогромыхав грозами, ушел за горизонт. На смену ему пришел жаркий июнь. Даже по утрам в воздухе не чувствовалось свежести. С востока, как из печи, потянуло горячим ветром. В эти душные ночи со сполохами в полнеба гонял Сергей Иванович колхозный табун за Себереченскую балку. Вместе с ним неизменно ездил в ночное Миша и его новый приятель Ванюшка Миронов. Буквально через день после приезда он прибежал ни свет ни заря на конюшню и сразу же заметил новичка. Смело подошел к нему, протянул руку:

— Будем знакомы. Я — Миронов Ванюшка. А ты наш сосед, Романов Миша? Мне отец говорил. Велел тебя оберегать от задир.

Ваня был старше Миши всего на год, но

выглядел богатырем по сравнению с щуплым, скуластым новоселом. И эта разница в телосложении сразу сделала Миронова покровителем Романова.

С тех пор они почти ежедневно вместе ходили на конюшню, водили коней на водопой, гоняли купаться в пруд за плотину.

Отец, возвращаясь поздно вечером из правления, с фермы или с поля, с радостью отмечал, что сын крепнет час от часу. Успел уже загореть и, хоть ребра все еще проступали сквозь кожу, выше локтя появились заметные бугорки мышц. Улыбался Зиновий Афиногенович, видя, как поправляются девочки, как светлеет лицом его Анна. Хотя жить было нелегко, но она не роптала. В хате ей охотно помогали Тамара с Валей. Они и накормят младших, и уборку сделают, и корову пригонят из стада, и подоят ее.

Анна Максимовна ходила в огородную бригаду. Одному Мише вроде не находилось постоянной работы. Но и он не отлынивал от домашних дел. То, разбуженный отцом чуть свет, отпилит чурбан от лежавших во дворе бревен, то кизяков принесет от коровника, то курам проса насыплет, воду сменит в корыте. Но большую часть дня пропадал среди лошадей, куда повадились ходить и его одногодки, два Миши. Теперь их в хуторе часто видели вчетвером. Уезжая в ночное, друзья непременно захватывали кроме картошки, соли и хлеба какую-нибудь книжку. Читали ее по очереди до тех пор, пока не истлевали последние головешки в костре или сон не клонил их головы на жесткую попону... Однажды Иван принес пухлую, уже порядком зачитанную книжку. В ожидании команды Сергея Ивановича гнать табун к пруду они присели в тени навеса, и Ваня принялся читать первые страницы негромким глуховатым голосом. Никто не заметил, когда осталась перелистнутой третья страница, пошла пятая, десятая, а они сидели, словно

заколдованные. Жизнь незнакомого доселе украинского хлопца Павки Корчагина так захватила и взволновала казачат, что они не заметили, как Сергей Иванович остановился за столбом, чтобы подать ребятам команду: по коням! Да и застыл с погасшей трубкой под прокуренными усами.

Так продолжалось до тех пор, пока Захаров не раскрыл ворота и лошади топаньем копыт и ржанием не вернули ребят к действительности. Тут они увидели Сергея Ивановича и, думая, что он только сейчас подошел к навесу, смутились, вскочили.

— Это кто же пропечатал так, не Шолохов ли?— спросил конюх, вынимая трубку изо рта.

— Нет,— ответил за всех Миронов.— Островский.

— Скажи на милость,— простодушно удивился старый кавалерист.— Неужто еще кто так может писать, как Шолохов?

Ребятам не хотелось разрушить святую наивность конюха, и они, как могли, объяснили ему, что, конечно, Шолохов — самый лучший писатель, но в Советском Союзе есть и другие хорошие писатели. Гайдар, например, Катаев, Лев Кассиль.

— А теперь еще и этот Островский?— спросил Сергей Иванович.

— Он умер в тридцать шестом году,— печально сказал Миронов.— Вот тут его портрет и про него написано.

Конюх взял книжку, открыл ее, отнес подальше от глаз и долго смотрел на худое молодое лицо комбрига с орденом Ленина на кавалерийской гимнастерке. Потом крепко зажмурился, крякнул и попросил:

— Без меня дальше не читайте.

И когда в ночном, у жаркого костра, Ванюшка читал страницы легендарной биографии первоконника Павки Корчагина, Сергей Иванович порой не выдерживал и, требуя передышки, срывающимся от волнения голосом

начинал рассказывать про свои бои-походы. И всегда у него получалось так, будто воевал он где-то совсем рядом с этим отчаянным шепетовским хлопцем. И чем дальше, тем все больше и больше обнаруживал он схожих черт между Корчагиным и своими однополчанами.

А когда закрыли последнюю страницу героической биографии юного революционера, Сергей Иванович, то ли борясь с удушьем, то ли со слезами, после долгого молчанья повелел:

— По осени чтоб в школе был пионерский отряд имени Павки Корчагина. И чтоб все умели в седле держаться, чтобы из карабина палили не в белый свет и чтоб лозу шашкой, как бритвой, срезали на скаку... Ну, это уж моя забота: всему военному искусству вас обучить...

ПЕРВОЕ ЛЕТО ВОЙНЫ

Июнь набирал силу. Озимые, ровные, густые, вымахали в рост человека. Радовали глаз яровые. В мастерских долго за полночь не гасли огни: ремонтировали технику. К фермам везли остатки скошенной в пойме Дона пахучей майской травы, укладывали в высокие скирды.

Хутор жил преддверием большой жатвы. Радовался Зиновий Афиногенович, что все удачно складывается в «Красном партизане». Заезжая на конюшню или в табун, весело обещал Сергею Ивановичу большую золотую медаль ВСХВ за отличных дончаков, которые еще покажут себя в нашей славной кавалерии.

Он и сам с удовольствием поднимался в седло, скакал во весь опор в зеленую тишину степи.

Все чаще Зиновий Афиногенович вместе с председателем и агрономом выезжали на дальние поля, придирчиво осматривали массивы тугой золотистой пшеницы. Не доверяя

глазам, срывали колоски, растирали их на шершавых ладонях, пробовали зерно на зуб.

С утра вывозили женщин, стариков и старшеклассников на полевые станы. Готовили к приезду механизаторов домики, кухни, тока, подмазывали, подкручивали, стеклили... Скоро! Вот-вот загудит, зальется шумом моторов степь...

В субботу отец вернулся домой позже обычного. Он был чуть навеселе. Расправляя пышные усы, доверительно сказал жене:

— Свидетельства десятиклассникам вручил. Какие ребята, ты бы поглядела, Аннушка. А какую замечательную речь сказал Покорнов...

— Из райкома, что ли?—уточнила жена.

— Замполит по комсомолу из Котельниковской МТС,—разъяснил муж.—Вот тебе и зеленый, а голова, что Дом Советов. Точно, шельмец, подметил у нас никудышную тенденцию. Почти все у нас навострили лыжи в город. Кто в разные техникумы, институты, кто на железную дорогу. А Покорнов их спросил: кто же хлеб будет выращивать, за скотиной ходить? И как начал, как начал про Пашу Ангелину, про комбайнера Оськина, про других знатных хлеборобов... И ведь убедил. Дали слово наши выпускники идти только в сельскохозяйственные училища, а некоторые завтра же пообещали подать заявления с просьбой принять на работу в МТС... Нет, Аннушка, что ни говори, а замечательную смену мы себе готовим...

— Ложись, Зиновий,—уговаривала мать, помогая мужу раздеться.—Завтра ведь умыкнешься ни свет ни заря.

— С третьими петухами буду на ногах,— обещал отец и снова пытался рассказать о выпускниках, которые все как один обещали отработать на уборке урожая ударную декаду, а потом уж разъезжаться по институтам и техникумам.

Отец разбудил сына на рассвете.

— Рано еще, папа,— потянулся сонно Миша.— На дворе темно, хоть глаз коли.

— Да что ты, Мишутка,— гудел басовито отец.— Это мать ставни прикрыла, а на воле уж вот-вот солнышко засветит. Вставай. Нынче с утра мы обещали всех выпускников в поле повезти. Показать им нивы, что полным колосом налились. Хочу и тебя прихватить. Поедешь?

— Конечно,— обрадовался Миша.

Он видел только те поля, которые примыкали к пастбищам. А ему так хотелось увидеть все.

Солнце еще не взошло над Майоровым, и восточный край неба едва начал теплиться, а у большого дома правления уже стоял грузовик, и к нему подходили в одиночку и группами вчерашние десятиклассники. Они шли весело, беззаботно. С разных концов хутора доносился то смех, то чей-то басовитый рокот.

— Прибавим ходу, сынок,— предложил Зиновий Афиногенович.— А то, чего доброго, прибудем замыкающими.

— Айда наперегонки!?— озорно крикнул Миша и, скомандовав:— Раз, два, три,— сорвался с места.

Отец, тяжело топая сапогами, бежал рядом с Мишей. Поддавшись радостному азарту сына, он не хотел отставать. Глядя на его сверкающие пятки и раздувающуюся рубашку, Зиновий Афиногенович вдруг забыл, что ему далеко за пятьдесят и сердце уже скоро запросит пощады. Ему показалось, что он сам стал вот таким же босоногим хлопцем и может бегать по пыльной хуторской дороге целый день. Ведь так оно и было когда-то.

По этой самой дороге бегал он наперегонки с приятелями и в лавку к бакалейщику, и к церковной паперти на чью-нибудь свадьбу... Пробежав метров сто, Зиновий Афиногенович попросил сына:

— Погоди.

И когда тот, озорно сверкая черными глазами, остановился, заметил, переводя дух:

— Разве старому верблюду догнать молодого стригунка?

С разных сторон к ним подходили, их догоняли парни и девушки в праздничных платьях, белоснежных рубашках. Здороваясь с ними, Зиновий Афиногенович видел, что идут они не из дома, а возвращаются из укромных уголков, где после выпускного вечера сидели, бродили, смеялись и шептались в последний раз... Вот так же и его Тамара скоро, надев нарядное выпускное платье, уйдет в школу, а вернется домой не раньше утреннего солнца.

Летит время, летит быстрее самолета. Сбросить бы годков двадцать да не уезжать отсюда. И посмотреть, что тут произойдет, какая жизнь будет. Но время необратимо. И радуйся, старый казак, тому, что в твоем родном хуторе появились первые десятиклассники, а семиклассников выпущено — не счесть.

Молодые, энергичные, всезнающие. Иногда и хочется с ними поспорить, да чувствуешь, что их знания в механике и в агрономии намного крепче твоих. И все-то законы развития животных и растений они так выдают тебе, будто семечки лузгают.

— Ну, все, что ли? — спросил Зиновий Афиногенович, становясь на подножку грузовика. — Восемнадцать,— пересчитал он вчерашних десятиклассников.— Все в наличии.

Когда машина, урча и отбрасывая из-под широких колес легкую, нетронутую еще пыль, покатила по пробуждающемуся хутору, Зиновий Афиногенович сказал, что сейчас они поедут на курган Евдокима Огнева и там увидят, как солнце выкатывается из-за гряды. Свежий ветерок лохматил ребячьи чубы и прически девчат, забирался под кофточки и рубашки, настраивал пассажиров на веселый лад.

Миша глядел на старших товарищей, и ему очень хотелось поторопить годы, чтобы скорее вот так же, получив свидетельство об окончании средней школы, встретить солнце на кургане комендора Огнева, а потом уехать в институт, чтобы вернуться оттуда агрономом. Миша уже и поле для себя выбрал. Самое ближнее к лугу, на котором пасут табун. Земля там добрая, ухоженная. Сергей Иванович говорит, что этой бы землице чуть побольше водицы, она бы озолотила хутор.

Миша сделает все, чтобы это поле небывалый урожай давало. Только надо заставить время поторопиться.

У подножия кургана грузовик остановился. На вершину поднимались не цепочкой, а развернутым строем, пугая птиц, которые вырывались из густой травы, будто штопор, ввинчивались в небо.

На самой вершине, где кто-то когда-то положил прямо на песчаный холм большой круглый и плоский камень, напоминающий бескозырку, ватага остановилась.

Зиновий Афиногенович повернулся к востоку, теперь уже розовому, и сказал немного грустно и торжественно:

— Дорогие мои сынки и дочки! Вот за то, чтобы над нашими полями вставала такая мирная тихая заря, отдал свою молодую жизнь наш земляк комендор крейсера «Аврора» Евдоким Огнев. До́лжно вам знать и гордиться тем, что это он по приказу Владимира Ильича Ленина сделал тот самый выстрел из своей пушки, который и был сигналом нашей великой революции.

Зиновий Афиногенович рассказал ребятам, как во все концы России послала партия большевиков своих бойцов помогать устанавливать Советскую власть на местах. В родные края был прислан Огнев. Он создал отряд по борьбе с контрреволюцией. Выступая на митингах и сходках, балтийский

моряк говорил казакам о той новой жизни, какой ее видел великий Ленин. Враги люто ненавидели Евдокима. Они тайно собирали силы, чтобы по-воровски, ночью напасть на его отряд. И вот зимой, когда Огнев шел со своими хлопцами в станицу Нагавскую, на этом месте кадеты напали на красногвардейцев. Долго шло сражение. Таял отряд, точно мартовский снег, а беляки все наседали и наседали. Когда в живых осталось несколько израненных бойцов, их схватили и долго и жестоко мучили.

— Вот на каком месте вы стоите,— закончил свой экскурс колхозный парторг.— Святая это земля, ребята. А теперь глядите.— И он протянул руку на восток. Над степным простором, над безмерными массивами хлебов шелковым кумачовым полотнищем алела заря. И вчерашние десятиклассники, не сговариваясь, запели:

Вперед, заре навстречу,
Товарищи в борьбе.
Штыками и картечью
Проложим путь себе.

— Ну, это мы штыками и картечью проложили для вас путь,— сказал Зиновий Афиногенович.— А вам путь продолжать тракторами и самолетами.

А когда спели по одному куплету из песен «Ой вы, кони, вы кони, стальные» и «Все выше и выше, и выше», Романов попросил:

— Ну, а теперь, хлопцы, выбирайте себе поле. И закрепим мы его за комсомольской артелью навсегда. Введем такую традицию. Выпускники этого года передают выпускникам следующего...

— Любое,— зашумели парни и девчата.— Куда надо, туда и посылайте.

— Нет,— стоял на своем парторг.— Дело это добровольное. Укажите — и правление закрепит его за вами.

— Пусть Миша назовет.

Услышав такое предложение, Миша вспыхнул от смущения. Еще бы, такая честь! Он приподнялся на цыпочки. Глаза его светились радостью и вдохновением. Конечно, он давно уже выбрал поле. Но удобно ли свое поле предлагать всем? Мальчик из-под ладошки оглядел все поля. Но лучше того, о котором он мечтает, не нашел. И, протянув руку в сторону балки Себереченской, сказал:

— Что за балкой, во второй бригаде.

— Согласны! Так и быть! — восторженно согласились выпускники, будто им выделяют не участок для нелегкой работы, а место для бесконечного отдыха.

Солнце уже припекало землю, когда грузовик, урча и переваливаясь на ухабах, выехал на пригорок, откуда просматривалась центральная часть хутора.

Возле правления стояло очень много народу, можно сказать, все население Майорова. Кое-кто из задних рядов оглянулся на грузовик, они дружно замахали руками, закричали.

Почуяв что-то недоброе, Зиновий Афиногенович приказал шоферу немедленно заглушить мотор. И когда тот выключил зажигание, то до Романова и ребят долетело страшное слово: война!

Уже первые дни войны привнесли в жизнь хутора огромные перемены. Все парни, выпускники школы и те, кто недавно вернулся с действительной службы, и те, кто перешел в последний класс, не сговариваясь, пошли в военкомат, неся в кармане заявления с одной, двумя строчками: прошу добровольно направить на фронт. Ежедневно уходили из хутора те, кто подлежал мобилизации в первую очередь. Оставались женщины, старики да казачата. Но у оставшихся словно появилось второе дыхание. Они работали день и ночь, не требуя ни отгулов, ни выходных.

Каждый день приносил новые печали и тревоги. Утром, включая радио, Романов-

старший думал, что услышит бодрый голос Левитана, сообщающий о том, что кончился кратковременный отход Красной Армии и она, остановив врага, перешла в наступление по всему фронту. По стратегическим соображениям парторга это должно было произойти на старой границе.

Но вот и она осталась позади, а фашистские полчища все продвигались и продвигались в глубь страны...

Неужто Россия не поглотит нашествие? Неужели и ему, снятому с воинского учета, в четвертый раз придется браться за оружие? Где же та сила, которая должна остановить и разгромить гитлеровские полчища? Так думал ежедневно колхозный парторг, слушая сводки с фронтов, передвигая ленточку на карте, вывешенной возле конторы. Но жене, детям, всем, кто задавал ему этот же вопрос, Зиновий Афиногенович отвечал, что поражения наши временные, что скоро мы услышим другие сводки.

А из хутора каждый день провожали мобилизованных. Молодые ребята шли с бодрыми песнями, лихими плясками, успокаивали родных и близких верой в скорое возвращение. Те, кто был постарше, с трудом отрывая от себя руки жен и матерей, словно сухую черствую корку, глотали слезы...

Редели бригады. Все меньше и меньше оставалось в колхозе мужчин. Все чаще на подводах, у молотилок, на комбайнах и на тракторах виднелись женские косынки и детские, опаленные солнцем, выгоревшие головы, прикрытые отцовскими картузами и фесками.

Скоро пришло еще одно ранившее сердце майоровских известие: колхозу предлагалось передать годных коней представителям кавалерийской части. Узнав об этом, особенно сильно расстроились Конев и Романов-младший. Отец вменил сыну в непременную обя-



занность каждый день седлать Колумба, скакать по всем трем полеводческим бригадам и передавать отпечатанную на машинке свежую новость с фронта. Хотя сводки были тревожными и горькими, но везти их надо было, потому что, говорил отец, люди должны знать правду, чтобы не могли воспользоваться временным отступлением скрытые враги и паникеры.

Возил Миша сводку будто похоронные извещения. Почти в каждой из них было написано: наши войска после ожесточенных или кровопролитных боев оставили то Львов, то Гомель, то Николаев. И лишь однажды блеснул луч надежды. Под Смоленском не только остановили, но и отбросили немцев.

— Погодите, то ли еще будет! — вселял уверенность в земляков парторг.

И вот, когда жители Майоровского ждали необычных известий с фронта, поступила в колхоз разнарядка на коней. Миша пришел, чтобы оседлать Колумба для очередного рейда по бригадам, но конюх, уже предупрежденный о мобилизации, с Иваном Фокичем и Ванюшкой Мироновым в сопровождении двух военных придирчиво осматривал каждого коня. Колумб еще издали увидел Мишу, призывно заржал и, расталкивая однолеток, пробился к изгороди. Миша перемахнул через жердь, но услышал сердитый голос Конева:

— Не моги, Минька! — Отвечая на недоуменный молящий взгляд Романова, добавил: — Он уже передан красной кавалерии.

— А как же сводка?— не понял Миша всей жестокости слов Сергея Ивановича.— Ее же ждут.

— Бери мою Зорьку, но чтоб через час был тут. А что там в сводке пропечатано?

— Идут ожесточенные бои на Киевском и Минском направлениях.

— Значит, сдадут,— сказал тихо один из военных.— Дня через два сообщат.

— Типун тебе на язык, сынок,— пожелал ему Сергей Иванович и ожесточенно крикнул:— Седлай, говорю, Зорьку и скачи!

Тот военный, которому конюх пожелал «типуна на язык», не обиделся на старика, а так же тихо сказал Мише:

— Бери своего Колумба. Промчись с ветерком в последний раз. Но смотри, чтоб все в ажуре было.

Миша, ликуя, вскочил на спину неоседланного коня, одной рукой дернул его за гриву, другой шлепнул по жесткому крупу, и Колумб, пружиня на задних ногах, сделал свечку, затем оттолкнулся от земли и птицей перелетел через загон.

— Гляди, не запали! — крикнул ему вдогонку Сергей Иванович. А Иван Фокич, отведя в сторону Ванюшку, прошептал:

— Заметил, когда он прыгал, задел за жердину? А в ней гвоздь торчит.

Миронов ничего подобного не заметил, но на всякий случай поглядел на скачущего по пыльной дороге Колумба. Нет, кажется, все в норме, конь идет ровной рысью. Чтобы окончательно убедиться в ошибке Захарова, Ванюшка хотел подойти к той жердине, но Иван Фокич срочно отослал его в конторку за карандашом.

Когда Миша вернулся из бригад, военных на конюшне уже не было. Они ушли в правление оформлять документы. Около коней находился один Захаров. Он принял разгоряченного Колумба от пионера.

Утром хутор облетела страшная весть: ночью околели три лошади, а у Колумба правая нога оказалась распоротой гвоздем. Когда Миша прибежал на конюшню, Сергей Иванович, глотая слезы и страшно ругаясь, требовал, чтобы немедленно разыскали Захарова и поставили его к стенке.

Приехали на бричке Романов и зоотехник. Они пожали руки военным и, склонив головы, направились в загон. За ними шел конюх

и настоятельно требовал привести сюда Захарова.

— Ну, нет его. Ночью уехал в Котельниково, племяша на фронт проводить,— нетерпеливо объяснил ему Зиновий Афиногенович,— говорил, что на конюшне все нормально. Только Колумб ногу оцарапал. Придется подождать. Вернется, разберемся. А теперь не мешай. А вы, товарищи, забирайте табун и гоните на станцию. Не ровен час, еще какие происшествия начнут приключаться. Говорят, немцы десант где-то в степях с самолета сбросили.

— Мы должны получить у вас пятьдесят две головы, а получаем лишь сорок восемь.

— Ну, возьмите еще наши впридачу,— полушутя-полусерьезно отбил нападку парторг.— Может, так попаду на фронт, а то меня два раза военком выгонял из кабинета.

Лейтенант понимающе улыбнулся и попросил выделить им в помощь для отправки табуна на станцию несколько надежных товарищей. Романов повернул голову вправо, влево, увидел сына, стоящего в отдалении, и поманил его.

— Позови-ка своих дружков. Будет вам особое задание.

— Ковыля наелись,— подошел к ним зоотехник, показывая на ладони несколько шелковистых веточек,— изо рта достал.— Предупреждал ведь. Не гоняйте на ковыли. Не послушали.

— Бывает,— о чем-то подумав, промолвил Зиновий Афиногенович и укорил конюха:— Так что напраслину на Захарова не возводи, дружище. Время сейчас военное, крутое. Человека ни за понюх табаку погубить можно.

Миша побежал за своими друзьями. Когда, запыхавшиеся, они появились на конном дворе, табун уже готовили к перегону.

На станции творилось что-то невообразимое. Весь перрон был буквально забит людьми. На первом пути стоял длинный

эшелон, составленный из пассажирских и крытых грузовых вагонов-теплушек. Возле паровоза и в хвосте эшелона было прицеплено две платформы, на которых, задрав кверху стволы, стояли пулеметы и зенитные пушки.

Слышался женский крик, детский плач, песни, залихватские голоса гармошки, звон гитарных струн. Пересиливая этот невообразимый гомон, загудел медный колокол. Раздалась зычная и властная команда:

— По ваго-онам!

— Бежим!— предложил Миша.— Может быть, увидим кого из своих.

— Всем нельзя!— заметил военный.

— Мы вдвоем,— попросил Миша за себя и Ванюшку.

Возле первого же вагона они встретили Ивана Фокича Захарова. Он был сильно пьян и все время, падая на грудь племянника, плакал, что-то рычал, кому-то грозил. Племянник с силой отталкивал дядю, говоря:

— Ну, хватит. Слышал. Знаю.

Ребята хотели подойти к Захарову и рассказать о несчастье на конном дворе, но подумали, что сейчас это делать бесполезно, и пошли дальше. Отойдя, они увидели, как прощается со своим суженым Феня Нарбекова, назначенная несколько дней назад секретарем сельсовета. Девушка крепилась, хотела, чтобы жених, плечистый тракторист, не видел слез и страданий, но слезы сами текли по широким скулам ее смуглого лица. Парень смущенно оглядывался на провожающих и басил:

— Скоро вернусь, только ты жди.

Около классного вагона Миша неожиданно наткнулся на Витьку Морозова. Тот стоял с красным распухшим от слез лицом и беспрестанно тер руками глаза. Тут же стояли его отец и мать. Отец взял из рук жены вещмешок и нетерпеливо поглядывал на подножку вагона, но сын и жена крепко вцепились

в рукава его косоворотки и, кажется, не собирались его отпускать.

— Провожаешь?— спросил Миша, хотя сам отлично видел картину и все прекрасно понимал. Но ему хотелось как-то приковать к себе внимание и поговорить со старым приятелем.

Витька глянул на него мутными глазами и еще сильнее заплакал. Отец узнал Мишу и будто обрадовался:

— Романов, Мишутка! Передай бате, что я добровольно еду на фронт.

— А батю не пускают,— винясь за своего отца, объяснил Миша.

— Знаю. Вместе были у военкома. Староват он. Мы там без него управимся. А вы тут не подкачайте.

Прошло еще несколько томительных минут, прежде чем раздался третий звонок. Пронзительный гудок паровоза пролетел над перроном, и стальные колеса медленно, нехотя покатились по блестящим рельсам. Смолкли песни, смех, слышалось только тяжелое дыхание паровоза и прощальные крики провожающих и отъезжающих.

Давно уже от эшелона осталась темная точка с дымком над дорогой, но люди не расходились с перрона. Точно они ждали объявления, что война кончилась и всем мобилизованным нужно вернуться к тому делу, от которого их оторвали.

Но чуда не свершилось. Поезд ушел в окутанную предвечерним маревом степь. И люди начали постепенно расходиться к своим подводам, тракторам.

— Надо бы и нам сесть и уехать,— высказал сокровенную мысль вслух Миша, когда они возвратились на погрузной двор.

— Кто бы тебя взял,— откликнулся Витька, увязавшийся за ними.— Ты думаешь, я почему ревел? Хотел с батей на фронт махнуть. Но он мне такой фронт задал. Вон и сейчас ухо горит.

— А я когда увидел, как ты хлюпаешь, прямо не угадал тебя,— признался Миша.

— Ну, само собой, отца жалко. Что мы с матерью делать будем? Чего доброго, с голоду еще помрем.

Ванюшка смерил его крепкую откормленную фигуру насмешливым взглядом. Такой толстяк о голоде думает, а что им с Мишкой тогда думать, когда у них живот к позвонку прирос?

— Работать будете, не помрете,— нравоучительно заметил Миронов.

— Я малый, а мать хворая,— плаксиво отозвался Витька.— Какие из нас работники?

— Приезжай к нам в «Красный партизан»,— предложил Романов.— Я попрошу отца. Он вам что-нибудь подыщет. Вон я воду в бригаду вожу, а ты можешь горючее или еще что...

Витька, не ожидавший такого участия и великодушия со стороны человека, которому он принес зимой немало горьких минут, даже остановился.

— Ты взаправду?

— А что же тут шутейного,— поддержал Романова Ванюшка.— Нам рабочие руки во как нужны.

— А как же твои сизари,— осмелился напомнить Морозов о загубленных голубях.— Ты же обещал никогда не простить?

— Да чего там,— раздобрился Романов.— Прощаю уж, раз твой отец добровольно на фронт пошел...

— Ну, спасибо,— обрадовался Морозов.— А я тебе после войны новых куплю...

Вдоль длинного каменного пакгауза вытянулись вагоны, и в них ставили коней. Ребята помогали заводить лошадей, привязывали их к стойкам поводьями, недоуздками, чембурами, бросали на пол сено, сыпали в торбы овес, бегали за водой. Когда погрузка закончилась и лейтенант пожимал им руки, Миша пообещал:

— За Колумба не волнуйтесь. Как только подлечится, враз его вам отправлю. Вы только адрес свой пришлите.

— Спасибо. Адрес пришлю.

— Или на него сяду и приеду в часть.

— Всякое может случиться,— сказал лейтенант серьезно, хотя губы его растянула улыбка.

ТРЕВОГИ И РАДОСТИ

Незаметно пролетело знойное лето. В воздухе запахло не только дождями, но и медвяным ароматом спелого ранета. Сливы, умытые росами, словно слезы, свисали с веток и падали на давно не ухоженную землю. На бахчах лопались от избытка влаги и сахара кровяно-красные арбузы.

Было не до садов и бахчей. Спешили управиться с хлебом. Давно придонские степи не давали такого щедрого урожая. И его нужно было собрать и свезти на элеватор, в закрома государства,— все до зернышка. Так решили колхозники на своем собрании. Весь хлеб отправили в фонд обороны.

Теперь это слово все чаще и чаще произносится вслух. Кольцом блокады обложили враги героический Ленинград. Только недавно оставили Киев наши последние части. Мужественно оборонялась Одесса. Готовилась встретить захватчиков Москва...

И хоть не сбылись надежды Зиновия Афиногеновича насчет решительного отпора на старой границе, но утешал себя казак тем, что не удалось и Гитлеру в июле захватить нашу столицу и таким «блицкригом» закончить войну. Пришли новые радостные, как весенние ласточки, сообщения об успешном контрнаступлении Красной Армии под Ельней. Значит, есть еще порох в пороховницах. Значит, не потеряла Красная Армия бойцовский дух. И наступит еще день!

С железной верой в этот день начинал

каждое свое утро Зиновий Афиногенович. С ней же и засыпал он на несколько часов, чтобы с первыми петухами вновь быть уже на ногах, идти в контору, по дворам, по бригадам. Теперь он, секретарь партийного комитета, был назначен руководителем второй бригады.

Не мог допустить Романов, чтобы его бригада плелась в хвосте. Не мог допустить, чтобы и колхоз замыкал районную сводку хлебосдачи. А коммунистов вместе с ним осталось всего четверо. Вот и ломал голову парторг, в какой день, куда послать каждого из них. На труднейший участок, конечно же.

Спасибо комсомольцам! Вместе с Феней Нарбековой они выходили на любую работу и трудились, не жалея сил. Радовался ветеран и за женщин. Давно ли некоторых из них приходилось уговаривать, упрашивать выйти на плантацию или ферму? А теперь сами брали бригадира за грудки, требовали: давай работу.

За Мишей напостоянно были закреплены два неуклюжих вола — Цезарь и Тур. С утра он возил воду в бригаду. А потом перезапрягал животных в арбу, ехал на ток за зерном. За день его арба успевала сделать ездку до элеватора. Прежде, на коне, эти двенадцать километров Миша проезжал за час, а то и быстрее.

Теперь же, как ни надрывался пионер, как ни дергал налыгач, как ни угощал быков хворостиной, они ставили свои ноги при каждом шаге так, будто хотели проверить прочность дороги. И раньше чем за три с половиной часа Цезарь и Тур не доходили до ворот элеватора.

Приехал помогать колхозу и Морозов. Чаще всего он ходил за плугом — пахал зябь. Теперь днем друзьям редко удавалось бывать вместе. Зато вечерами они все так же спешили на конюшню, где осталось несколько выбракованных — старых, хромых, кривых

лошадей. И за ними ухаживали, как за теми, которых сдали Красной Армии.

В их число попал и Колумб. Рана на ноге затянулась, но ходил он теперь, тяжело припадая на правую ногу.

«Жалко, конечно, что строевых коней забрали,— думал не однажды в ночном Миша,— а то можно было бы организовать отряд и попроситься добровольно в красную кавалерию. Служили ведь у Буденного ребята и даже одна девчонка. А главного мальчишку тоже звали Мишкой. Какие отчаянные и ловкие были ребята! Недаром их прозвали красными дьяволятами, и книгу про них написали, и кино выпустили».

Хотел несколько раз поговорить об этом с Ванюшкой, но сегодня окончательно решил посвятить в свою тайну отца. Почему-то верил, что сначала Зиновий Афиногенович отругает их, а потом поймет.

Через несколько дней, улучив момент, когда отец пришел домой в настроении и даже покатал на себе младшую — Лиду, Миша решил открыть ему свою тайну. Отец кружился с дочерью по низкой комнате и приговаривал:

— А мы выполнили план! А мы выполнили план! Слышишь, Анна Максимовна, «Красный партизан» первым в районе выполнил план хлебопоставок. Сто тыщ пудиков отвалили. Целый год целую дивизию будут кормить нашим хлебом.

Когда сели за большую семейную чашку с постным борщом, заправленным сметаной, отец по привычке подправил усы и начал спешнее обычного есть. Перехватив укоряющий взгляд жены, объяснил:

— Суконную гимнастерку достань. Сейчас по бригадам поеду. Надо людей поздравить с большой победой.

Это известие обрадовало Мишу. Он попросится с отцом, по дороге все ему расскажет. Сын начал торопливо работать ложкой. Его

суетность не укрылась от материнского глаза.

— А ты куда заторопился?

— С отцом,— оторвался сын от чашки.

Но Зиновий Афиногенович на этот раз огорчил Мишу отказом. И объяснил ему, что с утра колхоз повезет хлеб сверх государственного плана. И это событие надлежит соответствующим образом оформить. Они договорились, что на каждом мешке будет написано: «Сверх плана в фонд обороны». Надписи эти сделают Миша и его друзья. Работы им хватит на всю ночь.

Миша понял, что говорить надо сейчас. Он начал издалека. Спросил, помнит ли отец красных дьяволят, ну, тех, Мишу, его сестру Дуняшу и негра Тома, которые захватили в плен батьку Махно? Отец подтвердил, что отлично помнит эту смелую, лихую тройку. Тогда сын задал вопрос, а как бы он отнесся к тому, что Миша со своими приятелями создадут точно такой же отряд и добровольно уйдут в Красную Армию?

Мать, как только услышала об этом, замахала руками и запричитала, чтоб Михаил и думать о таком не смел. Отец жестом остановил Анну Максимовну и, когда Миша посмотрел в его серые большие глаза, сказал, расправляя складки гимнастерки под ремнем:

— Как говорят на Руси: не дай бог, но ежели придет такая лихая беда на нашу землю, кликнем мы вас. Но должны вы быть готовыми ко всему. А потому позвоню завтра в Осоавиахим, попрошу надежного человека. Пусть занимается с вами по всем правилам военной наукой. Так и дружкам своим передай.

Перед самым началом учебного года в хутор приехала с попутной подводой новая учительница Наталья Леонтьевна Власова.

В правлении ее ждала Феня Нарбекова. Ни о каком диване в учительской она слу-

шать не желала. Они вдвоем с матерью остались: отец и брат еще в июле уехали на фронт. В доме тоска несусветная. Им втроем веселее будет. И, кроме того, Наташа будет помогать Фене, которая поступила на заочное отделение учительского института. А мама у нее какая — добрая, ласковая и лучшая доярка в колхозе.

— Одним словом, так,— закончила свое приглашение Феня.— Сейчас зайдем в школу, ты представишься Людмиле Николаевне, она осталась за директора, потом отнесем к нам чемодан.

Миша, узнав от матери новость, кое-как перекусил и побежал разыскивать Власову.

Месяцы разлуки изменили девушку. Она стала взрослее, серьезнее. Это первое, что заметил Миша. Только в глазах ее блестели те же искорки. Мише показалось, что Натка похудела, загорела. Не так, конечно, как он, но все-таки кожа у нее утратила прежнюю белизну. И мальчику думалось, что теперь ее уже неудобно называть Наткой, даже про себя и в разговоре с приятелями. Одно дело — пионервожатая, и совсем другое — учительница.

А Наталье Леонтьевне уже сообщили, что она будет вести четвертый класс вместо ушедшего на фронт учителя.

— Ты доволен?— спросила Власова, рассказав ему коротко о себе.

— Еще как!— не скрыл своей радости Миша.

— А я прямо на седьмом небе!— призналась Наталья Леонтьевна.— В районо мне предложили: поезжайте в Майоровский, там у нас два учителя начальных классов. А я все равно сюда бы попросилась, потому что с поезда побежала к вам. Гляжу, а там новые хозяева. Говорят: Романовы уехали еще весной в хутор Майоровский. Ну, теперь мы тут развернемся. Перво-наперво организуем военные кружки, будем изучать оружие,

санитарное дело, азбуку Морзе, сигнализацию флажками... Все может пригодиться...

— А с нами уже занимается один инвалид, инструктор из Осоавиахима,— поделился радостью Миша.

Это понравилось Власовой. Потом она говорила, что пионеры будут помогать убирать огороды не только колхозные, но каждой семьи, в которой взрослые мужчины ушли в Красную Армию, на каждый такой двор вывесят красную звезду. Это значит, что отсюда ушли на фронт, а тимуровцы шефствуют над этим домом. А за работу в колхозе деньги будут перечислять на пионерскую книжку.

— А мы все бесплатно делаем,— не понял ее замысла Миша.

— Нет, будем делать за деньги,— стояла на своем Власова.— А потом, когда наберем тысячу или две тысячи, пойдем в райком комсомола и скажем, чтобы они помогли нам купить для Красной Армии пулеметы или автоматы...

— Лучше танк или самолет,— принял ее замысел Миша.

— На самолет тысяч сто, наверное, требуется... А вот танк — это ты здорово придумал. Представляешь, выйдет из цеха танк, а на его башне написано: «Сталинградский пионер». И мы его вручаем боевому экипажу...

— Или еще лучше: сами садимся в машину. Ты у нас за командира.

— Миша,—сделала ему замечание Нарбекова,— почему ты называешь Наталью Леонтьевну на «ты»? Она же твоя учительница.

Власова рассмеялась.

— Я даже не замечаю этого, Феня. До сих пор не представляю себя учительницей. И для Миши я могу сделать такое исключение.

— Не надо,— остановился Миша.— Лучше я вам буду говорить «вы».

— Ну что ж, вольному — воля,— согласилась Власова.

Утром за Морозовым приехала мать. Когда мальчишки выбежали на улицу, Витька достал из кармана пятерку и протянул Мише.

— Держи, это за твоих сизарей. Бери,— настаивал приятель, видя, что Миша спрятал руку.— Это мне вчера в конторе расчет выдали. Целых двадцать пять рублей. И муки немного.

— Мы решили на заработанные деньги купить танк «Сталинградский пионер».

— Во сила. А где их продают?

— Пошлем деньги в Москву и попросим, чтобы наш подарок передали Красной Армии.

Витька достал еще три пятерки и сказал:

— Я себе одну оставлю на кино. А эти передай в фонд обороны.

Мать удивилась: и как только у ее сына на все хватает времени. Тут одни домашние заботы с ног валят, а он, точно заведенный, встает вместе с отцом и ложится не раньше. В тетрадях одни «отлично» да «хорошо» стоят. И после школы прибежит, закусит, принесет воды, кизяков, нащиплет лучин, поросенку болтанку выльет, с сестрами посмеется, попрыгает. Глядь — его уж нет. Или на плантации, или в овощехранилище, где с дружками картошку перебирает, или у Сергея Ивановича, а то и в пионерской комнате.

Соседи говорят, что новая учительница хуже мальчишки — вместе с военруком водит их в балку, учит там стрелять из малокалиберной винтовки, флажками машет, а девчонок загоняла с большой санитарной сумкой. Накличет она своими играми беду на хутор.

А беда и без того надвигается. Вчера Зиновий Афиногенович пришел темнее тучи. Сел за свой чемодан, перебирал бумаги, а потом бросил их обратно туда и говорит:

— Ростов сдали. В газетах не напечатано, но в райкоме сегодня предупредили, чтоб были готовы к эвакуации...

— Это как же,— подкосились ноги у Анны Максимовны.— Ты же успокаивал... И куда я с ними четверыми в зиму? А тут еще пятый ожидается.

Зиновий Афиногенович сел возле ног жены, положил голову на ее колени и попросил:

— Ты прости меня, Аннушка. Никогда не думал, что немец так далеко зайдет. И сейчас не верю, что не остановим эту свору... Ты пока никому ничего не говори. Может, все это переменится.

Анна Максимовна нежно гладила седеющую голову мужа и никак не могла представить свою поездку из дома с оравой детей в неизвестные края. И тогда она сказала:

— Заберешь с собой Мишутку...

— Куда заберу?— насторожился муж.

— В эвакуацию.

— Не мне, вам надлежит эвакуироваться.

— А ты?

— Остаюсь здесь для партизанской работы. И об этом ты должна молчать.

— Вон оно как дело обернулось,— заплакала Анна Максимовна.— Двадцать лет вместе, а тут на́ тебе...

— Ты погоди, не убивайся,— начал успокаивать ее Романов.— Может, еще все обойдется.

Об этом разговоре родителей Миша ничего не знал. Секрет был известен лишь немногим активистам. В том числе Фене Нарбековой... Вечером она сказала Наташе, что скоро, наверное, учебный год придется прервать: немцы близко, а ей лучше всего возвратиться в Сталинград.

— Ну нет, Феня,— тряхнула короткой стрижкой Власова.— Отсюда я никуда. В случае чего, останусь на оккупированной территории. Меня здесь мало кто знает, я вполне могу связной быть.

— Вопрос о подпольщиках решает райком партии,— не поддержала ее патриотического порыва секретарь сельсовета.— Будут оставлять тех, кого давно и хорошо знают.

— А ты меня плохо знаешь?— обиженно закусила губу Власова.

— Ну ладно, я за тебя поговорю,— согласилась Феня.

— Вот это другой оборот,— обрадованно сказала учительница.— А то что подумают про меня мои орлы? Скажут, учила быть смелыми, храбрыми, а как гроза приблизилась, она как лиса хвостом вильнула.

Готовясь идти в партизаны или подпольщики, не знали Зиновий Афиногенович, Нарбекова, Власова, да и не могли знать, что далеко от Сальских и Калмыцких степей, в Москве, уроженец здешних мест, бывший командир дивизии Первой конной, а ныне генерал-майор Тимофей Петрович Кругляков уже ведет большую подготовительную работу по организации партизанской борьбы в тылу врага.

Не знал в тот вечер и не мог даже предвидеть Романов-старший, что не пройдет и года, как его жизненный путь вновь пересечется с дорогой своего бывшего командира и что под его руководством, теперь начальника штаба партизанского движения, пулеметчик Зиновий Романов еще послужит Родине не один день, помогая Красной Армии громить врага, пришедшего на донскую землю.

Но тогда, осенью 1941 года, пути эти не пересеклись по той причине, что подпольные группы и диверсионно-партизанские отряды создавались лишь на территории оккупированного Донбасса и в Придонских районах Ростовской области. Дальше врагу в ту жаркую осень продвинуться не удалось.

Однако возводить оборонительные рубежи на дальних подступах к Сталинграду не перестали. Экскаваторы, утопая гусеницами

в грязи, черпали тяжелую липкую глину и выбрасывали ее на бруствер. Автомашины, буксуя и натужно ревя на каждом подъеме, привозили железобетонные колпаки дотов.

Ежедневно на строительство колхоз выделял полсотни человек с подводами. После уроков туда уезжали старшеклассники. С ними непременно были Миша и Ваня. Чаще всего эту группу возглавляла Наталья Леонтьевна, иногда Феня. Школьники рыли ямы для установки дотов, выравнивали откосы противотанкового рва, Миша и Ваня развозили лопаты, ломы, ездили на пруд за водой, помогали кашеварам под навесом.

Возвращались поздно, иногда промокшие, иногда озябшие, но всегда усталые. Однако эта усталость не угнетала ребят. Они сердцем осознавали, что участвуют в большом и важном деле. Они проникались пониманием, что лучше такой адский труд, чем вражья оккупация.

Не только школьники, но и взрослые не исключали возможности однажды лицом к лицу встретиться с немецкими танками или десантниками. Взрослые всячески избегали мысли об этом. Ребята себе представляли это так: наши отступающие части займут здесь оборону, а всех гражданских попросят помогать батарейцам подносить снаряды, пулеметчикам — ленты, для пехотинцев заряжать диски. А потом, когда фашистские танки, не считаясь с потерями, окажутся возле рва, мальчишкам доверят гранаты и бутылки с зажигательной смесью, а девчонкам большие санитарные сумки...

И встреча состоялась. Но она была далека от той, которую рисовало ребячье воображение. Когда осеннее тусклое, как давно не работающий лемех, солнце, раздвигая тучи, врезалось в землю, на горизонте появились темные точки. Скоро до ушей донесся прерывистый рокот моторов. И тотчас по всей линии рубежей пронеслась тревога:

— Воздух! Возду-ух! Врассыпную! Ло-о-ожись!

Самолеты шли низко и, кажется, неспешно. Они как бы чувствовали свою мощь и безопасность и потому выполняли работу с точным расчетом. Их было двенадцать. Тяжелых, угловатых, страшных. Страх от их появления еще больше усилился, когда с неба посыпались первые бомбы. Черные точки, отделяясь от фюзеляжа, росли, увеличивались на глазах, издавая душераздирающий вой, который заставлял буквально врастать в землю, искать защиту за каждым бугорком, возле каждой суслиной норы.

Миша и Ваня лежали недалеко от кухни, в яме, где в сухую погоду разводили костер. Перемазанные золой и пеплом, они скоро оправились от грохота и высунули головы из убежища.

Первые взрывы потрясли землю. Испуганные лошади рвали постромки и кидались в степь. Небо заволокло черным дымом. В воздух летели комья глины, доски от повозок, детали машин. Многие не выдержали испытания. Адское громыхание, красно-черные сполохи, бесперебойная пулеметная трескотня и беззащитность подавили их, и они, вскочив, метались по степи, ища спасения в ложбинках, в редких зарослях кустарника, за отвалами земли, выброшенной из противотанкового рва.

Тот, кто, казалось, нашел убежище, кричал:

— Ложись!

— Давай сюда!

Но их никто не слышал.

Эскадрилья, не задерживаясь, пролетела дальше на восток.

«Неужели будут бомбить хутор?»—с ужасом подумали майоровцы и почувствовали всю необходимость быть сейчас там, возле родных. Многие из них вскочили и что было силы побежали в сторону Майоровского.

При кажущейся медлительности самолеты летели очень быстро, и не было никакой возможности догнать их.

Они уже кружились где-то над городом. Там поднялось несколько огромных огненно-угольных столбов и раздался далекий гул. Дым заволакивал окраины Котельниково. Из этого дыма нервно забили зенитки. Самолеты, чуть набрав высоту, развернулись и так же не спеша удалились в сторону затухающей зари.

После бомбежки Миша как будто вырос, повзрослел. Мать заметила у него складку между черными прямыми бровями. И хотя школьникам запретили выезжать на строительство рубежей, многие дети и внуки нередко уговаривали матерей и стариков взять их с собой. Миша тоже доказывал отцу, что не испугался вражеских бомбардировщиков. Отлично запомнил отцовский наказ: от самолета не надо, словно суслик, кидаться в нору, прятать голову в землю, надо глядеть на «юнкерс» или «хейнкель», и тогда сразу увидишь, куда он сбрасывает бомбы.

Через неделю морозы сковали раскисшие дороги, так забетонировали землю, что ее с трудом долбили ломы, кирки и даже железные челюсти экскаватора. А скоро упал снег. Он так припушил равнину, что она стала похожей на белое покрывало без конца и края. И в это же время пришло то долгожданное известие, с надеждой услышать которое люди просыпались каждое утро: немцев разгромили под Москвой! Не так, как под Ельней и даже Ростовом. На отдельных участках наши войска продвинулись вперед на двести и больше километров. Такие сводки Информбюро советские люди слушали впервые.

По этому радостному случаю в клубе собрали митинг. Народу набилось столько, сколько не собиралось с начала войны.

Зиновий Афиногенович стоял перед столом,

накрытым красным сукном, подтянутый, хорошо выбритый, с лихо закрученными стрелками усов и, ожидая, пока утихомирится зал, осторожно сжимал в больших руках только что привезенную газету. Когда он заговорил не очень громко глуховатым, срывающимся голосом, все поняли, как сильно взволнован их парторг. Это волнение перешагнуло через сцену и вышло в зал, который затих до бездыханности.

Романов говорил о том, что наконец-то они дождались светлого дня, о котором мечтали с первых дней вероломного нападения Германии на СССР, ради которого они, колхозники сельхозартели «Красный партизан», работали без устали дни и ночи. Сдавали в фонд обороны хлеб, мясо, картошку...

Затем Зиновий Афиногенович развернул газету и стал медленно читать сводку, которая начиналась словами, запавшими в сердце, как лучшее стихотворение: «В последний час...»

После митинга Зиновий Афиногенович, взяв в библиотеке большой том истории СССР, ушел с сыном в правление. Там они, склонившись над метровым листом ватмана, перерисовали карту центральной части Советского Союза. Миша делал аккуратные четкие подписи под кружочками, обозначающими города и крупные села Московской области, освобожденные в период героического контрнаступления Красной Армии.

— Началось, сынок!— взволнованно говорил отец, рисуя новую красную стрелку, отходящую от Москвы, словно луч от солнца.

ВСТРЕЧИ И РАССТАВАНЬЯ

После Москвы радостное сообщение пришло из-под Ленинграда. Наши войска перешли и там в наступление и освободили город Тихвин. Теперь из осажденного Ленин-

града вывозили в глубокий тыл мирных жителей, главным образом, детей. Несколько эвакуированных детей привезли в Майоровский. Вместе с ними приехала Людмила Крылова.

Она была не моложе Власовой. Но дальняя и нелегкая дорога, ответственность за судьбу малышей и недоедание настолько истощили ее, что она больше походила на подростка, чем на девушку.

Когда розвальни подъехали к правлению колхоза, Людмила, едва держась на ногах, вошла в кабинет парторга и, поздоровавшись, попросила:

— Скорее определите детей в тепло и дайте им что-нибудь поесть.

— Эй, кто там, в конторе!— властно крикнул Зиновий Афиногенович.— Все за мной!

Он первым выбежал во двор, схватил двух закутанных в одеяла ребятишек и потащил в свой кабинет. Войдя, увидел, что гостья, едва дотянувшись до стола, опустилась на колени.

— Эй, чижик, ты что?— озадаченно остановился подле нее Романов, подтолкнув ребят к натопленной печке. Люда не отвечала. Она была в обмороке. Зиновий Афиногенович, точно пушинку, поднял ее на диван.

— Голодный обморок,— определил зоотехник, вытирая пот с белого, как стена, лица ленинградки.

Дети, увидевшие свою спасительницу неподвижно лежащей, заревели в один голос. Подошедшие женщины стянули с Людмилы шапку, расстегнули воротник демисезонного пальто. Прибежавшая фельдшерица принесла пузырек нашатырного спирта. К носу Крыловой поднесла тряпочку, смоченную спиртом. Она открыла глаза, увидела склоненные над собой озабоченные лица и услышала плач детей. Она виновато улыбнулась и попыталась подняться. Но ей не разрешили. Кто-то принес ломоть хлеба, бутылку мо-

лока. Увидев все это, Людмила слабым голосом, но твердо попросила, указывая на детей:

— Им.

— Дадим,— успокоил ее Зиновий Афиногенович.— Ты сама съешь.

Эвакуированных малышей тут же распределили по семьям, а Людмилу увела к себе Феня.

— Мы тебя с Наткой быстро на ноги поставим,— говорила она приезжей, подсаживая ее на лежанку печи.— Там тепло, чисто.

— В пальто у меня документы. Возьми их, оформи детей.

— Все сделаю. Не беспокойся, отдыхай. Вот тебе еще молоко, хлеб. Только не все сразу ешь. Понемножку.

— Знаю,— ответила Крылова и опустила тяжелую голову на подушку.

Она спала целые сутки. И подруги все это время, заглядывая на печь, разговаривали только шепотом, передвигались неслышными шагами. Из документов им стало ясно, что Людмила Крылова — комсомолка, студентка пединститута, эвакуировалась из Ленинграда с группой осиротевших детей.

— Это хорошо, что она из педагогического,— радовалась Власова.— Мы ей третий класс дадим или, еще лучше, назначим старшей пионервожатой, а то мне одной тяжеловато.

Через неделю Люда поправилась и пришла в школу. За эти дни она сдружилась с Наташей и Феней. По ночам подруги долго не спали. Слушали рассказы Крыловой о Ленинграде, его тяжелой обороне. Люда не уехала с институтом в глубокий тыл. Она попросилась на фронт, но ее не взяли — у нее не было никакой военной специальности. Она срочно пошла на курсы радистов. Но горком комсомола вызвал ее и направил по квартирам собирать осиротевших детей.

И вот теперь, когда она привезла свою

группу в далекий тыл, снова пойдет в военкомат. Подруги не отговаривали Крылову, но советовали ей немножко поправиться, подкрепиться. А пока заняться пионерией или взять один младший класс. От класса Люда отказалась, а поработать с пионерами согласилась.

Вечером они собрались в самом просторном классе, и Наталья Леонтьевна познакомила ребят с новой пионервожатой. Все уже знали короткую, но героическую биографию девушки из города на Неве. Ожидали, что она начнет говорить о тяжелых месяцах осажденного Ленинграда, о мужестве и подвигах защитников, но Люда вдруг неожиданно предложила:

— Скоро Новый год. Давайте устроим елку. С масками, с песнями, с игрушками. И давайте соберем теплые вещи для бойцов и командиров.

Через две недели после Нового года пионерские подарки были сложены в почтовые ящики. Вместе с носками и варежками ребята вложили письма, в которых просили дорогих воинов скорее разгромить немецко-фашистских оккупантов.

Посылки повезли в Котельниково Наталья Леонтьевна, Феня, Людмила и Миша с Ваней. Ящики положили на санки, а сами стали на лыжи. Девушки пустили мальчиков вперед. Всю дорогу они о чем-то говорили. Иногда громко, и тогда ребята останавливались, чтобы узнать, о чем у них спор, но спутницы тут же замолкали и велели мальчикам двигаться дальше. И все-таки Миша и Ваня уловили из разговора, что Крылова поступает неправильно, одна уходит куда-то, не сдержав данного слова.

— Не могу, понимаете. Не могу я сидеть здесь,— горячилась Людмила,— когда фашисты терзают мой город.

— Но ведь идет наступление,— не менее горячо возражала Наталья Леонтьевна.—

Наши уже воюют под Таганрогом, в Донбассе. От Москвы отогнали фрицев на 250 километров.

Ребятам все стало ясно в городе. Когда они сдали посылки на почту и вышли на улицу, Людмила сказала:

— Ну, а теперь прощайте.

Мальчики удивленно поглядели на нее, на Власову и Нарбекову. Те стояли печальные, даже слезинки заблестели у них на глазах.

— Ладно уж, проводим тебя до военкомата,— вздохнула тяжело Наталья Леонтьевна.— Хоть ты индивидуалистка, а все равно жалко с тобой расставаться.

— Странная ты, Наташа. Я же не виновата, что вас оставили до особого. Наверное, роль сыграла моя специальность...

К военкому Крылова пошла одна.

— Куда это она?— спросил Миша.

— На кудыкину гору,— ответила Феня.— А еще в разведчики собираешься.

Скоро Крылова вышла на крыльцо. Ее худощавое лицо светилось такой радостью, словно военком вручил ей от имени Президиума Верховного Совета орден или медаль.

— Все остается в силе! В семнадцать ноль-ноль уезжаю. Берегите моих малышей. Я за ними вернусь, как только победим. Миша, возьми мои лыжи. Они длиннее и пружинистее. Ну, а теперь давайте прощаться, а то мне к начальнику надо явиться.

Девушки молча обнялись. Ребятам Людмила пожала руки.

Возвращались грустными, молчаливыми. Перед хутором Наталья Леонтьевна наказала:

— Вы про Людмилу особенно не распространяйтесь.

— Знаем, не маленькие,— по-взрослому ответил Миша.

...Дожили до весны, до новых хороших сводок. Наши войска перешли в наступление под

Харьковом. Повеселевший Зиновий Афиногенович снова каждое утро передвигал на карте красную ленточку. В колхозе шел сев. В прежние годы за такие темпы и председателю, и партийному секретарю давно бы влепили по строгачу, а теперь, когда в поле работали женщины, старики да пацаны, из райкома только сообщали, как идут дела у соседей, интересовались, когда закончат тот или иной клин.

В тракторную бригаду чаще, чем в довоенное время, приезжал комсомольский вожак машинно-тракторной станции Дмитрий Покорнов. В его большущей походной сумке, прикрепленной на багажнике велосипеда, кроме набора инструментов, были и реставрированные детали, и запасные свечи зажигания, и лампочки, и, как это кое-кому ни казалось странным, книги, газеты, бланки «боевых листков», «молний».

Миша, успевший невесть когда загореть, после школы пропадал на своем поле. На хромавшем Колумбе он возил трактористам воду и керосин. Иногда привозил какую-нибудь деталь для вставшей в борозде машины.

И, как ни туго было со временем, находил час-другой для учебников, для книжек.

Возвращаясь домой, он неизменно ставил в банку букет пахучих цветов на радость младшей Лиде. Старшие Валентина и Тамара почти не ходили в степь. Им хватало дел по дому. Да и надо было готовиться к экзаменам. На их замечание, что ему не мешало бы подольше сидеть за учебниками, брат успокоительно отвечал, что готов хоть сейчас тянуть любой билет. Мать, тяжело передвигаясь по избе, делала самое необходимое. Дочери освободили ее от печки, от полов, от стирки: она ждала ребенка. Глядя ночью или рано утром на ее утомленное лицо, в ее большие глаза, наполненные ожиданием и боязнью,— все ли будет благополучно,—

Зиновий Афиногенович ласково гладил жену по черным волосам и ободряюще шептал:

— Все будет славно, Аннушка. Родишь еще одного наследника.

— Ах, отец,— сокрушалась мать.— Что ждет-то его? Кругом такое лихо...

— Временно, Аннушка. Вот погоди...

А в другой раз, когда мать корила себя за то, что на старости лет согласилась рожать еще одного, отец деланно возмутился:

— Какая же ты старая.

— Будто не знаю,— печально улыбалась Анна Максимовна.— Тина читала книжку Бальзака, там все прописано.

— Ну, мать, ты насмешила меня,— подправил кончики усов Романов.— Тот Бальзак был большой шутник. Он шутил, когда говорил, что бабий век — сорок лет. А мы же не по нему, а по-нашему, по-русски года считаем. В России как говорят: двадцать лет — баба цвет, сорок лет — ягодка, а ты в старухи записалась. Так что рожай, и точка.

— И что-то его ждет?— куда-то далеко глядела мать.

— Да ничего особенного,— успокаивал он жену.— Вот погоди. Наберемся силенок да как дадим фрицу по зубам...

И Романовы, как все советские люди, ждали. В работе, в заботах летело время. А вместе с ним в степь летел из Каракумов непроходящий зной. Пора экзаменов пришла так незаметно, что Миша в первый же день по привычке чуть не убежал с утра на конюшню. Но, глянув на стопку учебников и тетрадок, уложенных с вечера им и сестрами, вспомнил, что у него в жизни сегодня произошло важное событие. Ведь он впервые будет сдавать переводной экзамен.

В школу Романовы пришли, когда возле дверей уже толпились ученики. Они нетерпеливо заглядывали в замочные скважины, в щели. Миша растолкал стоящих у дверей, заглянул в класс и спросил:

— Наталья Леонтьевна, здравствуйте, когда вы нас вызывать начнете?

— Через полчаса. А что?

— Да председатель просил отвезти жито на мельницу.

— Сдашь экзамен и поедешь.

— Там тогда очередь большая будет.

— Миша, закрой дверь. Ты отвлекаешь меня,— подошла к двери Власова.

Романов обратил внимание, что сегодня учительница выглядела не так, как всегда. И одета она была по-праздничному: в строгую белую кофту и черную чуть расклешенную юбку, на стройных ногах лаковые туфли-лодочки. Костюм делал Наталью Леонтьевну и выше, и строже, и красивее. В ней теперь не было ничего от той вихрастой, угловатой девчонки, которую он знал с осени сорокового года.

И он догадался, что все эти изменения в его учительнице произошли только вчера, а может быть, сегодня. Ведь это у нее тоже первый экзамен в жизни. И ему захотелось подбодрить свою любимую учительницу.

— Меня первого вызывайте,— сказал он, слегка упираясь.— Я не подведу, честное пионерское.

Власова по-доброму улыбнулась и согласно кивнула Романову.

— Отлично, мамочка!— крикнул Миша, пугая сонливо копошащихся во дворе кур.— Где мои старые штаны? Давай скорее, побегу к Сергею Ивановичу,— громко тараторил он, словно заведенный.

— А как Тина, Тома?— спросила счастливая Анна Максимовна.

— Тоже хорошо. Они подружек дожидаются. А нам некогда. Мы с Мишкой Поповым на мельницу едем.

Сергей Иванович уже запряг быков и, терпеливо посасывая старую трубку, ждал по-

мощников. Услышав песню, конюх взобрался на арбу и тронул кнутом Цезаря. Вол нехотя переставил ноги, арба мягко покатилась по дороге. До самого города она была почти пустынной. Редкие телеграфные столбы бросали в кюветы тонкую тень. Серая пыль, поднимаясь из-под колес, мутной пеленой стелилась по колее. Раскинув руки, друзья вольготно растянулись на мешках. Миша, глядя сощуренными глазами на раскаленное солнце, запел:

Ну-ка, солнце, ярче брызни,
Золотыми лучами обжигай...

— Куда уж ярче,— добродушно ворчал старый конюх.— Всю плешь спалило. А вы на себя поглядите, что твои чугунки или эфиопы.

— Это что за посуда такая?— приподнялся Попов.

— Сам ты посуда,— чмокнул губами Сергей Иванович, очень удовлетворенный тем, что может преподнести мальцам урок географии. Не все же ему учиться у них наукам. Пришел черед послушать его. Он еще раз чмокнул губами и разъяснил так, как понял из недавней лекции о военных действиях в Африке.— Эфиопы— это народ такой. Живет он в самой жаркой африканской стране, которая по-нашему называется Абиссиния. И оттого, что лето у них двенадцать месяцев в году, кожа у них чернее дегтя... Но не про то речь... Напали на этих эфиопов итальянцы. Думали, как немцы Россию, за лето проглотить, ан подавились...

Слушая конюха, они не заметили, как подъехали к мельнице. Сравнительно быстро обменяли рожь на муку и двинулись в обратный путь, уговорив Сергея Ивановича сделать привал на песчаном берегу Аксая, чтобы хоть один раз бултыхнуться в голубую прохладу.

Возле переезда столкнулись с Витькой Мо-

розовым. За зиму и весну Морозов вытянулся еще больше. Округлость с его лица сошла, но зато в плечах он стал шире. Витька легко катил двухколесную тележку с мешком зерна. Увидев ребят, оставил тележку и подбежал к ним.

— Во сила!— захлебывался от счастья Морозов.— Иду и думаю: хорошо бы Романова увидать. А тут ты! Вот и верь, что чудес не бывает.— Он стащил Мишу с повозки и крепко обнял его.— А я деньги все держу.

— Какие?

— За твоих голубей, будь они неладны.

— Ты же отдал пятерку,— попытался успокоить его Романов.

— Разве они пятерку стоят. За таких сизарей четвертную мало. Хотел по почте переслать. А то, думаю, уеду, так и буду маяться.

— Куда уедешь?

— Все, прощай, Котельники!— без сожаления поглядел Витька на окраинные дома города.— Едем на Урал с матушкой.

— Зачем на Урал?— старался допытаться Миша, перебив друга.

— Чудак человек, зачем?— Легкая грусть появилась на лице Морозова.— Батя письмо прислал. Ногу ему на фронте... того,— Витька чиркнул выше колена.— Он там устроился. Зовет к себе. Да,— сунул он руку в карман и извлек оттуда пачку смятых денег.— Бери половину. И будем считать, что мы с тобой квиты. Бери, говорю, а то в ухо дам.

— Получишь сдачи,— отодвинулся от него на всякий случай Миша.

— Ну вы, кочета!— прикрикнул на них сверху Сергей Иванович.

— А чего он не берет,— взъерошился Витька, цепко ухватив Мишу за плечо.— Мне за этих голубей отец все уши продолдонил.

— Бери, Михайла, не забижай человека,— приказал Конев.— Видишь, до трясучки парня довел.

Витька, торопливо сунув за пазуху Мишке пачку теплых влажных бумажек, облегченно вздохнул.

— Ну, прощайтесь, хлопцы,— напомнил им конюх.— Путь у нас не ближний...

«Почему в жизни все как-то странно устроено,— думал Миша, взобравшись на мешки и долгим взглядом провожая уходящего к мельнице Морозова.— Все идет хорошо-хорошо, а потом враз плохо. Лика появилась и исчезла. Люда Крылова побыла немножко, устроила елку и тоже исчезла, а теперь вот Морозов. Едет на Урал и уж, конечно, не вернется оттуда. Или на фронте. Наши наступали, а сегодня на мельнице говорили, что фриц к Дону прет. Это что же, опять эвакуация начнется. А как же школа? Переводной табель хотя бы получить, а то третий год придется в четвертый класс ходить. Вот смеху будет. Войдешь в класс, а мальки начнут дразнить: дядя, достань воробушка. Ну нет, не бывать этому. Завтра же попрошу Наталью Леонтьевну, чтоб приняла у меня все экзамены в один день и документ выдала. А то и в военкомат заявишься, враз спросят, сколько классов. Что ответишь? Три класса и четвертый коридор. Похвалят за находчивость и повернут на 180 градусов...»

Прохладные струи степной речки освежили ребят. Пока быки всласть сосали воду, Миша успел побывать на другом берегу и вернуться.

— Теперь совсем другое дело,— говорил Романов, блаженно разлегшись на мешках. И тут же тревожная мысль обеспокоила его: неужели наступит день, когда не они, а немцы будут вот так же нырять в его родном Аксае? И почему Сергей Иванович точно одеревенел, молчит? Неужели те разговоры на мельнице так повлияли на старого кавалериста? По радио и в газетах сообщают, что идут бои местного значения, а один казак в шароварах с красными лампасами уверял,

что немецкие танки видели недалеко от Цимлянской.

Там, на мельнице, Миша не придал значения рассказу казака, а теперь подумал: если это не вражеский лазутчик и не сеет панику, то Цимлянская всего в полутораста километрах от хутора. Почему же в Майоровском нет той тревоги, которую пережили осенью прошлого года? Может, снова надеются на то, что врага отбросят?

А что думает обо всем этом Сергей Иванович? Хоть не любит он, чтобы кто-то перебивал вопросами его раздумья, но у Миши не хватало терпения держать в себе все вопросы, подступающие к горлу, как тяжелый тугой комок.

— Сергей Иваныч,— придвинулся к конюху пионер,— что вы все молчите и молчите?

— Я ж не радио, чтоб двадцать четыре часа говорить,— недовольным голосом ответил конюх. И по тону, и по тому, что Сергей Иванович еще старательнее зачмокал губами, раскуривая куцую прожженную трубку, Миша понял, что старик не меньше, а может, больше его переживает услышанное на мельнице.

— А если тот дед лазутчик?— настороженно поглядел на конюха Миша.

— Сам ты лазутчик,— беззлобно отмахнулся Сергей Иванович.— Ты знаешь, кто это был? Тит Васильич Паршиков. Боевой командир Первой конной. Вы глядите, пострелята, в хуторе не брякните. Я лично все проверю, скажу, кому потребно. Потом вас извещу.

На том и закончился разговор в телеге. Петь не хотелось. Настроение было тревожное. Миша посмотрел на небо. Облака, приплывшие с юга, закрыли солнце. Теперь его лучи прямыми длинными стрелами пробивались на землю. Романову показалось, что это не лучи, а огромные теплые руки посылает небо на землю, желая обхватить ее и защи-

тить от свалившейся беды, а может, поднять и унести туда, к далеким-далеким звездам, где нет ни пожарищ, ни эвакуаций.

Дома он спросил у отца про слухи, Зиновий Афиногенович испытующе посмотрел на сына. Он, может быть, впервые за все время увидел сейчас недетскую тревогу в его глазах, понял, как повзрослел сын за год войны. С ним надо теперь разговаривать как с равным. Хотя и прежде Зиновий Афиногенович не сюсюкал с сыном, но в голосе его часто можно было услышать покровительственные ноты человека старшего, более опытного, житейски умудренного.

Даже когда он обещал Мише взять его с собой, если над их краем разразится военная гроза и боевая труба протрубит тревогу, он в глубине души надеялся на лучший исход, на то, что ему не придется отрывать сына от школы, от дома. А выходит, лихо, если не у самых ворот, то на околице маячит...

— Слухи, я так полагаю,— начал неторопливо отец,— преувеличены. Но что наше наступление остановилось, факт. Не хватило у нас сил. Но и у немцев нет уже того преимущества. Их за зиму так трепанули, что навряд ли они сумеют так же наступать, как прошлым летом.

Зиновий Афиногенович скрутил цигарку и сказал:

— Пойдем на крыльцо, покурим.

Отец постоял возле дома, посмотрел на небо, усеянное звездами, на горизонт, где издалека полыхали зарницы, напоминающие сполохи батарей. Потом прикурил и вполголоса объявил сыну:

— Матери про слышанное на мельнице пока ничего не говори. Завтра съезжу в райком, разузнаю, тогда подумаем вместе. А пока сдавай экзамены да готовься хлеб убирать. Урожай-то, видал, какой. Богатырский, можно сказать. Эх, если бы не война, зажили б мы, сынок, лучше некуда.

ФРОНТ НА ДОНУ

Вот и растаяла над хутором, над степью воробьиная ночь. Словно казацкая сабля, блестящий и узкий месяц еще не дошел до середины высокого небосвода, а на востоке уже забрезжил рассвет. Сначала он перекрасил синеву в салатный цвет, а затем бросил в нее несколько капель малинового сиропа... Еще полчаса — и над степью заполыхал кумачовый цвет. День обещал быть снова жарким. На траве, на колосьях ни росинки! Не успевает ночная прохлада опуститься на землю, мешает ей горячий ветер, дующий из далекой пустыни.

Трудно работать. Но это не пугает ни председателя колхоза, ни парторга, ни женщин-механизаторов — никого, кто с ночи остался на полевом стане, чтобы с утра запустить комбайны в высокий упругий светлоголовый ячмень.

В «Красном партизане» началась жатва. А мимо полей по пыльному шляху, как и в прошлом году, шли группами беженцы из-за Дона, катились повозки, тачки, коляски. Изредка проскакивали санитарные автобусы.

Вчера вечером отец с группой комсомольцев, вооружившись малокалиберной и дробовиком амбарного сторожа, остановил три трактора и комбайн, направляющиеся к Волге. Сегодня их пустили на ниву.

Миша на своем Цезаре возил воду, а потом оставил бочку на дороге: пусть пьют эвакуированные — и пересел на бричку, щели в которой были тщательно законопачены сухой полынью. Теперь он возил зерно на ток.

В эти дни в семье Романовых появился второй сын. Его, маленького, сморщенного, синеватого, привез отец вместе с Анной Максимовной из городской больницы. Он бережно поднял сына над головой и, широко, счастливо улыбаясь, басил:

— Назовем мы тебя в честь нашего дорогого Ильича Владимиром. Пусть враги знают, что память о нем будет жить у нас вечно.

Наказав Тамаре и четырехлетней Лиде находиться при матери неотлучно, поспешил в поле. Встретив сына возле веялки, Зиновий Афиногенович сообщил:

— Брат у тебя, Миша. Спокойный, как и ты. Понимает, что время у нас трудное, не плачет.

Парторга поздравляли, требовали с него магарыч, а он отшучивался и обещал после победы устроить крестины в клубе, куда позовет всех желающих.

Миша не вытерпел. Передал повозку Ване Миронову и что было духу пустился домой. За неделю он соскучился по добрым лучистым глазам матери, и ему страшно хотелось увидеть своего нового брата, которого он теперь будет любить больше всего на свете и никому никогда не позволит обижать. Ныряя под развесистыми кустами сирени и прыгая через грядки огорода, он ворвался в прохладную комнату с занавешенными окнами.

Мать сидела на табуретке возле мерно покачивающейся зыбки. Она протянула навстречу сыну руки и крепко обняла его, прижала к груди. Слезы катились по ее щекам и падали на плечи Миши.

— Ну что ты, мамочка,— старался вырваться из ее объятий сын.— Все хорошо.

— Чего же хорошего,— захлебывалась слезами мать.— Вчера немец опять бомбил город, ужас что было. Думала, сердце разорвется от страха... Ох, лихо нам, Мишенька...

— Да не бойся, мама,— гладил ее руку Миша.— Не пройдут немцы. Осенью тоже хотели, да не вышло...

— Ах, сыночек, это я и от отца слышу, а фашист на Дону стоит...

Разбуженный ее громким говором, в люльке заворочался новорожденный. Мать наклонилась над ним, ласково приговаривая:

— Спи, спи, мой ненаглядный...

— Красивый, как ты,— сказал Миша, взглянув на брата.

Мать слабо улыбнулась и ничего не ответила. Горькие думы не давали ей покоя. Что она будет делать с этой оравой, если Зиновий уйдет в армию или вступит в партизанский отряд?

Немец, конечно, напирает, но не так, как прошлым летом. За два месяца всего на сто-двести километров продвинулся. И не по всему фронту от Балтийского до Черного моря, а лишь на отдельных участках. Видать и правда, на весь фронт у него духу не хватает.

— Ну, я побегу, мама,— перебил ее горькие думы сын.— Хлеб мы уберем и отправим государству. Фрицам ничего не оставим.

— Беги, сынок,— сказала мать, и снова ее ресницы часто-часто заморгали.

А еще через неделю в хутор приехал инструктор райкома Осоавиахима Василий Баннов и, разыскав на току Наталью Леонтьевну, пригласил ее и Феню к подводе. Миша давно не видел сына школьной уборщицы тети Дуси и теперь не узнал его. Василий вырос, раздался в плечах так, что его сиреневая выгоревшая футболка с красным воротником плотно облегала мускулистое тело. Хотя Василию исполнилось семнадцать, выглядел он гораздо старше: над верхней губой у него пробивались усы.

Миша угадал его только по веселым глазам да выбитому переднему зубу, который он обещал вставить, но так и не вставил.

В повозке сидели две молодые женщины и рыжий, прямо огненный, парень. Одну Миша знал. Это была учительница из хутора Красноярского Клавдия Сердобинцева, Наткина подружка. Они вместе учились в педучилище, а потом несколько раз Клава приезжала в Майоровский. Вторую Романов запомнил по выступлению в клубе. Она приез-

жала в «Красный партизан» в прошлом году перед уборкой с комиссией по взаимопроверке. Выступала резко, до обидного жестко. Говорила, что краснопартизанцы не учитывают, что хлеб высокий, кое-где ветер повалил колосья, и нужно что-то срочно придумывать, чтобы не потерять урожай, чтобы собрать все, до зернышка, тем более, что началась война и на западные области надеяться не приходится. Но, странное дело, Зиновий Афиногенович не только не обиделся на приезжую из соседнего колхоза трактористку, но в своем выступлении благодарил девушку, отчего ее густые, как у Мишиной матери, черные брови вразлет поднялись к самой прическе. В тот вечер она, большая, сильная, красивая, обращаясь к женщинам колхоза «Красный партизан», пообещала убрать своим «Коммунаром» хлеба с площади не меньше пятисот гектаров. Все, кто был в клубе, ахнули. Такого они не слышали даже от мужчин. А красивая девушка Неонилла, как назвал ее Зиновий Афиногенович, просила кого-то из краснопартизанцев поддержать ее почин, посоревноваться с ней.

А теперь она сидела, внимательно приглядываясь ко всему, что ее окружало. В отличие от нее рыжий парень не бегал глазами по сторонам. Он изучал Власову. Очевидно, до сих пор не видел ее нигде. Приглядевшись к парню, Миша вспомнил, что он видел его в тракторной бригаде. Ну, конечно, это тот самый Покорнов, из МТС...

Как только Баннов отвел в сторону Наталью Леонтьевну и Феню, Миша сразу почувствовал что-то недоброе. Он с завистью глядел на тихо говоривших комсомольцев. Девушки, очевидно, ждали давно сигнала из города, потому что на их лицах он не увидел ни растерянности, ни горечи. Они, слушая Баннова, понимающе кивали и что-то отвечали. Потом Наталья Леонтьевна побежала в полевой вагончик к Зиновию Афиногенови-

чу и, появившись на ступеньках через несколько минут, удовлетворенно сказала:

— Он в курсе. Поехали.

Она подбежала к Мише и Ване и, обхватив их потные шеи, приказала:

— Ну, пионерия, не подкачай.

— А вы?— спросил Ваня.

Учительница посмотрела на Мишу. Нет, он ни о чем не будет ее спрашивать, он понимает, если Натка не говорит сама, значит, нельзя. Он молчит, но глаза, эти черные, с непослушными искорками большие глаза... Разве может он запретить им вопрошающе глядеть в глаза учительницы? И она поняла и оценила этот подвиг мальчика. Он стал совсем взрослым. Ему можно довериться, ему можно все сказать. И она сказала:

— Я в райком комсомола.— Она протянула Мише горячую натруженную руку. Потом подошла к повозке, сказала:— Поехали.

— Все?— спросил рыжий парень.

— Из Майоровского все. Ваших по дороге подберем, Дмитрий Ильич,— подтвердил Баннов и важно чмокнул большими губами, усаживаясь на край повозки.

— Миша, если будет необходимость, я тебя позову!— пообещала Власова, держа руку над головой.

А она, необходимость, приближалась. Уже до хутора доносились раскаты орудийных залпов, уже там, за Огневым курганом, где протянулись траншеи, рвы, где сурово смотрят в сторону Дона черные глазницы железобетонных дотов, поднимались к небу огненные всплески разрывов. Все чаще на улицах хутора появлялись военные грузовики, груженные тяжелыми ящиками. Уже несколько раз самолеты с черной свастикой на бреющем полете ястребами проносились над полями. Трассирующие пули крупнокалиберных пулеметов пунктирами полосовали небо во всех направлениях. Тяжелые бомбардировщики с противным рыканьем надменно про-

летали к городу и, сбросив груз, так же вальяжно возвращались обратно.

А вчера в правление вошли военные и, по-хозяйски расположившись в председательском кабинете, сказали:

— Прекращайте все работы на полях. Пока есть возможность, уводите скот и технику.

Председатель тут же позвонил в райком партии и рассказал о положении вещей. Оттуда последовала команда: немедленно эвакуируйтесь. Все, что можно, вывозите, что невозможно — уничтожьте. Позвали к телефону Романова.

Говорил первый секретарь:

— Зиновий, под твою личную ответственность скот и технику.

— Но мы же договаривались...— попытался было возразить парторг, но его тут же перебил властный голос секретаря:

— Сегодня в ночь организуйте эвакуацию. Держитесь на Выпасной. Передашь скотину и технику, возвращайся, заходи. Ну, ни пуха...

Прощание было коротким и тяжелым. Мать, держа на руках новорожденного, с глазами, полными слез, напоминала:

— Не забудь положить галифе и китель... В сундуке лежит твоя красноармейская книжка... Документы все взял?... Тома, подай отцу хлеб... Валя, принеси из погреба сало...

Миша молча, ни о чем не спрашивая, как давно решенное делал свое дело — собирал в ученическую сумку немудрящий скарб... Отец, заметив его приготовления, тяжело вздохнул и спросил жену:

— Как с Мишуткой будем?

Миша оторвался от дела, непонимающе поглядел на родителей. Какой может быть вопрос? Разве не отец говорил осенью, что возьмет его с собой? Правда, речь шла о партизанском отряде. Но отец обещает вернуться. Во что бы то ни стало вернуться. Сейчас партия приказывает ему эвакуиро-

вать технику и скот. Он выполнит приказ и возвратится.

— Так как с Мишуткой будем? — снова задал вопрос отец.

— Прямо не знаю,— сокрушенно прошептала Анна Максимовна.— И отрывать от себя жалко и оставлять боязно...

— Я с тобой, папа,— тоном, не допускающим возражения, заявил Миша. И как самый убедительный аргумент произнес: — Ты же слово давал.

Отец остановился посреди комнаты. Сверху поглядел на сына, который за лето подрос: его черный вихор дотянулся до плеча Зиновия Афиногеновича. Но не это поразило старого коммуниста, а то, каким тоном говорил с ним тринадцатилетний подросток. В нем не было ничего детского. Так говорят между собой равные, доверяющие друг другу люди.

И он понял, что нельзя подрывать в юном сердце эту веру, эту дружбу. Зиновий Афиногенович разрубил ладонью воздух:

— Собирайся.

Тронулись к полуночи. Уходящих провожали те, кто еще оставался в хуторе. Женщины совали в руки отъезжающим теплые пышки, яйца, куски сала. Слышались прощальные всхлипывания, поцелуи, напутствия, пожелания.

Отец верхом объезжал гурты и, проверив готовность, отправлял их поочередно. Скот с тревожным ревом двигался в степь, на целину. Без фар, на ощупь, двигались комбайны, тракторы...

К Романову подошел Конев.

— Прости, Зиновий, что не могу итить с тобой. Хвороба меня скрутила... Да и тут за порядком след кому-то глядеть.

— Как и уговорились,— напомнил Романов,— блюди колхозное пуще своего. Прощай, Сергей!— Он протянул конюху руку. Потом наклонился, и они поцеловались.

Последними из хутора выезжали Романовы. Поднявшись из лощины на гребень, Зиновий Афиногенович оглянулся. Хутор точно вымер. Там не было видно ни огонька. Лишь высокие и прямые, как столбы, тополя чутко прислушивались ко всему, что нарушало степной покой. Не верилось, что, перейдя еще одну лощину, он уже будет только вспоминать родной хутор, жену, детей, друзей... Невыносимо захотелось стегануть каурую, вернуться обратно и еще раз взглянуть в лицо милой жены... Но лошадь, цокая копытами по каменистой целине, уносила его все дальше от Майоровского. Миша тоже повернулся в сторону хутора и приподнял над головой феску, молча прощаясь с землей своих предков. Впереди раздался окрик чабана, и Зиновий Афиногенович бросил сыну:

— Езжай, помоги.

А сам, вдавив каблуки сапог в бока лошади, легкой рысью поехал вдоль бредущего стада, туда, где в темноте сердито ворчали моторы тракторов...

Неделя пути по безводной, выжженной солнцем степи показалась людям вечностью. В колодцах вычерпывали всю воду до коричневой пахнущей прелью жижи, в мелководных прудах вода была такой теплой и мутной, что ее не только пить — видеть не хотелось. Но, преодолев отвращение, люди припадали черными потрескавшимися губами к влаге. Шли почти без остановок. От бескормицы и безводья падали в черную полынь обессилевшие животные. Кое-кто из гуртоправов просил, умолял, требовал от Романова длительной остановки, передышки, но Зиновий Афиногенович был непреклонен.

— Вперед. Только вперед. В этом наше спасение,— говорил он жестко и властно, и люди не узнавали своего парторга, обычно сердечного, покладистого. Прокаленный солнцем и продубленный горячим ветром, он, серый, с опущенными усами, обливающийся

потом, торопил коня от одного гурта к другому.

Лишь где-то после полуночи, если удавалось наткнуться на колодец или озерцо, затянутое кугой и камышом, он разрешал делать привал, сварить пшенную похлебку, вздремнуть час-другой.

Миша, прежде чем подойти к общему котлу, снимал с Зорьки тяжелое седло и пускал ее в степь. Случалось так, что он не дожидался похлебки и падал на теплую жесткую землю, положив под голову феску или ладонь. Но никто ни разу не слышал от него жалобы на трудность, на неустроенность походного быта. Сначала он не понимал, почему отец не дает людям и скоту передышки, а в приказном порядке гонит и гонит стадо и отару вперед. Но, встречая на пути сухие колодцы и пересохшие степные ерики, понял: отец боится загубить в этом безводье вверенный ему скот. И только безостановочное движение вперед может спасти его бо́льшую часть от гибели. Это было жестоко, но верно.

Когда они на седьмые сутки дошли до песчаных дюн, покрытых редкими кустами верблюжьей колючки и ковыля, все заметно приуныли, а отец поднялся на стременах и впервые за все время пути широко улыбнулся. Он высоко вскинул вверх руку, призывая спутников остановиться.

— Мы дошли!— раздался в звенящей тишине его громовой голос.— Слышите, мы дошли до Волги!

Люди взбирались на повозки, поднимались в седлах, становились на цыпочки, тараща глаза, глядели на морянную зыбь песков и, не понимая причины радости вожака, хмуро ждали его объяснений.

— Через час будет Волга!— все так же радостно рокотал голос Романова, вселяя в колхозников надежду. Теперь они верили ему: эти места он знал лучше любого из них еще с времен гражданской войны.

И, действительно, скоро пересекли дорогу Сталинград — Астрахань и увидели широкий простор реки...

Через Волгу переправились на небольшом пароме в несколько рейсов. Лошади, коровы, овцы словно почувствовали, что им еще столько же идти по сухой заволжской степи, и, уткнув морды в свежую, светлую воду реки, войдя в нее по брюхо, казалось, не дыша, пили бесконечно.

И, переправившись на другой берег, они снова устремлялись к воде, и никакие окрики, хворостины, кнуты не могли их оторвать от спасительной влаги.

Уже в Харабалях, где Романов передал скот и технику местному колхозу, встретились они с земляками. Среди них были Пимен Андреевич Ломакин, Василий Баннов, Тит Васильевич Паршиков... Они рассказали, что позавчера возле кирпичного завода с утра дотемна шел жестокий бой. Это был последний очаг сопротивления в городе. К ночи все стихло, и на пылающие пристанционные улицы ворвались первые танки врага.

— Значит, хутор взяли?!—то ли спрашивал, то ли утверждал свою догадку Зиновий Афиногенович.

— Брехáть не стану,— уперся глазами в глаза Зиновия Пимен Андреевич.— Но про твоих худого ничего не слыхал.

— И про учительницу нашу, Наталью Леонтьевну, ничего не слышали? — с затаенной тревогой задал вопрос Миша.

— Остались они там для подпольной работы,— ответил за Ломакина Баннов.

— Ты же их увез в Котельники.

— Увез, привез,— развел руки Василий.

— Их привез, а сам сюда,— сердито сощурил темные глаза Романов-младший.— Значит, девчонки там, в тылу у немцев, а ты здесь?

— Дядь Зиновей,— в сердцах крикнул Баннов.— Заберите его, ради бога, а то я

ему в ухо дам. Тут и без его дурацких вопросов муторно...

— Ты, Миша, не горячись,— попросил Ломакин.— Васятка выполняет свое задание, как я, ты, твой батя...

— Я свое выполнил,— с укоризной в чей-то адрес сказал Романов.— Теперь имею право возвращаться...

— Остынь, Финогеныч,— Ломакин неодобрительно глянул на Романова.— Пойдем лучше свежей водицы попьем.

Они пошли к колодцу, и было слышно, как Пимен Андреевич уговаривал своего старого друга.

Пока взрослые говорили о своих делах, Миша огорченно думал о том, что, знай он, как будут развиваться события, непременно остался бы в хуторе. Там теперь Власова, Нарбекова, наверное, Ванюшка и другие пацаны вовсю вредят немцам. Делают все скрытно, ловко. Миша пытался представить, как конкретно вредят врагу его друзья, но ничего путного придумать не мог. Он понимал, что склад с горючим или боеприпасами они вряд ли взорвут, танк или автомашины поджечь незаметно тоже вряд ли удастся. Да и зачем немцам держать в хуторе танки, автомобили? Миша терялся в догадках, чем подпольщики могут помочь Красной Армии?

НАЧАЛО ПОЕДИНКА

Никто из добравшихся до Харабалей не мог сказать точно, как сложилась дальнейшая судьба Натальи Власовой, Фени Нарбековой и Неониллы Алпатовой, которых Василий Баннов за два дня до эвакуации отвез в Котельниково.

— Ну, девчата, давайте поближе познакомимся,— сказал Покорнов, когда подвода выехала за хутор.— Связала нас судьба одной веревочкой и, видать, надолго.

Парень рассказал о себе. Он помощник начальника политотдела по комсомолу местной машинно-тракторной станции. В армию, к его великому сожалению, путь ему закрыт, потому что и в очках он уже со второй парты плохо видел написанное на классной доске. Но Дмитрий оказался человеком настырным. Добился-таки своего: райком партии утвердил его секретарем подпольного райкома комсомола. Утвердить-то утвердили, но мало кто верил еще неделю назад, что придется ему так скоро вступать в должность.

Дмитрий говорил с девушками откровенно, понимая, что только так должен поступать — верить своим единомышленникам до конца. Чтобы не было между ними никаких недомолвок. Лучше других он знал Алпатову, трактористку из Нагавской, немного похуже Феню с Клавой, а вот с новой учительницей Власовой не был знаком. И хотя за нее головой ручалась Нарбекова, Дмитрий попросил Наташу рассказать о себе.

Наталья Леонтьевна, теребя косынку, задумалась на минуту. Ей почему-то вспомнился осенний день тридцать восьмого года, когда она с группой подружек пришла в райком комсомола, чтобы получить членский билет. Тогда она вот так же волновалась. Почему? Не знает. А вдруг не примут, откажут. Ведь ничего такого особенного она в жизни не совершила. А заявление, которое она подала в организацию, казалось ей тогда невыразительным, малоубедительным. «Прошу принять меня в ряды Ленинского комсомола, так как я хочу быть в передовых рядах борцов за коммунизм. Обязуюсь честно и неуклонно выполнять Устав ВЛКСМ». А уж про биографию и говорить нечего. На полстраничке уместилась вся ее жизнь. Родилась в голодном для Поволжья двадцать втором году. Пошла в школу. Окончила семь классов. Поступила в педучилище.

Не было в тех строчках рассказа о том,

что Наташа не помнит своих родителей. Воспитывалась в Дубовском детдоме. Было ей там хорошо, но всегда с обостренным чувством зависти она глядела в школе на тех товарищей, у которых были отцы и матери. По-детски непосредственно радовалась, когда ее приглашали в чью-нибудь семью на праздник или на день рождения. Очень не любила тех пап и мам, которые, зная о ее сиротстве, показно жалели девочку, подсовывали ей лишнюю конфету или больший кусочек торта. В такие дома второй раз не ходила. А где с ней вели себя на равных, Наташе было так хорошо, что не хотелось уходить, и она с удовольствием принимала приглашения на следующий раз.

Потом Власова рассказала, как в прошлом году приехала на преддипломную практику в железнодорожную школу, как полюбила котельниковских мальчишек и девчонок, особенно Мишу Романова и его семью, и как при распределении попросилась снова в этот степной район...

Что успела сделать за короткое время самостоятельной жизни? Да, наверное, ничего выдающегося.

— Ну-ну,— перебила ее Феня,— ты не скромничай. Я уже вам говорила, Дмитрий Ильич, что Наташа организовала военные кружки в школе, зимой наладила сбор теплых вещей, а потом научила всех девочек и ребят вязать варежки и носки.

— Ты еще скажи, что научила их носы утирать платком, а не рукавом,— досадливо сказала Власова, чувствуя, что Феня уж чересчур старается расхвалить свою подругу.— Экая невидаль — кружки, варежки...

— А санитарное дело как поставила,— не унималась Нарбекова.— Теперь в Майоровском любая девчонка может оказать первую медпомощь, а это ведь очень важно, особенно сейчас. Правда, Дмитрий Ильич?

— Конечно. И зря ты, Наташа, скромни-

чаешь,— как-то сразу и незаметно он перешел на «ты» со своей новой знакомой.

— Не зря,— упорствовала Власова.— На моем месте любая учительница-комсомолка поступила бы точно так.

— Не спорю, не спорю,— отшутился Дмитрий.— И тем не менее я доволен, что вы у меня такие обыкновенно-необыкновенные. А то, что ты увлекаешься медициной, так это чертовски здорово. Нам это дело, знаете, как пригодится. Может, раненых придется прятать... Рассказывают — была в наших краях в гражданскую войну бесстрашный фельдшер у Буденного. Она не только перевязки делала, за любую операцию бралась. Сотни конников в строй вернула. Ей боевой орден дали...

Молчавшая до сих пор Неонилла недовольно посмотрела на Покорнова, с минуту о чем-то подумала, а потом грустно проговорила:

— Что ж, мы для того только в подполье остаемся, чтобы за ранеными ходить? Тогда лучше враз в госпиталь оформиться...

— Чудачка ты, Нила,— добродушно улыбнулся Покорнов.— Тебе автомат давай, динамит. Будешь эшелоны под откосы пускать и немцев, та-та-та, в упор расстреливать.

Девчата засмеялись. А Неонилла с укоризной поглядела на своего нового вожака, как бы говоря: несерьезный ты человек, товарищ секретарь.

А Дмитрий, как будто не заметил легкой обиды молодой чернобровой красавицы с крепкими сильными руками механизатора, которые, как он правильно понял, тоскуют по какой-то солидной работе, хотя бы по тому же динамиту или по противотанковым минам. Продолжая развивать свою мысль, он сказал:

— Может так случиться, Нила, что просидит кто-то из нас в подполье, как мышка-норушка, и не пискнет, иначе не только себя, но и общее дело завалит...

— Ну, нет,— решительно выпрямилась Алпатова, словно готовясь остановить подводу, спрыгнуть на землю и дальше идти пешком, только бы без этой компании молодых граждан, с которыми она случайно, по недоразумению оказалась вместе. Неонилла не спрыгнула, но категорически отвергла предложение секретаря просидеть мышью всю войну и предупредила, что такое задание не для нее и она по приезду в город пойдет не на бюро подпольного райкома, а к Василь Василичу — партийному руководителю всего подполья — и попросит его дать ей персональное задание.

— Да погоди ты пылить,— спокойно, но твердо прервал ее Дмитрий.—Я пока тебе лично никакого конкретного задания не давал... Я же пока теоретизирую, пытаюсь предугадать возможные варианты нашей будущей работы и жизни...

— Все у тебя получаются варианты какие-то... Ну, мягко говоря, несерьезные, детские,— рубанула Неонилла и все-таки соскочила с подводы. Но свой соскок тут же объяснила:— Ноги затекли.

Это, конечно, была неправда. Девчата да и парни не поверили Алпатовой. Ведь она иной раз за рычагами трактора сидит по три-четыре часа. Но никто ничего ей не сказал. Хотя Наташа, Феня и Клава, не говоря уже о Баннове, в душе были на стороне Алпатовой, они не вступали в перепалку, понимая, что Неонилла — кандидат в члены партии и, в случае чего, может пойти в свой райком, где всегда найдет защиту, и никто никогда ее из подполья не отчислит, а они еще зеленая комса, и для них этот рыжий Покорнов — царь, бог и воинский начальник. Но это молчание не означало, что они все праздновали труса или держали критический кукиш в кармане. Если бы они были опытными бойцами, если бы они знали, как в действительности складывается судьба подпольщика

и она была бы противоположной той, которую пытался нарисовать секретарь подпольного райкома, девчата не побоялись бы высказать все Дмитрию в лицо. Но беда была в том, что ни одна из них нигде никогда не читала воспоминаний подпольщика... Наверное, еще не успели написать... Напишут потом, после войны. Где-то, кто-то обобщит этот колоссальный опыт... и кто-то когда-то на будущее учтет его, примет на вооружение... Но это будет много позже. А сейчас нужно сидеть и терпеливо слушать, о чем говорит товарищ секретарь с подпольной кличкой «Злой». Хотя он вовсе не похож на злюку. И фамилия у него самая смирная. Уж лучше назвали бы его Рыжим. Это точнее и звучит не так обидно. Но, наверное, те, кто давал ему эту кличку, лучше знают Дмитрия. И надо так понимать, что злость его имеет отношение не к сидящим в телеге, а к немецко-фашистским оккупантам и их прихлебателям.

Покорнов, несмотря на свою молодость, уже обладал определенным опытом работы с людьми, научился по каким-то неприметным деталям улавливать настроение человека. Вот и теперь он почувствовал, что подружки хоть и созерцают молча их дуэль, но все-таки мысленно на стороне Алпатовой, они тоже думают, что их работа в подполье должна сводиться не к отсиживанию, не к выжиданию и даже не к уходу за ранеными, которых они будут скрывать в условленном месте до поры до времени, а к тому, чтобы денно и нощно громить гитлеровских захватчиков, где бы они ни появились. С чувством досады Дмитрий начал терпеливо разъяснять девушкам, что самое главное в их будущей работе — железная дисциплина, выполнять лишь то, что будет приказано, что всякая партизанщина неминуемо приведет к ненужным жертвам, будет играть на руку врагу.

Говорил он жарко и довольно убедительно,

так, что в конце концов девушки согласились с ним. Однако, сказали они, ведь будут какие-то непредусмотренные обстоятельства, в которых нужно будет принять моментальное решение, без совета, без помощи. Как же вести себя в таком конкретном случае?

— Так, как подскажет вам сердце,— чуть с пафосом ответил Дмитрий.— Но трезво все взвесив и оценив.

Таким оборотом все остались довольны, и даже Неонилла, посветлев лицом, снова села возле Покорнова.

Когда они подъехали к райкому, там уже ожидали их все комсомольцы, которым предстояло в случае оккупации города и района вести борьбу в тылу врага. Заседание было недолгим. Каждый получил конкретное задание, явку, пароль, день и час выхода на связь. После клятвы спели «Интернационал». Прощаясь, Дмитрий еще раз просил всех действовать осторожно, наверняка, не лезть в авантюры. Не думали и не гадали в ту ночь комсомольцы, что для многих из них встреча эта и это прощание будут последними, что в канун Нового года, когда советские войска освободят Котельниково, на митинге среди героев борьбы будут названы и комсомольцы, отдавшие свои молодые жизни за свободу и независимость нашей Родины.

В тот же вечер представитель Центрального штаба партизанского движения на Сталинградском фронте генерал-майор Тимофей Петрович Кругляков слушал доклад начальника Астраханской партизанской школы Добросердова. Назначенный на эту должность весной, Алексей Михайлович многое успел сделать для того, чтобы школа смогла забрасывать в тыл противника хорошо подготовленных разведчиков-партизан.

— Теперь обстановка осложнилась до предела,— прервал доклад Добросердова генерал.— После Ростова, Краснодара и Став-

рополя немцы всей мощью обрушились на Сталинград и Северный Кавказ. Штаб фронта требует от нас создания большего числа партизанских отрядов, диверсионных групп с учетом скорейшей переброски их в оккупированные районы.

Уроженцы этих мест, генерал Кругляков и майор Добросердов понимали, с какими трудностями им предстоит встретиться. Ведь местом действия их отрядов будут степные просторы Дона и Волги. Ни лесных, ни горных массивов, лишь балки, буераки, овраги да пойменные займища, где могут скрыться единицы, но не соединения, даже не взводы. Так что ни о каких постоянных базах речи идти не может. Значит, необходимо создавать малочисленные летучие отряды, без техники, без артиллерии, даже без минометов.

— Но эта трудность не единственная,— соглашаясь с доводами генерала, заметил Добросердов.— Где брать людей? Смелых, отважных, надежных? Времени для их проверки совершенно нет. Пацаны засыпали военкоматы заявлениями. Требуют немедленно направить их на фронт.

До сих пор Добросердов удачно комплектовал группы. Теперь же он не представлял себе, где в такой короткий срок сможет набрать требуемое количество курсантов. Вот об этом он без утайки и говорил седовласому генералу, которого знал, хотя и понаслышке, еще с детства.

В его родных местах воевал с белогвардейцами Тимофей Петрович в далекие годы гражданской войны. И был он не только лихим рубакой, отважным бойцом, но талантливым командиром, большой души человеком. Верилось Алексею Михайловичу, что Кругляков не только выслушает внимательно Добросердова, но и поможет в решении задачи.

— Не ехать же мне за ними в Сибирь,—

скорбно улыбнулся Алексей Михайлович.— А здесь остались буквально старый да малый.

— Сибиряки народ надежный,— как будто не поддержал начальника школы генерал.— Но тут беда другого порядка: нужны местные, земляки нужны, чтоб им каждый закуток в степи знаком был, чтоб в каждом хуторе свои люди имелись.

— Вот и я о том же, товарищ генерал.

— В горкоме партии был?

— Был. Кого рекомендовали, почти всех взял.

— Ну теперь слушай,— поднялся Тимофей Петрович и жестом оставил на месте Добросердова.— Беседовал я вчера с секретарем обкома партии Алексеем Семеновичем Чуяновым. Пошел к нему сразу после встречи с командующим. Обрисовал положение, а он спрашивает, что требуется? Говорю: людей нужно. Смелых и верных. Дал слово подобрать в течение недели добровольцев из коммунистов и комсомольцев. Это первое. Второе. Курсы твои придется сократить с шести месяцев до трех...

Добросердов невольно приподнялся.

— Чему можно научить за три месяца детей и стариков?

— Это ты иди спроси у генерала Еременко,— посуровел Кругляков.— Я ему уже приводил такие доводы. Вот за этим я тебя и вызвал, в основном. Приедешь к себе, пересмотри всю программу. Сожми до минимума. Но,— генерал сделал паузу,— должны они выходить из твоей школы стопроцентными бойцами, и главное, чтоб из любого оружия по врагу били без промаха.

Добросердов понимающе кивнул, но осмелился перебить речь генерала:

— Патронов, сами знаете...

Кругляков провел широкой ладонью по высокому гладкому лбу, точно сбрасывая ненужную заботу:

— На это дело патронов не жалей. Достанем. Но чтоб чуял фашист, что имеет дело не с теми, кто винтовку в руках не держал, а с настоящими снайперами. Приеду, лично проверю.

— Выполню, товарищ генерал,— дал слово Добросердов, сам желавший подготовить из каждого курсанта если уж не снайпера, то по меньшей мере ворошиловского стрелка.

— Отбор будешь делать, как прежде, индивидуально. Только добровольцев, политически подкованных, преданных,— напутствовал генерал.— Не пренебрегай женщинами и подростками. Но, разумеется, о детях и стариках речь не идет. Я тебе рекомендую проехать по прифронтовым селам и хуторам. Подбирай там людей по своему усмотрению.

— Разрешите доложить, товарищ генерал?— встал Добросердов, но Кругляков снова усадил его на стул.

— Докладывай.

На добродушном овальном лице Алексея Михайловича появилась лукавая улыбка.

— Когда к вам ехал, так и поступил. Но, честно говоря, улов не богатый. Подпольные райкомы партии и комсомола своих людей не отдают. А те, кто формально не входит в подполье, стараются либо к воинской части прибиться, либо военкомов за горло берут, требуют отправить на передовую. На мой призыв записываться в школу с обидой отвечают: через полгода от фрицев мокрое место останется, с кем же нам воевать.

— Да,— грустно протянул генерал.— Удивительное дело, майор. Немец к Волге нас прижал, к Кавказу вышел, а народ верит в нашу победу. И причем в победу не за горами. Видишь, им и шесть месяцев кажется фантастически большим сроком. А ведь как тяжело... Я иной раз задумаюсь, и припомнится мне девятнадцатый год. В такую же жару катились мы под натиском деникинцев к Царицыну, Воронежу, Орлу, к Туле. Хуже,

чем сейчас, было. А все-таки мы выстояли. И отбросили их к чертовой матери в Крым... И потопили в Черном море.

Генерал задумчиво посмотрел в темноту ночи и сказал, как будто подвел черту:

— Правильно сказал товарищ Сталин: враг будет разбит, победа будет за нами!

Кругляков подошел к столу, несколько минут смотрел на телефон, точно ожидая звонка, а затем сказал:

— Вот тебе директива, и действуй сообразно...

В Майоровский Феня и Наташа возвратились к рассвету, когда последние красноармейцы отходили на новые позиции... Девушки надеялись увидеть на улицах хутора настоящее сражение, но оно было вчера, а сегодня на улицах хутора уже ходили враги.

Утром по приказу немецкого командования жителей согнали на площадь перед правлением колхоза и объявили, что отныне они обязаны выполнять все приказы старосты, который будет действовать от имени великой Германии. Старостой они предложили избрать Ивана Фокича Захарова, человека хорошо всем известного, в свое время репрессированного Советской властью. Захаров угрюмо глядя на хуторян и на новых хозяев, не выказал ни радости, ни смятения. Казалось, он не очень верит в серьезность своего назначения, а особенно в долговечность нового порядка, который так красочно расписывал переводчик. Немецкое командование объявило, что главная задача колхозников — убрать как можно скорее весь хлеб, засыпать его в амбары, а затем по нарядам в определенные дни отправить обозы в Котельниково, куда уже вошли передовые части непобедимой армии вермахта. И еще один приказ был зачитан тут же: все коммунисты, комсомольцы, сотрудники советского аппарата должны

в течение суток зарегистрироваться в комендатуре, а имеющие оружие — немедленно сдать его германскому командованию.

— Как поступим?— спросила Феня, когда они с Наташей вернулись домой.— Мне лично деваться некуда, меня тут каждый знает, не скроешься, а ты смотри...

— А чего смотреть,— не поняла ее тревоги Власова.— Вместе с тобой пойду и встану на учет.

Феня задумалась. Было о чем. Она не убежала по очень простой житейской причине: мать вторую неделю с постели не поднимается. Как получила похоронку об отце, так и свалилась. Не бросит же ее дочь в таком положении, хоть она и секретарь сельсовета. А у Натальи какие доводы?

— Обыкновенные,— успокоила её подруга.— Для меня где крыша, там и дом. Ты же знаешь, что я выросла в детском доме.

— И все-таки, может быть, тебе лучше скрыться.

— Смешная ты, Феня. Ваш хутор не Москва и даже не Сталинград. Куда я скроюсь? Нет уж, подружка, пойду с тобой.

На следующее утро, когда они пришли в правление колхоза, староста Захаров встретил Феню, как долгожданную гостью.

— Думал, ты сглупишь,— говорил он, радуясь за Нарбекову,— прятаться будешь. Это ты мудро поступила, что сама явилась. Садись в своей комнате и занимайся делом...

У Фени от неожиданности даже дар речи пропал. Он что, этот Захаров, окончательно поглупел от назначения? Каким своим делом она может заниматься, когда немцы в хуторе?

— Что вы такое говорите, Иван Фокич?— наконец спросила Нарбекова, думая, что староста все перепутал. Но, оказывается, Захаров уже доложил начальнику гарнизона о том, что из представителей Советской власти в хуторе осталась секретарь сельсовета

и попросил разрешения зачислить ее на должность писаря, если, конечно, она явится добровольно и изъявит желание сотрудничать с новой властью.

Захаров колюче взглянул на Феню, как на нерадивого ребенка, который вместо благодарности за отмененное заслуженное наказание еще пытался показать свой глупый характер.

— То, что слышала, то и говорю,— досадливо сказал староста.— Иди садись, будешь вести дела. Чтоб каждая бумажка была на месте. Немцы, они, знаешь, порядок во всем любят. Всех коммунистов, комсомольцев, которые остались, перепиши. Список отправим в комендатуру. Это тебе первое задание.

Нарбекова приняла этот приказ как приглашение к предательству. Она хотела решительно отказаться от такого сотрудничества, но Власова вовремя дернула подругу за кофту, и та, поразмыслив немного, спросила Захарова, как она должна провести регистрацию: по явке каждого или по слухам, по доносам.

— По информации,— поправил ее староста.— Сначала обойдешь всех активистов. Если кого не окажется на месте, узнай, куда, на сколько отлучился. Потом мне покажешь списки, а я уж сам дальше решать буду. А ты что же, гражданочка,— обратился он к Власовой, точно только что увидал ее в кабинете,— комсомолка будешь или просто с Феней пришла?

— Со мной,— опередила Натальин ответ Нарбекова.— Помогать мне будет, если, конечно, вы не против.

— А что же ты в Сталинград не уехала?— допытывался староста, пропустив мимо ушей ответ своего писаря.

— Не к кому ей уезжать,— еще решительнее ответила за Власову Нарбекова.— Она круглая сирота.

— Ты, девонька, попридержи-ка язык за

зубами,— построжал Захаров.— А то он тебя до добра не доведет.

— Я правда детдомовская,— сказала Наталья Леонтьевна даже с каким-то вызовом в голосе.

— Ну, ну, проверим,— исподлобья разглядывая Власову, пообещал староста.— Может, тебя по заданию оставили.

Власова почувствовала, как холодная струйка побежала по спинному желобу и во рту вдруг появилась противная сухость, отчего язык невольно облизал губы. Ей в голову пришла нелепейшая мысль: неужели кто-то внедрился в организацию по заданию немецкой разведки и все они, оставшиеся на оккупированной территории, уже взяты на учет в гестапо? Но она нашла в себе силы, чтобы до конца выдержать этот тяжелый недобрый взгляд вчерашнего конюха и ответить ему как можно непринужденнее:

— Проверьте, господин староста.

Слово «господин», очевидно, неприятно кольнуло Захарова. Никогда и никто в жизни его подобно не называл. Это было не только непривычно, но и страшновато. Что крылось за ним — утверждение его как представителя нового порядка на донской земле или, напротив, насмешка над его недолговечным господством? Иван Фокич не стал в этот раз выяснять до конца точку зрения молодой учительницы, а поспешил отделаться от девушек, сказав не без ехидства:

— Ну вот что, госпожа Нарбекова, ступай и займись делом.

Радость переполнила девичьи сердца, когда они очутились в коридоре. Девушки, взглянув друг на друга, поняли, что они подумали в этот миг об одном и том же: они выиграли первый в своей жизни поединок с врагом. Пусть этот враг не в немецкой форме, пусть он говорит на одном с ними языке, пусть вчера он был всего-навсего конюхом колхоза «Красный партизан», но сегодня он

добровольно принял на себя роль учредителя нового порядка, значит, стал врагом. Они допускали мысль, что Захаров сделал это по первому неосознанному инстинктивному зову своего сердца, требующему отмщения за все беды и несчастья, которые ему принесла Советская власть, больше того, может быть, изза желания спасти любой ценой свою шкуру. Но ни то, ни другое не делало ему чести. Ведь он работал у немцев не по заданию подпольного райкома. Значит, должен, в конце концов, разделить участь оккупантов.

А когда они вошли в тесную комнату секретаря сельсовета и опустились на старенький дерматиновый диван, Феня сжала руку Власовой и с задушевной благодарностью сказала:

— Спасибо тебе за то, что остановила. Я уже хотела ему плюнуть в морду...

— И теперь мы бы не сидели с тобой здесь, а болтались на виселице,— тихо смеясь, представила их печальное будущее Наталья Леонтьевна.

— А потом меня точно осенило,— хвасталась Феня.— Мы же сможем свободно ходить куда хочешь, смотреть, кого надо предупредить вовремя...

— Тише, Феня,— попросила ее Власова.— Не забывай: болтун — находка для шпиона. И у стен есть уши...

Нарбекова порывисто поднялась и выглянула за дверь. В коридоре было пусто. Лишь из приемной старосты доносились голоса. Она села за стол, достала папки (хорошо, что не успела уничтожить). Здесь были списки всех жителей хуторов, членов сельхозартели, сводки о поставках мяса, молока, хлеба. Инструкции, справки, отчеты.

— Вот что, Феня,— поднялась с места Власова,— нужно уговорить Захарова открыть в хуторе медпункт.

— Так фельдшер убежала еще третьего дня.

— А я для чего? — удивленно спросила Власова. — Даром, что ли, курсы проходила? Ты понимаешь мою мысль? Хоть какие, но появятся у нас медикаменты, бинты, вата. А главное, я смогу, как и ты, без особого риска ходить по хуторам. Главное, заиметь пропуска. — И вдруг ни с того ни с сего с болью в сердце сказала: — Жаль, что Миша ушел с отцом. Был бы у нас с тобой самый верный связник.

— Жаль, — согласилась Феня, но тут же убежденно добавила: — Не верю, не может он далеко уйти. Вот поверь моему слову — не сегодня-завтра, но он вернется...

БРОСОК В НОЧЬ

Утром в Харабали приехал начальник Астраханской партизанской школы. Он собрал всех рекомендованных в сельсовете и сказал, что командованию Красной Армии очень нужны сведения о противнике, занявшем южные районы области. А кто лучше местных старожилов может выполнить эту задачу! Но идти в тыл к немцам нужно не завтра и не через неделю, а через три месяца. Собравшиеся недовольно загудели. Их не устраивал такой далекий срок. Они рвались в дело сейчас же.

— Поймите, товарищи, — старался урезонить их Добросердов, — программа сокращена наполовину. Наполовину!

Но и этот довод не убедил собравшихся. Они уверяли старшего политрука, что готовы отправиться в тыл хоть сегодня в ночь.

Слушая их нервозный нетерпеливый гомон, Добросердов вспомнил свой прием у генерала. Как и предполагал Алексей Михайлович, в такие горячие дни люди не согласятся сидеть три месяца за партой, далеко от переднего края. Если бы речь шла о тех, кто уже успел повоевать, можно было бы согласиться

с их требованием. Но перед ним стояли в основном комсомолята, знающие о войне лишь по книжкам да кинофильмам. Большинство из них никогда в жизни кроме деревянной шашки да такого же нагана другого оружия в руках не держали. Так что кроме горячего преданного сердца нет у этой зеленой братии ничего. А взять вот этих стариков. Тоже, поди, после гражданской не прикасались к боевому оружию. Ну, а что говорить о девчатах, завороженно глядящих на его военную форму. Добросердов тяжко вздохнул и поднял над головой руку, призывая приутихнуть. И когда, внемля ему, собравшиеся замолчали, начальник сказал твердо, чтоб поняли — никаких уступок не будет:

— Я приехал сюда, чтобы лично побеседовать с каждым добровольцем. Лишь после этого вы будете зачислены в школу. И лишь после прохождения полного учебного курса, при условии успешной сдачи экзаменов командование перебросит вас на временно оккупированную территорию в составе партизанских отрядов и диверсионных групп. Таков мой сказ. В школу буду отбирать прежде всего коммунистов и комсомольцев, физически крепких, ну и, само собой, отважных, смелых, до конца преданных делу партии большевиков.

Собравшиеся вновь заговорили все разом, доказывая, что именно о них вел речь начальник и что вовсе не обязательно соблюдать формальность, придерживаться каждого параграфа инструкции; нужно брать в расчет главное — их лютую ненависть к врагу, их беззаветную преданность Родине.

Пришлось снова Добросердову призвать всех к тишине и напомнить, что поступать он будет только так, как сказал, и что престарелым, хворым, несовершеннолетним он советует не отнимать дорогое время ни у себя, ни у него.

Он оглядел еще раз собравшихся, особен-

но подолгу останавливал свой взгляд на Ломакине, Паршикове и Романовых. Те сразу почувствовали в таком взгляде опасность. И потому, выйдя из комнаты, решили явиться к начальнику вместе.

— В старики записал,— ворчал Пимен Андреевич. Он тронул широкой ладонью седую поросль на щеках и засмеялся.

Зиновий Афиногенович не понял его смеха и еще больше нахмурился.

— Верно подметил старший политрук,— весело заговорил Ломакин.— Поглядите на себя, други. Обросли щетиной хуже арестантов. Айда к цирюльнику. Сейчас помолодеем годков на двадцать.

Теперь уже заулыбались и Романов, и Паршиков. Они еще с гражданской верили в находчивость своего командира.

И, действительно, из парикмахерской они вернулись помолодевшими. Машинка и бритва убрали седину с висков и щек. Наверное, поэтому начальник школы, увидев их, не сразу узнал в молодцеватых кряжистых мужчинах давешних стариков. И только стоящий между ними черноглазый мальчишка с непокорным темным вихром напомнил утренних знакомцев.

— Прошу по одному,— не поднимаясь со стула, предупредил начальник. Но видя, что трое решительно направляются к нему, вышел на середину комнаты и строго скомандовал:

— Стой! Кру-гом!

Но и это не подействовало. Пимен Андреевич вплотную подошел к командиру и спокойно сказал:

— Сынок, дозволь тебе заметить... ты еще под стол пешком ходил, когда мы в первом красногвардейском полку громили контру.

На каменном лице начальника школы слегка дрогнули широкие брови. Уловив этот момент в перемене настроения старшего политрука, Пимен Андреевич добродушно улыбнулся:

— Так-то лучше,— сказал он,— Ты на нас даже голос не подымай. С нами сам Буденный уважительно говорил.

Начальник школы совсем подобрел и протянул руку.

— Добросердов, Алексей Михайлович.

— Пимен Андреич Ломакин... Это мои боевые товарищи Романов и Паршиков. А это сынок Романова, боевой малый.

Добросердов положил руку на плечо Миши.

— Пока я со старшими говорить буду, ты побегай во дворе.

— Так я с ними,— напомнил непонятливому начальнику пионер.

— У меня не детский сад, а военная школа,— все еще улыбаясь, но с жесткими нотами в голосе проговорил Добросердов. Он посмотрел на стариков, ища у них поддержки, но те с интересом следили за поединком.

— Я и прошусь в вашу школу,— нахмурился Миша, и между бровями у него резче прорезалась складка. Он тоже глянул на отца, явно рассчитывая на подмогу.

Зиновий Афиногенович молча сдавил его локоть, точно благословляя на решительный разговор.

— Из вашей школы я не уйду,— как клятву произнес пионер.— Буду учиться вместе с батей и вместе со всеми пойду в тыл. Вот и все.

— Вот так-то, знай наших, товарищ Добросердов,— гулко пробасил Романов-старший, довольный сыном.

— Вы что, серьезно?— снова нахмурился Алексей Михайлович.— Я еще не знаю, что с вами делать, а вы... Ей-богу, хуже маленьких! Думаете как в восемнадцатом году. Захотели стать красными партизанами — стали ими. Теперь все по-другому, деды. Теперь есть специальный штаб партизанского движения при каждом фронте. И в Москве. А вы тут партизанщину разводите...

— Не кипятись, сынок. С нами все ясно,—

вступил в разговор Ломакин.— Другого нет у нас пути, в руках у нас винтовка. А он... Товарищ старший политрук, под нашу ответственность. Разрешите?

— Не могу, товарищи. Начальство узнает — взгреет так, что чертям тошно станет.

— За него не беспокойтесь. Берем все на себя. Кто у тебя начальник?

— Генерал-майор Кругляков.

— Да ну?— обрадованно воскликнул Зиновий Афиногенович.— Тимофея Круглякова помнишь?— тормошил он Пимена.— В двадцатом, подо Львовом, на польском фронте.

— Не может быть,— разделил его радость Пимен Андреевич.— Вот так сюрприз. Это ж наш, буденновец, дорогой товарищ Добросердов. Так бы зараз и сказал. За генерала, сынок, не волнуйся. Это для тебя он генерал, а для нас боевой товарищ, полчанин...

— Неужто Тимошка Кругляк?— удивленно расширил глаза Паршиков.

— Какой же он тебе Тимошка,— нарочито осерчанно сказал Ломакин.— Тимофей Петрович.

— Точно, Тимофей Петрович,— уважительно подтвердил Добросердов, все больше убеждаясь, что старики если уж не закадычные дружки, то боевые товарищи, соратники его начальника генерал-майора Круглякова. И, значит, с этим фактом придется ему считаться. Да, видать, у стариков есть еще порох в пороховницах.

— Это для вас он, может, и генерал и Тимофей Петрович,— упорствовал Паршиков.— А для меня он Тимошка Кругляк. Мы же с ним начинали с малюсенького краснопартизанского отряда.

— Знаем,— в один голос сказали Романов и Ломакин.

— Дай-ка мне его телефон, сынок,— хоть мягко, но требовательно попросил Паршиков.— Это же получается, пока мы с ним белых генералов били, в друзьях числились,

а как сам стал красным генералом, так друзей побоку.

— Ну что вы, товарищи,— как старым добрым знакомым, улыбался Добросердов.— Тимофей Петрович рад будет, когда узнает, кого я в свою школу зачислил.

— Значица,— протянул ему руку Ломакин,— решено и подписано и обжалованию не подлежит.

— Не подлежит,— сдавил он ладонь старого партизана.— Зачисляю вас.

— Всех четверых?— уточнил Ломакин.

— Нет, казаки,— стоял на своем начальник школы,— без спецкоманды до занятий Романова-младшего не допущу.

— А я сам буду ходить,— настырно сказал Миша.

— Будешь,— успокоил его отец.— Раз уж мы с тобой решили вместе воевать, я до самого товарища Сталина дойду, но слово свое оставлю нерушимым.

— Ну зачем же так далеко,— покоренный упорством отца и сына, сдался Добросердов.— Обращусь с рапортом в штаб, думаю, что все образуется.— Но тут же посуровело его молодое загорелое лицо.— Однако смотри у меня, герой, чтоб ни одна душа о твоем зачислении не знала. И в учебе я с тебя семь шкур драть буду. Захнычешь хоть раз — отчислю.

— Не отчислите,— звонко крикнул Миша.

— Почему?— искренне удивился Добросердов.

— Потому что у меня тринадцать шкур,— озорно пояснил мальчик под дружный смех стариков.

— Ну, находчивый ты, парень,— сказал Алексей Михайлович, усаживаясь в старое кресло.

— Еще какой!— не удержался Миша, почувствовав благоприятную обстановку.

— А вот я сейчас проверю,— насупил густые брови начальник школы.— Представь,

что тебя забросили в степь. Ни кустика, ни дороги, ни компаса, а тебе надо найти своих. Знаешь ты лишь одно: они на востоке. Как определить направление?

Все напряженно, выжидательно следили за Мишей. Но он лукаво спросил:

— Ночью или днем?

Майор улыбнулся: находчивый, ничего не скажешь.

— Ночью.

— А луна есть?

— Есть.

— Какая?

— Обыкновенная,— пожал плечами Добросердов.— Ну, допустим, молодая, только народившаяся.

— Ее ночью не увидишь,— уверенно ответил Романов.

— Это почему же?— вмешался в разговор отец, чувствуя, что сын может повредить себе чрезмерной ученостью. Но Алексей Михайлович остановил его жестом и сказал:

— Будто сами не знаете: молодая луна рано прячется.— Повернулся к Мише.— Не буду я тебе больше загадок задавать. Покорил ты меня, Миша. Спасибо вам, Зиновий Афиногенович, за такого сына.

Да за такого парня он готов сам хлопотать где угодно и сколько угодно. Потому что, может быть, ему судьбой предначертано выйти в незаменимого разведчика, а может, известного полководца. И ведь чем раньше начинаешь путь по избранной стезе, тем больше шансов прийти к цели еще в силе и здоровье. Нет, он, Добросердов, не очень сетует на личную судьбу. В тридцать был уже капитаном, теперь две шпалы в петлицах, великое дело доверили ему. Но где-то на самом донышке горячего казачьего сердца Алексей Михайлович хранил обиду на того незадачливого эскадронного, который в том незабываемом девятнадцатом не захотел взять его, тогдашнего ровесника Миши Романова,

в свою часть. Конечно, тогда совершенно иначе сложилась бы жизнь Добросердова. То есть он несомненно так и остался бы военным. Но теперь выслуга была бы наполовину больше и, значит, звание... По меньшей мере командовал бы полком, а то и бригадой... Но, очевидно, не проявил тогда казачок вот такого упорства, такой сметки, находчивости, как этот цыганистый мальчонка, покоривший его, напомнивший майору собственного Гришуньку, бегающего сегодня где-то по улицам Куйбышева.

Ну, сущий дьяволенок этот Мишка, растрогал старого солдата буквально до слез, всколыхнул в его сердце самое заветное. Даже захотелось хоть на несколько минут волшебством-колдовством перенестись из Харабалей в город, где оставил семью, но услышал гул за дверью и усилием воли отогнал от себя навязчивую несбыточную идею, решительно тряхнул чубатой головой.

«Сам виноват, что не сумел убедить тогда эскадронного».

Почувствовал, что с души свалился ком давней обиды, сел за стол и громко позвал:

— Следующий.

Вечером из-под Сталинграда пришел небольшой буксир, весь черный то ли от копоти пожарища, то ли от времени, казалось, очень усталый, потому что он долго разворачивался сам и еще дольше разворачивал причаленную баржу. На палубе было до сотни мужчин, женщин, в основном людей комсомольского возраста. Встречались среди приехавших в Харабали и пожилые, давно снятые с воинского учета, встречались и совсем юные, но таких юных, как Миша Романов, не было ни одного. Романов-младший гордился этим обстоятельством и внутренне готовил себя к тому, чтобы не подвести милых его сердцу стариков и дорогого Алексея Михайловича, у которого оказалось очень доброе сердце.

Пока Добросердов беседовал с уполномоченным штаба партизанского движения, с теми, кого они отобрали в Средней Ахтубе, Черном Яру, Никольском, Цаган-Амане для зачисления в партизанскую школу, наступила ночь. Но это никого не огорчало, не раздражало. Все понимали — так надо.

К утру катерок дотянул баржу до Астрахани. Выгрузились неподалеку от главной пристани. Как только ступили на берег, большинство остановилось, пораженное обилием бочек для селедки, штабелями сушеной воблы, вешалами, унизанными частиком. И еще раз пришлось Добросердову поторапливать приехавших. Когда колонна по четыре в ряд по разбитой мостовой добралась до белокаменного кремля, передние ряды замерли, удивленные древней диковиной. Особенно многоглавым Троицким собором и знаменитой колокольней, с которой, по слухам, Степан Тимофеевич Разин сбросил астраханского воеводу.

Партизанская школа разместилась в одном из старинных особняков, которых было немало на тенистых улицах города. Перед железными коваными воротами и парадным входом с ажурным козырьком стояли часовые.

...Учеба в школе шла своим чередом. Курсантов будили чуть свет. Отбой давали, когда на улицах Астрахани наступала мертвая тишина. Изредка в программное однообразие вклинивались кино или концерт.

Хоть и называлась программа ускоренной, но многое в ней партизанам казалось лишним. Больше всего они любили занятия на стрельбище, по топографии, ориентации на местности, а Миша еще увлекался немецким, чего нельзя было сказать о Зиновии Афиногеновиче и его одногодках. Из тощего военного русско-немецкого разговорного словаря они с трудом усвоили десяток-полтора расхожих предложений и считали, что такой словесный запас им вполне достаточен.



Но больше немецкого, больше ориентирования на местности молодые курсанты, в том числе и Миша, уважали уроки самообороны без оружия — самбо. Ловкие, молниеносные приемы, обезоруживающие врага, броски через себя, при которых первоначально трещали кости,— все это приводило их в неописуемый восторг... Все понимали, что самбо пригодится каждому из них при неожиданной встрече с оккупантами. Лишь старики не высказывали особого рвения, когда их вызывали на старые школьные маты, устилающие пол спортзала. Они не только безо всякого энтузиазма принимали заданные позы, но брали друг друга с возможной предусмотрительностью, похожей на нежность. На замечания тренера Пимен Андреевич обычно отвечал, что все эти приемы он уже использовал, воюя еще с кадетами, и если понадобится, у него рука не дрогнет. В таком же духе отвечали и его однополчане. Зато в уходе за оружием, на стрельбищах равные им находились лишь среди тех, кто уже успел побывать на этой войне и теперь был списан по чистой из-за ранения. Как ни старался Миша, ему не удавалось на стрельбах догнать отца или Ломакина. От тяжелой винтовки у него дрожали руки, и при выстреле невольно ствол то взлетал вверх, то уходил вниз. Еще труднее ему было совладать с тяжелым пистолетом ТТ или немецким парабеллумом. Больше всего очков он выбивал, когда стрелял из карабина или нагана. Но никогда никто не подначивал Мишу, видя его неудачу. Напротив, все взрослые уверяли пионера, что раз от раза он стреляет лучше и будет день, когда Романов-младший даст вперед сто очков Романову-старшему. Миша понимал это снисхождение. Он лучше других знал, что если такое и случится, то очень и очень не скоро, потому что его отец по праву считался лучшим стрелком школы, особенно все признавали его превосходство, когда он ложился за пулемет. Однажды на зависть

всем, даже кадровым лейтенантам, которые обучали курсантов, с разрешения старшины Зиновий Афиногенович выбил из пулемета на железном листе свою фамилию. С того дня к Романову-старшему вся школа питала необыкновенное уважение.

Была и еще одна причина уважать старого буденновца. В короткие часы отдыха после небогатого ужина любили будущие партизаны, собравшись в кружок, вспомнить довоенное время, рассказать памятные истории, спеть и послушать песни. И тут всегдашними запевалами выступали Романовы. Их звонкие сильные голоса уносили курсантов далеко-далеко от каменных стен школы, от белокаменного кремля с высокой колокольней и боем курантов к тихим хуторам, где по утрам и вечерам над крышами плавал легкий кизячный дымок, где за левадами в лугах шумели буйные травы, где на заре румяные яблоки блестели изумрудом росных капель...

Песни Романовых приходили слушать из других отрядов. Изредка на огонек заглядывала Людмила Крылова. Обычно она приходила в сопровождении Василия Баннова.

Через месяц учебы, встретив случайно в коридоре Крылову, Миша даже растерялся. Он был уверен, что Людмила уже давным-давно воюет где-нибудь под Ленинградом. А оказывается, она сидит в глубоком тылу. Наверное, поэтому она ничего не писала подругам. Как ни велико было желание Миши с гордым независимым видом пройти мимо Крыловой, извечная мальчишеская любознательность подавила гордыню, и он терпеливо стоял возле подоконника, ожидая приближения Людмилы. Она не могла пройти мимо, не заметив здесь столь непривычного курсанта. И Людмила, вглядевшись, вдруг ускорила шаги, подбежала к Мише, как родного и близкого, обняла и поцеловала. Такой встречи он не ожидал и еще больше смутился.

— Как там мои ребятишки?—первым делом спросила Людмила.

— Их еще в июне увезли за Волгу. А вы все время здесь?

— Да нет, я только вчера приехала. Садись. Или лучше пойдем на улицу. Душновато.

По тенистой Московской улице они направились к Волге. Далеко сквозь сплетенные кроны кленов белым пятнышком виднелась впереди кремлевская стена. По пути Людмила дала понять пионеру, что была там, где Мише и не снилось. Из последнего рейда возвращалась через Сталинград.

Там творилось что-то жуткое. Города она по существу и не видела, он был весь объят гигантским пламенем.

Людмила переправилась на левую сторону Волги в тот момент, когда на северную окраину города пытались прорваться вражеские танки.

Из сводок они знали, что эта атака фашистов была отбита и теперь на улицах Сталинграда шли жестокие бои. Слушая сообщения с фронта, курсанты понимали, что для Родины наступили тяжелые испытания, пожалуй, тяжелее, чем в прошлом году. Тогда враг не заходил так далеко. Остановленный под Москвой и Ленинградом, он бросил основные силы сюда, на юг. Прорвался к Волге, вышел на Северный Кавказ.

Будущие партизаны, особенно из районов, оккупированных гитлеровцами, рвались во вражеский тыл. Они верили, и преподаватели подтверждали, что курсанты хорошо подготовлены для выполнения боевых операций. Но на все рапорты Добросердов отвечал:

— Поступит приказ командования, отправим.

И он поступил раньше, чем его ожидали, не только в астраханской школе, но и на ряде фронтов, которые просили увеличить партизанские группы, усилить их действия в ты-

лу врага. Во второй половине октября председатель Центрального штаба партизанского движения на Сталинградском фронте генерал-майор Кругляков получил телеграмму-шифровку из Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования. Шифровка предписывала Круглякову ускорить переброску партизанских отрядов и диверсионных групп в оккупированные районы Дона Ростовской, Сталинградской областей и Донбасса.

С этой телеграммой Тимофей Петрович отправился в штаб командующего фронтом Андрея Ивановича Еременко, с которым его связывала давняя совместная служба в рядах Первой Конной армии. Поэтому генералы при встречах и беседах не соблюдали субординации, обращались друг к другу по имени-отчеству и на «ты».

Как только Кругляков ознакомил командующего с приказом, Еременко не без доли подначки сказал:

— Ну, Тимофей Петрович, что я тебе говорил еще в самом начале Сталинградской обороны. Готовь свои кадры побыстрее да в большом количестве.— Генерал отставил свой бадик, с которым не расставался после ранения в ногу, сел в старое кресло и удовлетворенно потер руки. По его поведению Кругляков догадался, что командующему известно что-то такое, чего пока не знает ни он, ни его разведчики. Тимофей Петрович, стараясь скрыть невольное волнение, поинтересовался:

— Выходит, скоро начнем, Андрей Иванович?

Генерал-полковник прищурился, пытливо глядя в лицо Круглякова. Хотел угадать: знает и прикидывается или действительно не знает. Поверил: не знает.

— Помнишь, когда из Ставки приезжали, я тебя предупредил: будь готов к ноябрю. А теперь, выходит, раньше.

— Когда?— нетерпеливо потянулся через стол Тимофей Петрович.

Генерал-полковник пожал плечами:

— Точной даты, по-моему, кроме самого, никто не знает. Но, думаю, очень скоро. Поэтому давай команду о немедленной переброске всех партизанских сил в означенные районы.

— Как думаешь, Андрей Иванович, дня три у нас есть?— осторожно поинтересовался Кругляков, что-то задумав, и когда в ответ Еременко утвердительно кивнул крупной головой, увенчанной короткими сединами, попросил:— Разреши съездить самому в Астрахань, посмотреть на народ, поговорить по душам с земляками. Дело-то ведь предстоит необычное. Чует мое сердце!

— Что ж, поезжай, товарищ Кругляков,— разрешил командующий, снова вставая и осторожно подходя к нише, в которой висела зашторенная карта южных фронтов. Он плавным движением откинул левую половину шторы и пригласил Тимофея Петровича подойти поближе.

— Хочу тебе посоветовать,— сказал генерал-полковник.— Когда ты отправлял мелкие группы, мог в любом месте найти дырку. А тут ведь в общей сложности не меньше батальона сразу будет переброшено. Так вот советую использовать для этих целей стыки наших пятьдесят первой и пятьдесят седьмой армий. На этом сопредельном участке,— указательный палец командующего начал медленно двигаться от южных предместий Сталинграда через ниточки и пунктиры степных речушек и озер в Калмыцкие степи, ближе к Астрахани,— как ты можешь убедиться, мы и немцы сплошного фронта не имеем. И активных действий в этом районе до сих пор противник не вел. Я так полагаю, из-за отсутствия стратегических резервов. Вот я советую тебе использовать для переброски эти сопредельные участки. Имей в виду, Тимофей

Петрович, в больших хуторах и селах немцы создали опорные пункты. Пусть твои ребята ведут себя бдительнее.

— Спасибо за советы, Андрей Иванович,— искренне поблагодарил командующего Кругляков.— Сам учту их, другим передам. У нас уже имеется кое-какой опыт ведения партизанской войны в степных районах Ростовской и Сталинградской областей.

— Дорого мы заплатили за этот опыт,— тяжело вздохнул командующий, который знал о трагической участи большинства мелких партизанских отрядов и подпольных групп, оставленных в Задонских районах.

— Так точно,— в тон командующему печально произнес Кругляков.— Вот поэтому хочу сам лично побеседовать с людьми.

— Хорошо, хорошо,— еще раз одобрил желание начальника центра генерал-полковник.— Об одном прошу: перебросить как можно скорее и как можно больше. Сам понимаешь, своими действиями должны твои партизаны отвлечь от Сталинграда елико возможные силы немцев.

— Понимаю, товарищ командующий. Вот обо всем этом и хочу говорить с народом.

— Ну, желаю удачи,— протянул Еременко руку начальнику центра.— Надеюсь, до скорой встречи?

Кругляков, что-то прикинув в уме, ответил:

— Думаю, через недельку доложу.

— Да!— воскликнул Андрей Иванович, только что вспомнивший о чем-то очень важном.— У меня же есть прекрасный документ. Думаю, он очень пригодится и тебе, и твоим партизанам. Вот сядь, прочти. По-моему, толковая бумага. Если ты со мной согласен, мы составим листовку для партизан.

Еременко порылся в красной массивной папке, достал оттуда несколько страниц машинописного текста, зажатых большой скрепкой.

Кругляков сел в стороне от стола, поближе

к висячей лампочке, и принялся читать текст, напечатанный через интервал. Прописным был отпечатан длинный заголовок «Обращение X пленума обкома ВКП(б) к защитникам города, рабочим, колхозникам и всем трудящимся области». Ниже в правом углу дата «3 октября 1942 года». А дальше само обращение, в каждой строке которого — боль и тревога, призыв к мужеству и надежда, что мы выстоим и победим. «Любой ценой гитлеровцы хотят овладеть городом»— прочитал Кругляков и глянул в окно, будто за ним можно было увидеть, как враги стремятся овладеть Сталинградом. Он это знал по сводкам, по своим вылазкам на передовую, которая сегодня проходила в 10 — 20 метрах от противника. Тимофей Петрович снова углубился в чтение, думая о том, что с этих слов и нужно начинать партизанскую листовку. Сюда, на этот участок фронта, они бросили крупные силы немецких войск и войск своих вандалов — Румынии, Венгрии, Италии, Словакии, чтобы достигнуть решающей победы в военной кампании 1942 г. Сталинград — это Волга, Сталинград — это ворота на юг, на Каспий, Сталинград — это ключ к богатейшим хлебным и промышленным районам юго-востока Советской страны. Вот почему взоры советского народа прикованы сейчас к Сталинграду...

С мыслью о Сталинграде живут и работают советские патриоты. Все свои силы, всю энергию, все пламя любви к Отчизне они отдают защите славного города. Со всех концов Советского Союза нескончаемым потоком идут к Сталинграду эшелоны с оружием, боеприпасами, снаряжением, продовольствием. «Это точно»,— мысленно подтвердил Кругляков, проведя едва приметную карандашную пометку на полях листка.

Гитлеровцы рассчитывали ударом неслыханной силы смять ряды защитников Сталинграда, с ходу занять город... Но

гитлеровское командование, жестоко просчиталось. В час тяжелых испытаний не дрогнули ряды сталинградцев. Рабочие, оставив заводские корпуса, станки и мартены, с оружием в руках вышли навстречу прорвавшемуся врагу. Грудью своей они преградили ему путь. Женщины, подростки, старики по призыву городского комитета обороны взялись за сооружение баррикад, превращая в крепость каждую улицу, каждый квартал. «Верно»,— отметил Кругляков, вспомнив улицы с разрушенными начисто домами, но перегороженные баррикадами, надолбами, дзотами, ежами.

И снова на полях появилась карандашная пометка. Дальше в тексте назывались имена героев, отличившихся на том или ином участке фронта. Затем обком партии призывал всех участников обороны Сталинграда отстоять город, отстоять, невзирая ни на что.

«В эти трудные дни проникнемся мыслью — отступать некуда. Пути отступления закрыты приказом Родины, приказом народа. Ни шагу назад!»

Обращение требовало биться стойко и яростно за каждый дом. Обком партии призывал тружеников тыла трудиться так же самоотверженно, как бойцы сражались на фронте. Обращаясь к братьям и сестрам, находящимся в районах, временно оккупированных немцами, коммунисты призывали: «Создавайте невыносимые условия для немецких захватчиков. Ярче разжигайте пламя партизанской борьбы (карандаш снова сделал пометки на полях), смелее производите диверсии, разрушайте связь, транспорт врага, всеми доступными средствами истребляйте немецких захватчиков, помогайте Красной Армии очистить нашу священную землю от немецкой погани».

Обращение заканчивалось пламенным призывом: «Так поклянемся же Родине, что мы выстоим, не отдадим врагу наш город!»

Когда Тимофей Петрович закончил чтение, Андрей Иванович оторвал взгляд от папки и выжидательно посмотрел на взволнованное лицо генерала.

— Сильный документ,— сказал Кругляков, кладя перед командующим обращение.

— Возьми,— разрешил командующий,— подготовь листовку и вручи партизанам. Думаю, что она сыграет свою роль.

— Уверен,— сказал начальник партизанского центра, поднимаясь.

...Приезд генерала Круглякова в астраханскую школу лучше любого приказа, телеграммы подсказал курсантам, что в их жизни наступает новый важный период. Наступает тот момент, ради которого они добровольно пришли сюда, более двух месяцев упорно учились искусству ведения войны во вражеском тылу. И они не ошиблись. Вечером их собрали в актовом зале. Добросердов представил своим слушателям председателя Центрального штаба партизанского движения. И когда Тимофей Петрович, встреченный горячими аплодисментами и радостными возгласами, вышел к небольшой трибуне, зал мгновенно затих, казалось, даже перестал дышать, чтобы не пропустить ни одного слова речи генерала.

Рассказывая о положении в Сталинграде, Кругляков очень подробно обрисовал обстановку на театре военных действий, сосредоточил внимание на характерных особенностях войны в районе Сталинграда.

— Эти особенности,— уверенно говорил генерал,— характерны тем, что противник, стараясь захватить город, сконцентрировал миллионную армию с большим количеством современной техники. В результате чего создалась большая плотность войск на территории оккупированных районов области.

— Вам должно быть ясно,— продолжал он, вглядываясь в лица курсантов, ища среди них однополчан, друзей боевой молодости,—

что все населенные пункты, балки, овраги, прилегающие к городу, сегодня насыщены войсками противника. В силу этого вся местность, особенно все мало-мальски пригодные дороги, мосты, дамбы находятся под усиленным контролем.

— Степь у нас известная,— вышел из-за трибуны Тимофей Петрович.— Ей ни конца ни края не видать,— он вновь обратился к старикам, которые единодушно подтвердили его определение степных просторов.— Плотность населения, сами знаете,— по человеку на квадратный километр, с жильем в степи не густо. Учтите: начинаются холода. Значит, немцы, румыны, итальянцы будут все больше жаться к деревням, хуторам, станицам. Так что следует выбрать особую тактику и стратегию.

Заканчивая речь, Тимофей Петрович передал всем курсантам просьбу, так и сказал, «просьбу», а не приказ командующего фронтом: помочь Красной Армии всем, чем будет возможно. Остановите хоть на день эшелон боеприпасов, техники, воинских частей — прекрасно, уничтожите хоть одну боевую машину, повозку, мотоцикл — спасибо, склад поднимете в воздух — великое спасибо, хоть одного фрица или макаронника прихлопнете — все равно благодарность вам от командования, а если гарнизоны разгромить, то за наградой дело не станет.

И еще Кругляков предупредил партизан, чтобы своими действиями в тылу врага дали они почувствовать не только оккупантам, что они здесь нежелательные временщики, но чтобы и советские люди ни на минуту не потеряли веры в несокрушимость Советской власти. А для этого должны граждане быть всегда точно информированы о положении на ближних и дальних фронтах, о боевых делах партизан и подпольщиков, потому немаловажную роль командование отводит такому участку, как распространение листовок и сво-

док Совинформбюро, как проведение (смотря по обстановке) митингов и собраний в населенных пунктах, где будет разгромлен вражий гарнизон или где будут казнены староста, полицаи...

— Одним словом,— как шашку, вскинул руку над головой генерал,— действуйте так, чтобы днем и ночью горела земля под ногами оккупантов. Удачи вам, дорогие мои!

Зал откликнулся на пожелание генерала громкими и дружными аплодисментами, заверениями, что партизаны сделают все, чтобы помешать врагу захватить Сталинград.

Наконец-то настал тот долгожданный день, когда партизан группами вызывали в кабинет начальника школы и ставили перед ними конкретные задачи, определяли участки для диверсий, наблюдения за передвижениями и дислокацией вражеских войск.

— Ваш участок,— говорил Добросердов Ломакину, расправляя на большом столе карту,— от Котельниково до станции Пролетарской Ростовской области. Двести километров. Простор. Но и сложность...

Добросердов поглядел на партизан, сгрудившихся вокруг стола. Лица всех были сосредоточены на кружках, названиях, тонких жилках степных и железных дорог. За каждым кружком партизаны видели давно знакомые станции, поселки, хутора. Миша вперил свой взор в надпись «х. Майоровский». Как бесконечно далеко он от волжских берегов. А там мама, сестры и совсем-совсем крошечный брат. А может, их давно нет? Ведь уже около трех месяцев они с отцом не имеют из дома никаких известий. И сколько еще придется ждать встречи?

— Слышишь, герой,— прервал его мысли начальник школы.— Твоя главная задача — быть связным. Получше запоминай адреса явок, фамилии, пароли...

— А как же диверсия?— растерянно поглядел на Добросердова юный партизан.

— Без тебя управятся,— сказал Добросердов, но, увидев, как расстроился мальчик, попытался его успокоить:— Ну, конечно, судя по обстановке... На войне всякое случается... Но, повторяю, и вам, Пимен Андреевич, напоминаю, партизан Михаил Романов — основной ваш связной.

— Разве мы не понимаем,— мягко проговорил Ломакин и прижал Мишу к себе.— Наша главная надежда. Да и отец с ним. Так что будьте спокойны.

Добросердов, отпустив всех, оставил Мишу, и они еще раз повторили адреса, фамилии подпольщиков и пароли, а когда закончили, начальник школы положил две тяжелые ладони на плечи пацана, доверительно сказал:

— Ты вроде не очень доволен заданием? Я тебя понимаю. Но и ты пойми. Я тебе доверил самое трудное дело. Поверь мне, старому разведчику: закладывать динамит или стрелять из автомата легче, чем встречаться каждый день лицом к лицу с врагом, перехитрить его, добыть нужные сведения и доставить их командиру. Ты по наивности думаешь, что герой тот, который стреляет, подрывает эшелоны... Словом, делает все с шумом, громом? Глубоко заблуждаешься. Вот есть у нас в Котельниково один парень. Три месяца сидит в тылу врага. Не сделал ни одного выстрела, а сколько ценных сведений от него получила Красная Армия! Если подсчитать, то враги от его работы потеряли не меньше полка. Да будь ты самым храбрым, отчаянным и смелым, разве один сможешь уничтожить полк? Поверь мне — никогда. Так что дело разведчика — тихое и осторожное дело. Ну, а уж если тебя засекли, отдай свою жизнь как можно дороже. Сам не торопись погибать.

— Так вы же велите без оружия ходить,— напомнил ему Миша.

— Если ты не дрогнешь и не расколешься и если тебя не продаст какой-нибудь подонок,

никто ведь не догадается, кто ты. На лбу у тебя не написано, что ты партизан.

Миша улыбнулся, для достоверности пощупал лоб. Нет, гладкий.

— То-то,— поддержал его Добросердов.— Бумаг при тебе никаких, оружия тоже. Словом, сирота, обездоленный войной мальчишка, каких тысячи сегодня бродят по городам и весям России.

Мягкое лицо Добросердова сделалось суровым.

— Эх, Миша,— вздохнул он горестно.— Разве я не понимаю, что не тому тебя учу. Бесчеловечно это, если уж по совести, вас, детей, посылать на такие дела... Да ведь ты сам избрал этот путь.

— Сам,— подтвердил Романов.— Мы с отцом договорились: как будет очень трудно, он пойдет на фронт и меня позовет.

— Что ж, он свое слово сдержал. Теперь дело за тобой. Я верю в тебя, Миша.

— Спасибо, Алексей Михайлович. Я не подведу.

За час до отправки группы выстроили в четыре шеренги. Миша стоял последним, рядом с правофланговым другого отряда Василием Банновым. А еще через несколько человек стояла Людмила Крылова. По команде «смирно» все застыли.

Первым к столу подошел Пимен Андреевич. Он поднял со скатерти белый лист и, отодвинув его на вытянутую руку, взволнованным глуховатым голосом, от которого сразу пробежали мурашки по спине, произнес:

— Я, красный партизан Советского Союза, Ломакин Пимен Андреевич, перед лицом моей Родины, перед лицом моего народа клянусь,— командир сделал паузу, нагнул голову и звонче прочитал: — Клянусь до последнего дыхания быть преданным делу освобождения моей Родины от немецко-фашистских захватчиков... Клянусь быть смелым, мужественным, держать в строгой тай-

не существование и деятельность организации.

Пимен Андреевич подтянулся, вскинул голову и, глядя в лица товарищей, продолжал:

— Если же по злому умыслу или по трусости я нарушу данную клятву, то пусть наказанием мне будет всеобщее презрение и смерть от руки моих товарищей! Кровь за кровь! Смерть за смерть!

Он медленно положил бумагу обратно и, склонившись над столом, поставил свою подпись под клятвой-присягой.

Вслед за ним вышел из строя Мишин отец. Он снял фуражку, расправил отросшие усы и подобно колоколу прогудел:

— Я, красный партизан Советского Союза, Романов Зиновий Афиногенович, клянусь...

Потом к столу подходили Паршиков, Баннов, Крылова, калмычка Лена Туркец...

И каждый как будто стрелял по незидимому врагу одним словом:

— Клянусь!

Настала очередь Миши. Слегка пригладив черные волосы, он исподлобья оглядел боевых друзей, с которыми теперь связан не просто общей комнатой, стрельбищем, школой, связан узами воинского братства, самого святого, самого крепкого. И ему очень хотелось, чтобы все они, старшие, поняли и поверили, что Миша идет с ними от начала и до конца. И от необыкновенного волнения он громче, чем нужно, начал читать:

— Я, красный партизан Советского Союза, пионер Михаил Романов, клянусь...

Ехали по бездорожью. Плотные облака, низко повисшие над землей, изредка подсвечивались снизу то ли далекой вспышкой осенней грозы, то ли ракетами.

Тесно прижавшись друг к другу, партизаны до боли в глазах всматривались в степную вымершую пустоту. Что-то там ждет их? Машина, преодолев взлобок, въехала в лощину и почти бесшумно притормозила.

— Прибыли,— шепотом сообщил шофер.— Здесь стык двух немецких армий. Справа и слева километров десять ничейной земли. Ну, доброго вам пути.

Машина развернулась и, глухо стуча мотором, тотчас скрылась во тьме.

СВЯЗНОЙ ОТРЯДА

По лощине шли друг за другом. Когда склоны ее стали выше головы, Пимен Андреевич сказал, что скоро будет овраг. На дне его, в зарослях боярышника и шиповника, партизаны переждут день и с наступлением ночи двинутся дальше.

Лишь восток окрасился предрассветной зорькой, Пимен Андреевич поднялся на гребень и, приложив бинокль к глазам, начал изучать место. На западе по железной дороге, словно игрушечные, двигались вагоны. Правее виднелся горб моста через речку Сал. «Хорошо бы его взорвать,— думал Ломакин.— Но как подойти? С востока трудно. Тут немцы наверняка ждут. А если с той стороны? Ладно,— решил командир,— тут еще подумаем, посоветуемся».

Днем в степи, как и ночью, было тихо и безлюдно. У людей прошла первая скованность. Они сначала шепотом, потом в голос стали разговаривать, шутить. Ломакин с Паршиковым и комиссарами уединились обсудить план взрыва моста. Мысль была заманчивой, дерзкой. Старым партизанам казалось, что они вернулись в годы своей молодости. И так же, как тогда, своей лихостью, смелостью, нахрапом смогут заставить врага трепетать при слове «партизан».

Но комиссар отряда, бывший секретарь райкома партии Иван Хорошунов, который уже успел побывать на передовой и был откомандирован в партизанскую школу после ранения, предупредил: немцы отлично пони-

мают, что такое единственная железная дорога, связывающая тыл с фронтом. Они, безусловно, усиленно охраняют полотно, и прежде, чем идти на взрыв моста, следует ой как хорошо понаблюдать за объектом. Узнать точно, когда меняется караул, сколько человек несет охранение, чем вооружены солдаты, через какой интервал проходят поезда.

Решили действовать двумя группами: одна остается на месте, другая с наступлением темноты перебирается на правый берег Сала, и по условленному сигналу обе группы пойдут на мост.

За день они выяснили, что охрана — не больше взвода. В основном это были румыны в черных высоких папахах и длиннополых шинелях. Перед каждым эшелоном на дрезине проезжают немцы, проверяют, все ли в порядке. Составы проходят часто, особенно со стороны Котельниково. На теплушках и пассажирских большие красные кресты — санитарные. Несколько поездов провезли скот, мешки с зерном или мукой, бочки.

Осенние сумерки быстро и плотно окутывают степь. Не прошло и четверти часа, как уже в темноте трудно было разглядеть что-либо, кроме сигнальных фонарей на мосту; немцы все еще боялись советской авиации. Эти огни и служили ориентиром для партизан.

Дождавшись ухода очередного эшелона, Пимен Андреевич приказал трем взрывникам пробраться к мосту, а второй группе форсировать вброд неширокую и неглубокую речку. Цепочку замыкали Иван Хорошунов, Людмила и Баннов с рацией на плечах.

Идущие впереди уже достигли берега, когда с моста раздался дикий крик, и тут же со свистом, прорезая плотную осеннюю дымку, взвилась ракета. Слепящий свет ударил в глаза, и в то же мгновение с пролета нервно застрочил пулемет. Из домика выбежали

полураздетые солдаты и, не зная, в чем дело, начали стрелять по темным фигурам, пересекающим реку.

Пимен Андреевич мгновенно принял решение: стрельбой отвлечь врага от беззащитных партизан.

— Огонь! Огонь!— кричал он, отвечая тоже длинными очередями.— Отходите, отходите в степь!— гремел его голос, едва слышимый в этой перестрелке.

Людмила с Василием почти добрались до спасительного камыша, когда пуля сбила с девушки шапку, а сильный толчок свалил Баннова в обжигающую воду. Парень чувствовал, что рацию буквально вдавило ему в спину. Непомерно тяжелая, она навалилась чугунным гнетом на Василия. Сапоги вдруг увязли в иле. Он попытался упереться во что-нибудь твердое, но под руками, кроме воды, ничего не было. В то время, когда он уже нащупал камышовые стебли, его снова сильно качнуло. На спине словно затрещали кости.

— Держись, парень!— подхватил его комиссар.— Поднимайся.

Баннов сделал несколько тяжелых шагов, и руки его судорожно вцепились в стоящие высокой стеной камыши. Теперь стало легче. Может, еще оттого, что сзади рацию поддерживала Людмила. А с моста вниз уже бежали солдаты, беспрерывно разряжая ружейные обоймы. Пули свистели, проносясь над головой, цокали, срезая камыши, шипели, падая в студеную воду. Партизаны отвечали редкими, но меткими выстрелами.

Миша, припав к валуну, посылал короткие очереди. После того, как на мосту громыхнула граната и пламя, все сильнее разгораясь, побежало по настилу, отец дернул его за плечо, советуя отходить.

Бежали по-заячьи, петляя и прыгая, обжигая лицо и руки острыми камышовыми стрелками. Метров через десять, останавливаясь,

давали очередь в освещенное пятно на мосту и снова бежали, увертываясь от кинжальных струй свинца. С противоположного берега тоже раздались выстрелы. Это отходила группа Паршикова и Хорошунова.

Сошлись километрах в двенадцати от железной дороги, в глубокой, густо поросшей терновником балке. Дальше не пошли — впереди мелькали неяркие огни населенного пункта. Да надо было дождаться взрывников.

Миша уверял Ломакина, что видел своими глазами, как после взрыва на мосту трое кубарем скатились с железнодорожной насыпи и скрылись в камышах. И, действительно, минут через десять, едва держась на ногах, на дне балки показались взрывники. Самый молодой из них, коренастый Коля Красноюрченко, смахнув пот с лица, весело заулыбался. Все еще часто дыша, сказал, что рельсы они не взорвали, но шпалы и деревянный настил покорежило здорово.

— Пока пожар потушат, пока шпалы заменят, считай, ночь пройдет,— довольно закончил доклад Красноюрченко.

И все-таки партизаны были недовольны операцией: ведь мост остался целый.

— Вернемся недельки через две,— сказал Ломакин.— И не всей оравой, а человек пять. Тут главное — без шума снять часовых.

Он поднялся на обрыв, постоял, подумал и, спустившись, объявил:

— Похоже, что конесовхоз!

— Похоже,— подтвердил Паршиков.

— Могут позвонить в хутор,— предупредил Хорошунов.— Надо ждать облавы.

К командиру подошла расстроенная Крылова. Она тяжело опустила ящик с рацией возле ног.

— Угробили,— толкнула она в коробок сапогом.

Ящик в нескольких местах был пробит.

— Может, что придумаем,— попытался успокоить ее Хорошунов.

— Детектор разбит, две лампы — в осколки.

— Ну, лампы можно у фрицев достать,— подсказал Пимен Андреевич.

— Чем лампы, лучше целый передатчик,— вслух размышлял Хорошунов, осматривая разбитый приемник.— Только надо установить, где у них радиостанция. А точнее, где штаб.

— А этот куда?— глядя на рацию, словно на покойника, задал вопрос Ломакин и сам тут же ответил:— В землю.

— А может, утром виднее будет. Что-нибудь придумаем,— чувствуя, что с этого момента прерывается связь отрядов с Большой землей и питая каплю надежды на то, что рация вдруг оживет, встрепенулся Ломакин.

Он плохо разбирался в такой тонкой технике и потому почти как на чудотворцев смотрел на людей, умеющих вызвать к жизни молчащий радиоприемник, негреющий утюг, погасший кинопроектор. Вся его жизнь прошла в степи, среди лошадей, овец и коров. Пробовал он сидеть в конторе, сочинять и подписывать бумаги, но не лежала к ним душа степняка. Его все время тянуло на простор. Так он стал заготовителем потребсоюза. Работая экспедитором, Пимен Андреевич большую часть времени проводил среди пастухов и чабанов. В свои шестьдесят лет он легко переносил кочевой образ жизни, переезжая из колхоза в колхоз на гнедом маштаке.

Завидовал старый партизан лишь тем друзьям, у кого росли сыновья. И потому, когда у Романовых родился Мишка, первым прибежал к однополчанину и, обнимая его, пробасил:

— Дозволь, Зиновий, быть крестным отцом Мишутки.

Зиновий Афиногенович удивленно вскинул тогда широкие брови, стрелки усов задвигались. Он равнодушно не мог даже слышать

о крестинах от кого бы то ни было. А тут с поповскими ритуалами пристает к нему старый большевик, его бывший командир. Но Пимен Андреевич быстро уловил перемену в настроении счастливого отца и поспешил успокоить.

— Неужто думаешь, в церковь предлагаю нести? Чудак человек! По-своему, по-коммунистически его окрестим: перевяжу пеленки красной лентой, вот и окрещу революционным знаменем.

И после, когда Миша подрос, Ломакин, заезжая к ним на час-другой, первым делом подхватывал крестника, усаживал его впереди себя и, дав шпоры лошади, вихрем мчался вдоль домов по улице Сербина и кричал, словно к живому, обращаясь к давно погибшему другу:

— Гляди, Нил, какого богатыря мы с Зиновием растим.

А когда Мише исполнилось шесть лет, посадил его одного на коня и сказал, глядя на перепуганную Анну Максимовну:

— Гордись казаком, Анка!..

Уйдя мыслями в довоенные, теперь, казалось, бесконечно далекие годы, Ломакин поймал себя на том, что думает о Мише Романове неспроста. Пришло его время уйти в первую разведку. А может, будет она для него и последней. Да нет, не хочется думать об этом. Миша вроде их, тех, кого на мякине не проведешь. Смышленый, находчивый, ловкий. Надо.

«Вот чуть развиднеется, и пошлю. Другого выхода нет. Рация разбита. Трое тяжело ранены. Их необходимо оставить у надежных людей. А в конесовхозе явка. Конечно, за три месяца оккупации всякое могло произойти. Но связной — человек вроде осторожный, малозаметный».

Подрагивая от холода, Миша вышел из балки на дорогу, дождавшись, когда по ней двинулись беженцы. На полуоборванного

мальчика никто не обратил внимания. Мало ли зачем мальчишки отлучаются в кусты.

— Тетя, вы откуда?— осторожно спросил Миша пожилую женщину, несущую тощий мешок за спиной.

— Теперь из Ремонтной,— устало сказала женщина.— А сама-то я из Сталинграда... Как он занял Дар-гору, так выселил нас... Кого на Калач погнал, кого на Украину, а я сказала, что у меня в Киселевке сестра живет... Эшелоном нас довезли до Ремонтной, а теперь приказано пешком идти.

— Ну как там, в Сталинграде?

— Плохо там,— простонала женщина.

— Взяли его немцы?

— Когда нас угоняли, то в городе еще стреляли... А теперь не знаю.— Она оглянулась по сторонам и шепотом добавила:— Видно, наши держатся. Сама на вагонах с пушками прочитала: на Сталинград... А ты как сюда попал?— в свою очередь полюбопытствовала женщина.

— Я из Котельниково иду в совхоз. Тут у меня тетка и дядька были...

«Значит, фашисты не взяли Сталинград,— ликовал Миша, услышав, что туда идут эшелоны с орудиями.— Если бы взяли, зачем же везти пушки?».

Больше двух месяцев идут бои в городе. Как и чем помочь Красной Армии? Первая же крупная операция сорвалась. И что скажет связной в совхозе, если Миша его найдет?

Возле крайней хаты поселка Миша незаметно отделился от толпы и перелез через низкий ивовый плетень.

Во дворе чувствовалось запустение. Ворота сараев распахнуты настежь, солома с крыш сорвана, перила крыльца покосились. Казалось, тут никто не живет. А может, в хате расположились немцы или румыны? Ну что ж, спрошу, где дядя Тарас.

Он подошел к двери, прислушался, огля-

нулся еще раз. Кроме собственного сердцебиения ничего не услышал. Страшно входить в такую жуткую тишину. Но надо. Его же ждут в овраге. Он нажал на щеколду, она звякнула так, точно кто-то ударил в набат. Миша снова повернул голову вправо, влево. Тишина. Лишь на улице поскрипывают подводы, изнуренные бедой, плетутся беженцы, коротко и зло кричат на них полицаи.

После третьего стука щеколды в сенях кто-то зашаркал тяжелыми сапогами. Дверь едва приоткрылась, и Миша увидел страдальческое лицо пожилого мужчины, перевязанное старой пуховой шалью.

— Чего тебе, малец?— простонал мужчина.

— Дядя, на прошлой неделе к вам не забегал поросенок с черным пятачком и черным хвостом?

Миша выжидающе глядел на перевязанное лицо. Прошла целая вечность, прежде чем страдальческое выражение сменилось тихой улыбкой. У юного разведчика отлегло от сердца. Но человек не ответил на пароль. Кивком головы он пригласил в хату. Захлопнул дверь, накинул щеколду и еще припер перекладину палкой.

— Господи, нашли кого послать,— говорил мужчина растроганным голосом.— Думал, и не дождусь. Садись,— засуетился хозяин, залезая наполовину в теплую черную печку и гремя там чугунками.— Садись, садись... Озяб, голодный, небось.

Но Миша не двигался от притолоки: ведь человек не ответил, как положено у разведчиков, на условные слова. И Романов еще раз спросил:

— Так не забегал к вам на прошлой неделе поросенок?

Хозяин удивленно поглядел на мальчишку: что он, сумасшедший, повторяет одну и ту же глупость? Какой поросенок на прошлой неделе, когда оккупанты три месяца мародерствуют в хуторе.

Но потом вспомнил что-то далекое, и лицо его снова просветлело. Старый дурень. Парень ответ ждет.

— Ежели с черным хвостиком и пятачком, то забегал...

Теперь они оба улыбались широко, открыто.

— Дошлый ты, парень,— хвалил Романова хозяин, угощая теплой картошкой и просяной пышкой.

— В нашем деле иначе нельзя,— серьезно отвечал Миша, с наслаждением глотая картошку.

Дядя Тарас рассказал связному, что в хуторе нет никакого штаба, нет даже комендатуры. Есть небольшой гарнизон из румын и несколько полицейских. В школе румыны открыли полевой госпиталь. До вчерашнего дня в хуторе все было спокойно. Но вечером приехало две подводы. Румынский офицер привез одного убитого и четырех раненых солдат. Говорят, на мост напали партизаны, но охрана вовремя их заметила и уничтожила.

При этих словах Миша задорно подмигнул собеседнику черными озорными глазами. Хозяин понял юного связного и сказал:

— Я так и подумал. Ну, нагнали вы на них страху. Они сегодня на железную дорогу выслали дополнительное отделение.

Хозяин постоял несколько секунд у двери, прислушиваясь. Только после этого дядя Тарас сообщил Мише, что на небольшой станции Ремонтной какие-то важные штабы и там у них расположилось гестапо. Туда они свозят всех, кого подозревают в партизанской деятельности, или советских активистов.

— У нас трое раненых,— сказал Миша, спрашивая глазами, как на это посмотрит хозяин.

— Ночью принесите их сюда,— не раздумывая, предложил дядя Тарас.— У меня во дворе погребец надежный. Кое-какие медика-

менты добуду в госпитале... А вам тут оставаться нельзя... Охрану дороги они усилили. Словом, Пимену скажи, что я его жду. Приведешь балкой в леваду. Я встречу...

Дождавшись темноты, партизаны принесли раненых во двор связного. Здесь же, в зарослях терна и груши-дичка, договорились разбиться на две группы. Одна уходила за Котельниково на север, где в хуторах и станицах должна была собирать сведения, рвать провода, уничтожать офицеров связи и добытые сведения переправлять через своих людей резиденту советской разведки. Вторая, во главе с Ломакиным, временно отходила в глубь степей, ближе к Дону.

Вот уже две недели радиоцентр партизанской школы каждый день в назначенное время выходит на связь с Людмилой Крыловой. Но на условленной волне в эфире ни шороха, ни звука. Из побочных источников стало известно, что на железнодорожной ветке Пролетарская — Котельниково была предпринята попытка взорвать мост. Правда, мост уцелел, но движение по нему прервалось на всю ночь. На перегоне Котельниково— Абганерово были разобраны пути. Сошел с рельсов эшелон боеприпасов. Кроме того, в пути следования из штаба немецкого полка исчезли два офицера связи с важными донесениями.

В центре понимали, что все это делали партизанские группы, заброшенные в тыл врага в конце октября. Но почему они ничего не сообщают о себе, о своей дислокации, о своих операциях? Если у них вышла из строя рация, могли бы перебросить через линию фронта Крылову, а ей вручили бы другой передатчик. А может, она погибла в числе тех тринадцати, которых гитлеровцы расстреляли накануне праздника Октября? Может быть. Ведь ни один из тринадцати не назвал себя. Сколько ни мучили их гестаповцы, партизаны умерли безымянными. И среди них были женщины.

Об этом в разведцентре узнали от своего котельниковского резидента.

В это же время действиями партизан обеспокоилось немецкое командование. Оно усилило охрану железной дороги, мостов и дамб через степные речушки и балки. Специальным приказом для борьбы с партизанами был выделен крупный карательный отряд. На автомашинах и мотоциклах он с утра до ночи колесил по степным дорогам. Комендантам всех хуторов и сел, прилегающих к железной дороге, было приказано усилить наблюдение за местным населением, всех подозрительных задерживать и доставлять в главную комендатуру. В случае укрытия местными жителями неизвестных арестовывать тех и других и расстреливать или вешать без суда и следствия, сгоняя при этом на казнь всех хуторян от мала до велика.

Особенно лютовали враги с наступлением холодов. Морозы со снегом и ветрами рано пришли в Придонье. Уже в ночь на седьмое ноября снег покрыл кипенной простыней поля и дороги. Не имея возможности днем заходить в хутора и села, партизаны укрывались в глубоких балках, в землянках чабанов и кошарах отгонных пастбищ. Но ни теплая одежда, ни разминка, ни даже дневное яркое солнце не спасали людей от холода.

Зная от связных о движении преследователей, партизаны уходили все дальше и дальше к Дону. Холода, голод, переутомление и нечастые, но жестокие перестрелки с напавшими на след врагами безжалостно вырывали из партизанских отрядов одного за другим бойцов. Но удары народных мстителей становились все ощутимее для мелких гарнизонов. Когда немецкое командование поняло, что в степях действует не один партизанский отряд, а, по крайней мере, два или три, оно выделило дополнительно батальон карателей.

Начался жестокий поединок.

Но силы и возможности сторон были дале-

ко не равноценны. Все туже стягивалось кольцо карателей вокруг поредевшего отряда Ломакина.

В середине ноября после очередной стычки с отрядом румын, укрывшись в густых зарослях займища, Пимен Андреевич, серый из-за отросшей бороды, усталости и бессонных ночей, сказал:

— Если мы выманили из Котельниково батальон фрицев, нам самый раз рассыпаться по хуторам, кое-кому обосноваться в городе. Там есть наши люди. Свяжемся с ними и начнем действовать под носом у гитлеровцев.

Он подозвал Мишу, положил тяжелые ладони на его плечи и, глядя в похудевшее, светящееся, точно восковое, лицо мальчика, спросил:

— Сынок, можешь выполнить еще одно поручение?

— Зачем вы так, Пимен Андреевич?— нахмурился пионер. В его черных цыганских глазах загорелся злой огонек. — За кого вы меня принимаете? Я же боец.

Ломакин поглядел на стоящего Зиновия Афиногеновича. Тот молча кивнул давно не стриженной седой шевелюрой, одобряя поведение сына. И сам Ломакин досадливо вздохнул. Разве, когда напрашивался в крестные отцы и позже, катая Мишку на коне и повязывая ему красный галстук, или совсем недавно, уговаривая Добросердова зачислить Романова-младшего в партизанскую школу, разве думал старый буденновец увидеть его не таким? Разве хотел он, чтобы Миша сказал, что устал, ему нужна передышка? Нет. Так, действительно, зачем же он своим жалостливым тоном, своим вопросом обижает бойца?

— Пойдешь в Нагавскую,— вдруг твердо, с металлом в голосе проговорил Пимен Андреевич.— Разыщешь Неониллу Алпатову, трактористку, и передашь ей...

Ломакин сел на пень, достал из нагрудного кармана список партизан, вычеркнул из него фамилии тех, кого зарыли вчера в неглубоких ямах. Сложил листок четвертушкой и протянул Романову.

— Вот это. Она знает, что с ним делать...— Пимен Андреевич снова положил руки на плечи мальчика, с силой сдавил их.— Гляди, Мишутка, здесь все мы... Попадет к немцам этот список, не только нас не пощадят, но весь наш род под корень изведут...

От волнения, от счастья, что ему поручают такое дело, Миша потерял дар речи. Он только согласно кивал и свертывал заветный листок в тугую пластинку. Потом нагнулся и засунул его в разорванную подкладку ботинка.

— Два дня ждем тебя здесь,— напутствовал его Ломакин, провожая на опушку.—Если каратели нас разыщут, будем уходить к линии фронта, через Гашун на Заветное. В Киселевке есть связник. В Лобове тоже оставляли. Это тебе на всякий случай... А если паче чаяния... Пробирайся в Котельники... Базарную улицу знаешь... Так вот в конце ее каждый четверг будет наш человек. Может, знаешь его — Дмитрий Покорнов. Рыжий такой...

— Знаю,— сразу вспомнил замполита МТС по комсомолу Романов.— Он приезжал в колхоз. И еще увез в район Власову и Нарбекову...

— Вот, вот. Подойдешь к нему и скажешь: «Привет вам от нас». Ему передай все про нас. Может, он что-то сделает... Понял? Ну, тогда прощай, сынок.— Он обнял Мишу, трижды поцеловал его в холодные щеки и отошел в сторону, дав возможность проститься сыну с отцом.

Зиновий Афиногенович, сильно постаревший за эти месяцы, особенно за последние дни, глядел на сына с гордостью и печалью. Ведь во всех боях он был рядом с ним. Порой незаметно, чтобы не обидеть Мишу, при-

крывал его своим плечом. А когда сын уходил в разведку, Романов не находил себе места. И лишь снова увидев его в лагере живым и невредимым, преображался, веселел, вспоминал шутейные казацкие песни. Сколько раз за время вылазок и петляний по оврагам и балкам отец, глядя на сына, корил себя, что зря не оставил Мишу дома, возложил на его худые острые плечи непосильную ношу партизанских тягот. Оставаясь романтиком, Зиновий Афиногенович думал, что эта война будет не опасней гражданской. А вышло на поверку, что она и сложнее, и труднее.

Конечно, расчет врагов на то, что донские казаки встанут на сторону немцев, не оправдался. У оккупантов в полиции служат отдельные выродки. Что же касается большинства его земляков, они не пошли в услужение к врагу. Но помогать партизанам им было очень трудно. Полицаи и тыловые команды установили слежку почти за каждым домом...

Всякий раз, провожая Мишу на связь, отряд ждал, что он возвратится ни с чем. Но юный разведчик был везучим. Отлично зная места, он незаметно пробирался в нужный хутор, находил необходимого человека и приносил в отряд кроме сведений хлеб, сало, соль... Теперь отцу казалось, что все предыдущие вылазки сына были не такими опасными, как эта. Ведь он уходил, не имея при себе никаких бумаг, тем более оружия. Сегодня Пимен Андреевич разрешил Мише взять пистолет с двумя обоймами.

— Сынок,— тихо заговорил отец, когда они остались наедине.— Не учил я тебя никогда малодушию и теперь не хочу, чтобы ты сдрейфил. Но обстановка такая складывается, что, может, придется нам уйти из родных мест. Это я к тому, если вернешься и не застигнешь нас тут, ступай-ка ты, сынок, к матери. Старосте скажешь, что пробрался из эвакуации. Соскучился, мол, за мать, за

сестренок... И сиди вроде суслика в норе. Жди вестей от меня.

Мише в самом деле очень хотелось увидеть мать, сестер, братика. И он столько раз встречался с ними во сне, даже намекал отцу, чтобы тот разрешил ему сходить в Майоровский... И вот теперь отец сам предлагает ему вернуться домой. Но разве о такой встрече мечтал Миша? Нет. Он понимает, что уход его из отряда в это тяжелое время будет похож на предательство. Неужели отец не понимает, что Миша не может принять его предложение? Он же дал клятву, такую, как все. Там, в Астраханской партизанской школе.

— Если ты разрешишь,— твердо проговорил сын,— я схожу в Майоровский, узнаю, как там дома... Вовка, должно быть, уже сидеть умеет,— как можно беспечнее сказал Миша.

Ему не хотелось расстраивать отца. Он еще не проникся полностью чувством той большой тревоги за судьбу отряда, за свою судьбу, которой прониклись взрослые. Он по-мальчишески однозначно переносил временные неудачи отряда. Верил, что не сегодня-завтра над ним взойдет светлая заря удач. Они еще пустят под откос не один эшелон, разгромят вражеский гарнизон, уничтожат не одну сотню гитлеровских вояк. Как он ненавидел этих людей в зеленых шинелях, пришедших на его Дон насаждать «новый порядок». Об этом порядке было предостаточно написано в листовках, которые наводнили многие балки и овраги, сбитые туда степными ветрами. Каждый раз, беря в руки из-за любопытства листок, Миша думал об одном и том же: неужели находятся дураки, верящие Геббельсу? Он, Романов-младший, отлично знал цену «новому порядку». Тысячи голодных, полураздетых, обездоленных беженцев, сожженные дома, больницы, школы, колхозные и совхозные фермы, расстрелянные

в хуторах и станицах коммунисты и комсомольцы, жены и дети командиров и политработников Красной Армии... Какой же это порядок. Это же самый натуральный разбой. За него, будет время, фашисты ответят сполна. И за это Миша готов идти на любое задание...

Вот почему, сжимая руку отца, он сказал:

— Верь в мою удачу, папа. Я вернусь...

ОДИН НА ОДИН

Алпатова встретила юного разведчика как привидение, вернувшееся с того света. Услышав пароль, она долго стояла, в упор рассматривая изможденного, усталого мальчишку. А он, взглянув на ее густые круто изогнутые брови и большие сильные руки, сразу вспомнил, что видел Неониллу летом, когда Баннов приезжал за Власовой и Нарбековой.

— Неужели вы еще живы?— не верила девушка, разглаживая горячими руками черные свалявшиеся волосы пришельца.— Ах, брехуны несчастные,— погрозила она кому-то за окном.— Вчера согнали всех, и полицай объявил, что в степи между Захаровым и Семичным хуторами каратели уничтожили последний партизанский отряд. А вы, выходит, живы и здоровы. А ко мне сегодня наведывался один... Служит в комендатуре переводчиком. Но странный какой-то. То утречком, то вечерком заглянет, к чаю свой сахар и конфеты принесет... Два раза пропуск в Котельниково давал, а сегодня сказал, что под Сталинградом, должно быть, немцы поскользнулись.

— Правда?— подскочил Миша.

— Не знаю, верить ему или нет. А еще сказал, что немцы в Терновой балке склад боеприпасов устроили.

— Так давайте проверим,— предложил Миша.— Это ж рядом.

— Вот пойду в Котельники с твоей бумагой и проверю,— пообещала Неонилла.— А ты ешь и полезай в погреб. Там у меня ниша сделана. Дам тебе одеяло, подушку. Мигом сбегаю в комендатуру за пропуском... Утром отправлюсь.

Но утра ждать не пришлось. Едва Неонилла закатала в тесто Мишину бумагу, поставила хлеб в печь и закрыла загнеткой, как в дверь по-хозяйски застучали. Миша кинулся к крышке погреба, но голос за дверью предупредил:

— Нила! С племянником пироги ешь?

У Алпатовой безвольно опустились руки. Она метнулась к двери, прошептав:

— Он самый. Выследил...

Но тут же на ее бледном лице появилась наигранная беззаботность и веселость. Она дрожащей рукой откинула крючок, певуче приговаривая:

— И вас милости просим.

В комнату вошел молодой высокий мужчина в ладно сидящем белом полушубке, меховом треухе, чесанках. Не ожидая приглашения, шагнул к столу, за которым сидел Миша, и, в упор разглядев гостя Алпатовой, потянул воздух широкими ноздрями. В комнате пахло печеным тестом.

— Садитесь, господин офицер,— ласково пригласила незваного гостя девушка и тут же осеклась:— Простите, Николай Иванович.

Пришедший, сказав «то-то», неторопливо повесил свою одежду на гвоздь возле двери и, расчесав русые густые волосы, подошел к Мише.

— А вы следите за мной, что ли?— наивно спросила Неонилла, пододвигая гостю табуретку.

— Слежу,— принимая ее игривый тон, ответил переводчик.— Ты женщина одинокая, красивая. Я парень холостой и собой вроде тоже ничего.— Он поглядел в зеркало.— Может, еще и договоримся насчет пилки-колки

дров... А ты племянничков принимаешь втихаря...

— Ну, он-то вам не соперник,— засмеялась Алпатова.

— Теперь вижу,— согласился пришедший, удобно усаживаясь на крепкой табуретке.

Разговаривая с Неониллой, он часто глядел на Мишу, казалось, хотел без вопросов определить, что это за парнишка. Но Романов сосредоточенно чистил картошку и, густо соля ее, не спеша откусывал, изредка вскидывая вопрошающие глаза на хозяйку и пришельца. Слушая их настороженно-непринужденный разговор, где за каждой фразой, даже словом что-то скрывалось, недоговаривалось, намекалось, Миша лихорадочно думал, что он может сделать, если переводчик из комендатуры захочет отведать новоиспеченного хлеба. Его пистолет, завернутый в старое тряпье, лежал возле помойного ведра... Если подойти туда и начать рыться в тряпье, он может почувствовать что-то неладное. А если кочергой?.. И связная ведет себя странно... Почему не предупредила, что за ее домом слежка?

— Серьезный у тебя племянник, Нила. А может, он глухонемой? — игриво приподнял белесые прямые брови мужчина.

— С перепугу,— снисходительно улыбнулась девушка.— Поел, что ли?— спросила она и выразительно глянула на мальчика, незаметно поведя бровью в сторону горницы. Романов, с трудом глотая картошку, кивнул.— Ну тогда ступай и ложись,— подчеркнуто строго скомандовала Алпатова.

— Погоди,— приказал то ли хозяйке, то ли Мише переводчик.— Ты племяннику про Терновую балку сказала?

— Что вы, господин... Николай Иванович!..

В больших глазах Неониллы застыл неподдельный испуг. «Проклятая вражина,— думала она с ненавистью.— Неужто умеет читать чужие мысли?» Она перевела взгляд на Ми-

шу. Тот стоял, не выражая ни удивления, ни страха. «Умеет держаться»,— одобрительно подумала Алпатова.

— По глазам вижу, что поделилась новостью,— поднялся гость.— Не умеешь ты врать, Нила. И наигрыш твой, и неурочные хлебы в печи — все это липа. Взгляни на своего племянника. Он держится куда спокойнее. А ты словно из огня выскочила.

Мужчина подсел к Мише, доверчиво глядя на него, сказал:

— Я не спрашиваю, кто ты и что ты... И никто тебя не выследил. Прежде чем постучать, я глянул в щелку в ставне... Понял? У меня опыта побольше, чем у вас обоих. Кто я и что, я тебе тоже сказать не могу. Но передай своему дяде, что переводчик Бойко...

— Какому дяде?— набычился Миша.

— Ну, тете, если тебе это больше нравится.

— Какой еще тете?— наивно поглядел на Бойко юный разведчик.

— Своей родной тете... Передай, что под Сталинградом что-то произошло. Пока командование вермахта это держит в секрете. Но не «рус капут», а скорее наоборот. Через пару-тройку деньков будет точно известно. И если «это» началось, передай своим родственникам, что надо действовать смелее... Мелкими группами вряд ли что сделаешь,— как бы про себя размышлял переводчик.— Необходимо объединиться в крупные отряды... Ты когда возвратишься домой?

— Завтра,— ответила за Мишу Неонилла.— У него мать сильно хворает. Я утром в Котельники съезжу, лекарство выменяю... Вот и хлеб для этого пеку... Сало приготовила, десяток яичек. Хотела к вам за пропуском бежать...

— Поедем вместе,— предложил Бойко.— И не утром, а сейчас. У меня срочное дело в Котельниково. Хлеба-то, небось, готовы... Пойду заложу сани. Надо спешить. А ты жди

нас здесь. Без особой нужды не высовывайся, но, в случае чего, скажешь, что караулишь дом по приказу Бойко.

Бесконечностью для Романова тянулось время. Глядя на циферблат старых мерно постукивающих ходиков, нередко ловил себя на мысли, что они нарочно очень медленно передвигают стрелки. Он несколько раз принимался думать о Бойко. Ему хотелось отгадать, почему так странно ведет себя этот переводчик военной комендатуры. Может, он надеется воспользоваться малолетством одного и неопытностью другой, выведать у них все возможное о партизанах, а потом передать их гестаповцам? А может, он наш разведчик и сидит в комендатуре по заданию командования? Может быть, в разговоре он называл пароль, но Миша не знает его, и Бойко не стал открываться.

А его сообщение о Сталинграде! Когда он говорил, что, наверное, началось «это самое», то в голосе угадывалась радость. И для чего он рассуждал о соединении партизанских сил? Может, для того, чтобы легче было разгромить их? Ну, а склад боеприпасов в Терновой балке?— спорил сам с собой Романов.— Это же легко проверить. Балка отсюда километрах в двенадцати... Если туда мотнуться, часа за два можно управиться...

Миша понял, что он не может не проверить сообщение Бойко. И это неотвратимое желание сейчас же сходить к Терновой балке победило. Он быстро оделся и вышел во двор. Оборванный, исхудалый, он был похож на сотни вездесущих хуторских мальчишек и вряд ли мог вызвать у кого-то интерес. За эти недели Миша уже много раз выходил на дороги, присоединялся к беженцам, заходил в хаты, выпрашивая корочку хлеба или картофелину. Всюду на него смотрели с состраданием и жалостью и делились последним куском. «Ну, а вдруг тебя задержат?— спросил он себя, навешивая замок на дверь.— Скажу, что

по заданию Бойко иду в Майоровский хутор».

Однако никто его не остановил и ни о чем не спросил. Насколько он помнит, через балку был когда-то мост. Значит, ему не нужно сворачивать с большака. Если Бойко провокатор, то в балке его никто не остановит. А если его сообщение не ложное, там непременно будет охрана, особенно на мосту.

Подгоняемый морозным ветром, Миша то легкой трусцой, то торопливым шагом, а то и спринтерским бегом приближался к балке, незаметно оглядывая прилегающие поля и ложбины. Изредка навстречу ему попадались подводы, на которых сидели угрюмые солдаты, закутанные в одеяла и пледы, похожие на большие платки. В подводах были мешки, ящики, стожки прошлогодней соломы. При встрече Миша глубже втягивал голову в плечи, отчего казался еще меньше и тщедушнее.

Через полчаса его догнала колонна грузовиков, кузова которых были до отказа забиты большими ящиками. Рессоры колес глубоко прогибались. Ясно, что везут нелегкий груз. Но куда? Может быть, на станцию? И Миша припустил во всю прыть. Ему хотелось не отстать от грузовиков, проследить, куда они свернут? Но машины, несмотря на кажущуюся медлительность, очень быстро взобрались на взгорок и скоро исчезли.

Когда Миша поднялся на гребень, грузовики уже перевалили за другой. В лощине Романова догнали сани, запряженные парой битюгов. От лошадей валил пар, с губ летели густые ошметки пены. В санях сидели двое здоровых мужиков. У одного на рукаве синего пальто белела повязка полицейского. Осадив лошадей, полицай спросил:

— Куда торопишься, цыганенок?

— В Майоровский,— остановился Миша, пропуская сани.

— А бумага на передвижение у тебя имеется?

— Нет,— тихо и жалостливо проговорил Романов.— Мне господин Бойко разрешил... Я к старосте...

— К Захарову? — уточнил полицейский.— Тогда садись, подвезем. Мы, кстати, тоже к Фокичу.

— Да я так дойду,— попытался отказаться от назойливого полицейского пионер.

— Не дойдешь,— проворчал второй седок.— У Терновой балки все равно завернут. Садись.

Мише ничего не оставалось, как воспользоваться настойчивым приглашением мужчин. Он сел между ними, отвернувшись от встречного ветра, и, лихорадочно обдумывая ответы, приготовился к вопросам. Но полицейский, от которого сильно разило самогоном, молча кинул на ботинки мальчика кусок старой попоны и, обращаясь к вознице, продолжал прерванный рассказ о вчерашней гулянке. Прикрыв ноги и плотнее привалясь к охапке сена, Миша думал о том, что он при встрече скажет Ивану Фокичу Захарову. А что старостой стал именно он, Романов узнал еще в октябре. Выходит, прав был Сергей Иванович, называя своего помощника недобитой контрой. Но, с другой стороны, пока что ведет себя вполне лояльно, и потому партизаны его не трогают.

«Скажу, что надоело скитаться за Волгой, решил домой вернуться. А еще лучше не показываться ему на глаза. Покрутиться возле конторы да сбежать. Лучше ли? Ведь эти предатели скажут, что везли парнишку от господина Бойко. Обрисуют личность. Догадается Захаров, кто ехал к нему. Как бы матери от этого худо не было. Да и Бойко можно подвести. Ладно,— решил Миша.— Погляжу, как встретит, а там решу, что делать».

Возле моста через Терновую балку сани остановил немецкий патруль. Офицер в длиннополой зеленой шинели с меховым воротником подошел к полицейскому и молча протянул руку, требуя предъявить документ. Мужчина достал бумагу, передал ее офицеру. Тот бегло

взглянул на удостоверение, на седоков и сказал, точно гавкнул;

— Шнель, шнель...

И снова по мерзлой земле дробно застучали копыта лошадей. Миша с облегчением вздохнул, когда сани, миновав мост, поднялись на взгорок. Отсюда ему хорошо было видно, что на дне балки длинными высокими штабелями протянулись ящики. Тут же стояли грузовики, которые перегнали его. Солдаты торопливо разгружали их.

Вот и околица родного хутора. Миша, прикрыв попоной лицо, во все глаза глядел на знакомую улицу.

Хутор вроде цел. Но это было первое и, как очень скоро убедился Романов, обманчивое впечатление. Черные бугры протянулись вдоль пруда на том месте, где всего три месяца назад стояли коровники, телятники, ветеринарный пункт, силосная башня. Между школой и амбулаторией тоже темнел пустырь. Не отыскал глазами Миша дома, где жил председатель колхоза, но больше всего Мишу огорчало отсутствие клуба. На его месте даже черного бурта пепелища не было видно, словно кто-то гигантским утюгом разгладил эту площадь.

Романов встречал подобные картины в других хуторах и станицах. И тогда у него гневно стучало юное сердце. Но то, что испытал он, въехав в родной хутор, Миша не испытывал никогда. «Стрелять, давить, душить гадов!» — клокотало в голове и сердце одно желание. Он готовился к самому страшному — увидеть груду обгорелых стропил или серого пепла на месте их хаты. От нетерпения скорее увидеть свое подворье Миша даже забыл на какой-то миг об опасности, вытянул шею, приподнялся... Стоит! Стоит их мазанка! Над крышей вьется коловоротом жидкая струйка дыма. Словно его горечь долетела до саней и попала Мише в глаза; они затуманились слезой. Как хотелось вскочить и напрямую через

заснеженные ухабы броситься к родному очагу, обнять маму, сестренок... А может, это фрицы топят печь, а мамы и сестричек там давно нет? И щемящая боль снова сдавила сердце мальчика. Нет, успокоил он себя, оккупанты топку не жалеют.

Вон школа. Никто в ней не учится. Там живут немцы. Вокруг стоят машины, повозки. Лошади жуют сено. Одна внимательно поглядела на сани. Белая, стройная, похожая на Колумба. Где теперь Наталья Леонтьевна, где Сергей Иванович?

— Ну, цыганенок, выгружайся,— пригласил Мишу полицейский.— Пойдем к Фокичу. Может, он тебя в самом деле признает.

Романов почувствовал, как в ноги ему будто вставили железные прутья, а все тело налилось неподъемным свинцовым грузом. Что скажет Захаров, увидев его, и что он — старосте? Сделал тяжелый шаг к крыльцу и радостно остановился, пораженный вывеской. Старая, черно-серебряная, с отлетевшей по углам краской, она висела на прежнем месте и гласила: «Правление колхоза «Красный партизан» Котельниковского района Сталинградской области». А над буквами — красно-золотой герб РСФСР.

Прочитав знакомую надпись, Миша немного успокоился и уже веселее поднимался на крыльцо, будто готовясь войти в родной дом.

За те месяцы, пока Романов не видел Захарова, тот мало изменился. Лицо усталое, хмурое, обросшее пегой щетиной, на продолговатой голове серая копешка волос. Жилистые длинные руки нервно перекидывались по столу, хватая то телефонную трубку, то портсигар, то карандаш. Перед столом стояли двое полицейских. Они что-то докладывали старосте вполголоса.

Увидя приехавших, он вышел из-за стола, протянул руку гостю и, близоруко сощурившись, глянул на Мишу. На хмуром лице мелькнуло подобие улыбки.

— Малец-то продрог в степи,— ласково сказал Захаров.— Садись к печке...

— Говорит, от господина Бойки,— представил попутчика полицейский.

— Знаю, знаю,— засуетился старик, снова садясь в свое кресло.— А ты с чем?

— С разнарядкой. Вот. Хлеб, фураж, мясо.

Староста мельком глянул на бумаги, и нижняя губа его отвисла.

— Они что там, чокнутые? — зло поглядел на полицая, словно тот определил количество продукции, необходимой для вывозки.— В прошлый раз все выгребли.

— Ну-ну, поговори, Фокич,— снисходительно улыбнулся приезжий.— Может, полегчает. А я поехал дальше. В Семичный... К завтраму обоз чтоб был готов. Весь район везет.

— Тьфу,— смачно плюнул Захаров вслед ушедшему.— Дармоеды чертовы. Пришел, самогонищем навонял.

Он открыл форточку, запер на ключ дверь и только теперь кротко взглянул на Мишу. Были в этом взгляде и невысказанная боль, и жалость к исхудалому, оборванному мальчишке, и укор тем, кто довел его, Захарова, и весь хутор до такой жизни.

— Зачем же ты появился, Миня?

— К маме захотел,— попытался всхлипнуть Миша.

— Нельзя тебе туда,— испуганно протянул к нему руки староста.— За домами всех коммунистов установлен надзор. Живы ваши, здоровы. И не губи ты их. Отец-то как?

— Ничего. Живет, работает.

Захаров исподлобья глянул на Романова. И Миша понял по его взгляду, что Иван Фокич знает, где «работает» отец. А может, хочет узнать? Спросит или нет? Староста подошел к столу, взял портсигар, щелкнул крышкой. Потом, словно вспомнив что-то очень важное, полез в ящик председательского стола, вынул кисет, набитый самосадом, и протянул его Мише. Мальчик сразу узнал этот ки-

сет. Сколько раз он видел, как старик Конев доставал из него табак для своей прокуренной трубки.

— А где Сергей Иванович? — напружинился Романов, предчувствуя беду.

— Царство ему небесное,— перекрестился Захаров.— Во рве, в степи... Его и девчаток...

— Каких девчаток? — вскочил Миша, боясь услышать знакомые фамилии.

— Учительшу твою, Власову.

— Наталью Леонтьевну? — пораженный страшным известием, закусил губы Романов.

— Ее, Миня, ее...— словно пономарь, пропел староста.— И Феню Нарбекову. Да,— спохватился Захаров, открывая верхний ящик стола.— Вот еще письмо. При обыске у Власовой нашли... Думали, шифр какой... На, пригодится, может.

Миша взял тетрадный листок и сразу по красным округленным буквам узнал почерк Лики Королевой. Он хотел сунуть письмо в карман пальто, но оно будто требовало, чтобы его прочли немедленно, точно от этого зависело все дальнейшее в жизни пионера. Лика извинялась за долгое молчание. Оказывается, она с мамой эвакуировалась в Среднюю Азию. Вернулась недавно, хотела на лето приехать в Котельниково, но снова помешали фашисты. Девочка писала, что всех-всех из четвертого «А» она помнит. Ага, вот строчка, ради которой он стал читать письмо: «Дорогой Миша, а тебя я не забуду никогда. Верю, что мы еще встретимся, и тогда я все-все тебе расскажу».

Худое лицо мальчишки посветлело... Королева его помнит! Как только они управятся с фашистами, он немедленно ответит ей, пригласит в родной хутор... Жаль, не увидит Лика больше Натку... Миша хмуро глянул на Захарова.

— Твоя работа? Тогда лошадей, а теперь их,— сейчас впервые Миша пожалел, что оставил пистолет у Алпатовой.

Серое лицо Захарова побелело, щеки нервно задергались. В нем боролись два желания — передать мальчишку гестапо и другое — через него заранее вымолить у партизан прощение. Захаров был благоразумным человеком. Особенно после только что полученного сообщения из-под Сталинграда.

— Как перед богом, клянусь перед тобой,— с дрожью в голосе произнес он,— нет тут моего греха... Сами они по-глупому попались. Оказывается, они связь держали с краснoярской учительшей Клавдией Сердобинцевой.

Трясущимися руками Захаров открыл портсигар, достал сигарету, прикурил и, торопливо глотая дым, скороговоркой начал бормотать:

— Нельзя тебе дольше здесь.. Пойдем, задворками провожу...

— Куда? — вскинул голову Миша.

— Ты же от господина Бойки приехал. Туда и вертайся... И с Бойкой этим будь поосторожнее. Дюже непонятный он какой-то...

Захаров открыл дверь, словно сурок из норы, выглянул в приемную. Убедившись, что она пустая, шмыгнул в коридор, маня за собой Мишу. Длинная крытая веранда имела два выхода — на улицу и во двор. Захаров указал Мише на черный ход.

— Иди будто в уборную. Я тебя догоню. Лицо прикрой.

Миша шел за сарай, где до войны стояла автомашина, был сложен пожарный инвентарь, шел и думал о том, что хутор стал наполовину пустым для него. Потом он поймал себя на мысли, что Захаров проводил его в ловушку. Сам сейчас позовет полицая или немца... Кажется, нет, за его спиной хрустит, точно капустный лист, снег под валенками старосты. За сараем, боязливо оглянувшись во все стороны, Захаров рассказал, как погибли Мишины друзья.

— Переправляли они через линию фронта окруженцев да беглых из лагерей военно-

пленных. И все у них складно получалось. Да кто-то, видать, приметил, как Клавдия из-за Дона перевозила двоих. Сразу ее не взяли, а, пока она провожала беглецов, сделали в ее хате обыск. Нашли дневник, а там что только про немецкие войска не прописано. И про то, как она помогала нашим... Говорят, пытали ее зверски. Но, видать, сильная духом оказалась дивчина. Молча вынесла все муки. Перед расстрелом только просила глаза не завязывать... Ну, ее подопечные спокойно добрались до нужного адреса. Не знали, что за ними хвост... В доме Нарбековой их и накрыли. Посадили всех в хранилище до утра. А старый дурень-то, Сергей Иванович, решил их освободить. Достал свою берданку и пошел. Подобрался незаметно. Часового прикладом уложил. А ключа при нем не оказалось. Начал он сбивать замок. Тут его и схватили. И утра ждать не стали... Вывезли всех пятерых в ров, который мы для обороны копали, и там...

Поведав страшную историю, Захаров точно почувствовал облегчение. И, чтобы усилить впечатление о своей непричастности, уже спокойно добавил:

— И меня, как на грех, в хуторе не было. В Котельники обоз отправлял.

Он заискивающе глянул на мальчика: поверил ли? Стоит, как каменный. Лишь в уголках черных больших глаз дрожат крупные слезинки, готовые вот-вот упасть.

— И завтра, слыхал, опять обоз приказано отправлять...

— А где их похоронили? — спросил Миша, направляясь к старому саду.

— Точно не знаю. Но прямо за базами. После разыщем. Теперь уж скоро. Слыхал небось, что под Сталинградом у немца, должно, пупок развязывается?

— Да болтали те двое...

— Лютует вражина. Все подчистую метет.— Он оглянулся и приблизился к мальчи-

ку. Миша чувствовал, что Захаров хочет что-то еще сказать. Но не решается, боится.

— Что еще? — поторопил его разведчик.

Захаров тяжело вздохнул и попросил:

— Отцу передай, что, мол, Фокич не за совесть служит немцам, а за страх. Как я — репрессированный Советской властью, меня и назначили.— Старик горько усмехнулся.— Думал — вернут мне табуны, угодья... А они кукиш с маслом показали... Ну, пойдем на дорогу. Подсажу тебя на попутную. И больше, Христом-богом прошу, не объявляйся тут.

...Соскочив с саней возле церкви, Миша незаметно пробрался во двор Алпатовой. Глянул — замок на двери. Облегченно вздохнув, побежал, открыл, юркнул в теплую избу. Здесь все еще не выветрился дух печеного хлеба. Быстро разделся. Пальто и шапку бросил на лежанку. Ботинки оставил у порога. Открыл загнетку, протянул туда красные от холода руки. Глянул на черные угольки в серой золе, и голову заполнили печальные мысли: вот такими же безжизненными лежат где-то в земле его прекрасные товарищи. В жуткой тишине темной комнаты ему чудилось, что вошли они все трое и молча стоят за его спиной. Он не хочет поворачивать головы. Он боится, что видение исчезнет. А ему так хочется побыть с ними, поговорить... Должна же Натка знать, что ее пионер Михаил Романов, как и обещал, держит равнение на зарю. Мальчик смотрит на угольки и говорит с сожалением:

— Обещала встретиться лет через сто...

— И встретились,— неслышно отвечает невидимая Наталья Леонтьевна.— Люди будут жить долго-долго и всегда будут помнить войну, а значит, и нас. Всех, кто боролся с фашистами, не жалея ни крови своей, ни самой жизни... Всех, кто по тревоге встал под красные знамена революции...

Как хорошо и волнующе умеет говорить Наталья Леонтьевна. Он бы слушал ее бес-

конечно. Но что это? Она собирается уходить. Он слышит, как хлопает дверь в сенях. Миша оглянулся. Крючок откинут. Неужели он забыл запереться? Осторожные шаги. Тихо открывается дверь, и Неонилла тревожно спрашивает:

— Миша, ты здесь?

— Здесь,— негромко отвечает Романов, идя навстречу хозяйке.

Алпатова устало опустилась на лавку, откинула на плечи пуховую шаль и незнакомым, дрожащим голосом начала укорять разведчика:

— Что же ты делаешь, Миша. Шальная головушка... Все бы я тебе сама сказала... Хорошо, Захаров остановил нас, упросил Бойко отвезти в комендатуру бумаги и про тебя шепнул.

— Я ему не сказал, откуда пришел,— осознавая свою вину, слабо защищался Миша.

— Только этого еще не хватало. Ну, вот что,— Алпатова поднялась, достала с печки одежду Романова.— Собирайся. И скажи Пимену, чтоб больше ко мне связных не присылал. Уходим мы...

— А пропуска? — спросил Миша, снимая с вешалки пальто.

— Там не до аусвайсов... Электростанцию подпольщики взорвали. Я мельком видела Злого... Ну, нашего Диму. Он мне шепнул. Передай Пимену, что подпольщики будут выходить на вас... Вот еще что... Скажи про Терновую балку. Но туда не суйтесь. Там охрана капитальная. Бойко в Котельниках сообщил кому надо про склад. Сегодня в полночь должны прилететь наши соколы. А если нет, мы сами управимся.

— А уходите с ним? — кивнул юный разведчик головой в сторону двери, давая понять, кого он имеет в виду.

— С ним,— подтвердила Алпатова, стараясь скрыть какую-то непонятную для Миши радость.

— Так все же кто он? — с нескрываемым детским любопытством спросил Романов.

— Пока я тебе ничего не могу сказать,— откровенно призналась Неонилла и тут же, испугавшись, что оскорбила связного недоверием, быстро добавила: — Честно говорю, не знаю, но думаю, что хороший человек. Уж во всяком случае не такой продажный, как Захаров. И нашим, и вашим... Передай Пимену, наверное, действительно что-то случилось под Сталинградом. Теперь они все резервы туда погонят... В Котельниках ужас что творится. Сегодня утром должны были эшелоны отправить, а паровоз вывели из строя... Говорят, что там действует подпольная группа. Я так думаю, что это наш Дима орудует...

ДНИ СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

Алпатова не ошиблась. Подпольная группа Дмитрия Покорнова, на связь с которой Неонилле так и не удалось выйти, не только сохранилась, но и действовала, выполняя приказ командования и комсомольскую клятву.

Как уговаривались, юные подпольщики должны были встречаться каждый четверг в тупике улицы Базарной до наступления комендантского часа. На связь выходили или сам Дмитрий, или его боевой друг Андрей Мельников. Болезненного вида, более чем худой, он смахивал на несмышленого подростка и потому никогда не привлекал внимания патрулей или полевой жандармерии. Но если бы враги знали, что Мельников был одним из лучших учеников школы, победителем районных олимпиад юных физиков, если бы они догадались, что весь его внешний вид — это ловкая маскировка, за которой искусно скрывается умная голова, отважное сердце, умеющие многое делать рабочие руки, давно они нашли бы ему место не в тюрьме Котельниковской управы, а в гестаповских застенках

станции Ремонтной, откуда, как уверяют друг друга земляки, еще никто не вернулся из тех, кого отправили, заподозрив в связях с партизанами или подпольщиками. Ни в первый, ни во второй четверг никто не вышел на связь. Сначала это не только волновало, тревожило, но даже пугало Покорнова. «Неужели среди отобранных оказался предатель?» — мучительно думал Дмитрий, всякий раз озираясь по сторонам, когда приходил в конец улицы. Но, убедившись в том, что его не только не схватили, но даже за ним не установлена персональная слежка, секретарь подпольного райкома комсомола стал думать, как дальше жить, бороться... Август был на исходе, а казалось, что лишь вступил в свою силу июль,— такая невыносимая духота давила выжженную войной и солнцем землю. Даже ночью не чувствовалось, чтобы прохлада хоть чуть-чуть остудила накалившиеся за день стены домов и булыжник мостовых. Густая бурая пыль, словно маскировочная сетка, висела над городом, над дорогами. Таким свое небо помнили котельниковцы лишь в годы небывалых урожаев, когда денно и нощно возили из колхозов и совхозов хлеб на пристанционный элеватор. Но то была пыль большого радостного труда. И она не раздражала, не пугала. А эта, нависшая сумраком от бесконечного движения боевой техники, обозов и армейских колонн оккупантов, казалась зловещим предзнаменованием. Люди не чаяли, когда же над их головами заклубятся, повиснут дождевые тучи, которые прибьют пыль, напоят землю, остудят хоть немножко городские улицы.

Но дождя не было, как не было ни связных, ни обнадеживающей сводки с фронта. Из сообщений немецкого командования, из приказов машинистов котельниковцы знали лишь о том, что бои идут в Сталинграде, где фашистам удалось в нескольких местах выйти к берегу Волги.

Не хотелось верить ни одному слову этих сведений. Сердце сжималось от безысходной тоски, от безвестности. Неужели Сталинград падет, неужели враги переправятся через великую русскую реку, которую со времен Чингиз-хана ни один недруг не переплывал с оружием в руках? Этой тревожной мыслью теперь начинался для Дмитрия Покорнова каждый новый день. Ею же он и заканчивался. Что можно противопоставить врагу в таких условиях? Чем помочь Красной Армии? Пойти на отчаянный риск, одному выйти на диверсию? Поджечь автомашину, бросить бутылку с керосином в окно комендатуры, наконец, подкараулить в каком-нибудь глухом переулке немца и убить его? Десятки вариантов крутились в голове Дмитрия. Но, поразмыслив, прокрутив все эти варианты, Покорнов каждый раз останавливал себя от подобного шага. Не потому, что боялся собственной смерти, а потому, что понимал: неналаженное к действию подполье так и погибнет в зародыше. И он снова искал выход из создавшейся ситуации. Видел его Дмитрий прежде всего во встрече хотя бы с одним-единственным подпольщиком. Для такой встречи нужен был предлог, причина, не позволявшие заподозрить его, а, главное, не подвести под подозрение товарищей.

Он решил пойти на биржу труда. Там, по рассказам матери, собираются котельниковцы и эвакуированные, не успевшие выехать в глубокий тыл. Там он мог случайно встретить кого-нибудь из недавних друзей, товарищей. Не обязательно подпольщиков. Кого угодно. И через них разузнать о судьбе интересующих его людей. Но тут была значительная доля риска. Не того, что кто-то из притаившихся гадов узнает комсомольского вожака местных механизаторов и выдаст его. Об этом Покорнов как раз думал меньше всего. Хотя, конечно, никто не мог гарантировать ему стопроцентную безопасность. Но по-настоящему

его пугали повальные облавы на молодежь. Каратели, полицаи уже делали такие забродыпо всем улицам города. И схваченные, физически здоровые парни и девушки незамедлительно отправлялись на принудительные работы в самом городе, на шахты Донбасса, на заводы в фольксверки далекой и проклятой Германии. Брали бы из тех, кто приходит на биржу труда. Так нет. Ловят людей, как зайцев. Тут немцы преследуют две выгоды, объяснила сыну мать. Во-первых, во время облавы, как правило, хватают молодых, крепких и здоровых, а на биржу обычно приходят люди пожилые, обремененные семьями, изголодавшиеся, потерявшие надежду на лучшее будущее. Во-первых, оформившимся на бирже германские власти вынуждены платить марки и давать пусть скудный, но паек, а схваченным во время облавы предъявляется криминал: нарушил один из параграфов приказа коменданта, не зарегистрировался в управе, не встал на учет в комендатуре, вышел после положенного часа на улицу, не имея пропуск, скрыл свою принадлежность . к комсомолу, к Советам, к общественным организациям. Нарушителем нового порядка отправка на работу должна восприниматься как избавление от пули, виселицы или концлагеря.

Перспектива схваченного никак не устраивала Покорнова. И все-таки другого выхода он не видел, а потому, принарядившись в старый отцовский железнодорожный китель и надвинув на самые глаза козырек фуражки, Дмитрий направился к центру, где возле городской управы, в переулке, разместилась ненавистная биржа.

«Если никого не встречу, буду проситься на работу в депо,— думал Покорнов.— Пусть в одиночку, пусть как смогу, но там помешаю врагам больше, чем где-то в другом месте». Когда принял решение, шагать стало легче, и на мир он уже глядел не зло, не пугливо, а так, словно видел все окружающее

в первый раз. А ведь хорошо известно, что первое впечатление самое яркое и самое памятное. Наверно, поэтому ему надолго запомнился портрет фюрера над трибуной центральной площади. Адольф ехидно улыбался, жестом провожая своих соотечественников на восток. В этом жесте Дмитрий вдруг уловил не силу вождя, а отчаяние маньяка. И улыбка ему теперь казалась улыбкой Мефистофеля, отлично знающего, какой трагедией обернется его авантюра. Запомнил большое полотнище флага гитлеровской Германии, повисшее над крышей городской управы. Запомнил потому, что в это время вновь вспомнил о красном знамени МТС, которое он в тайне от всех, даже самых близких, надежно спрятал в нише своего погреба. Дмитрий мысленно даже представил, как он, сбросив эту красно-черную тряпку к ногам ликующей толпы, водрузит над крышей горсовета наше родное красное знамя. Никогда не забыть Покорнову обгоревшую кирпичную стену кинобудки райклуба и возле нее лежащие на пепелище трупы двух мужчин и женщины. В то утро Дмитрий не знал, да и не мог знать, что гитлеровские головорезы за короткое время оккупации расстреляют, повесят, замучают в своих застенках почти триста мирных жителей и угонят в рабство к себе в Германию около шестисот его земляков.

Дмитрий задержался на какое-то мгновение у развалин клуба, словно смахивая с лица плывущую паутину, поднял кулак в знакомом жесте немецких коммунистов-ротфронтовцев и едва слышно сказал:

— Отомстим.

Он был почти у самой биржи, когда ему повстречался Мельников. Андрей после школы уже успел поработать электросварщиком. В армию, как он ни просился, его не взяли: состояние здоровья парня вызывало тревогу у близких. Эвакуироваться из города наотрез отказался. В тот памятный вечер он пришел

в райком комсомола и решительно заявил Покорнову: если его не зачислят бойцом, связным, кем угодно в состав подпольного отряда, он сам, один, будет воевать против фашистов. Помня Мельникова еще по школе как ярого борца за справедливость, Дмитрий без колебаний принял его в состав группы. Он дал ему кличку «Василек» — глаза у парня, когда он радовался чему-нибудь, напоминали яркие полевые цветы. Выходя на связь к сапожной мастерской, Андрей должен был откликаться на пароль «Чайка».

Сейчас он тоже обрадовался встрече. Они едва сдержались, чтобы не кинуться друг другу в объятия. Но, соблюдая конспирацию, обменялись лишь паролями.

— Куда идешь? — поинтересовался Покорнов, думая, что Андрей тоже потерял всякую надежду на связных и теперь направляется к бирже труда. Но оказалось, что Мельников уже третий день ходит по этой улице, имея в кармане паяльник, кусочек канифоли и оловянных солдатиков из набора детских игрушек. С помощью этого нехитрого инвентаря он чинит прохудившиеся чайники и кастрюли. Дело по нынешним временам прибыльное, а главное, дает возможность днем безбоязненно ходить по всему городу.

— Так что беру тебя в компаньоны,— весело блестя голубыми глазами, предложил Мельников.

— Согласен,— оценил тотчас все преимущества такой артели Покорнов.— Но это только полдела. Нам нужно устроиться на работу, чтобы иметь постоянный пропуск и на ночное время...

— Только депо работает круглосуточно,— в момент уточнил Андрей.

— Значит, идем наниматься в депо,— предложил Дмитрий.

— А если узнают, кто ты, и схватят? — насторожился Мельников. И его сухощавое бледное лицо, кажется, еще больше побледнело:

ему не хотелось, чтобы так неожиданно и так нелепо закончилось их боевое подпольное содружество.

— Бог не выдаст, свинья не съест,— попытался успокоить своего юного соратника Покорнов.— Я же агент Госстраха.

Сегодня, очевидно, выдался такой счастливый день. Потому что они наконец встретились и с первых минут прониклись друг к другу той особой юношеской симпатией, которая остается в человеке на всю последующую жизнь, в каких бы чинах они потом ни ходили. Еще потому, что их стало уже двое и можно наметить какую-то первую диверсионную операцию. И главное, что на бирже им крепко повезло: двух молодых добровольцев со средним образованием сразу направили на работу в депо, где кроме физической силы требовались определенные знания. Правда, Андрей не сказал, что знаком с электросваркой. Но для биржевого чиновника оказалось достаточно и того, что они оба хорошо разбираются в технике.

— Сначала вы себя должны проявить на подсобной работе,— назидательно говорил им инженер.— Потом мы переведем вас на более ответственную должность. И соответственно улучшим паек и увеличим количество марок. Знайте, молодые люди, что великая Германия умеет по достоинству оценить патриотические чувства граждан любой национальности...

Молодые «патриоты» любезно раскланялись и поспешили к месту новой работы. Мастер из обрусевших немцев, прочитав направление, расправил кончики усов, очевидно, что-то обдумывая. Затем молча направился в глубину депо, пригласив их жестом.

Прежде и Покорнов и Мельников видели это старинное самое большое здание города лишь с улицы. Теперь, попав под высокие своды деповских мастерских, смогли убедиться в том, что помещение это действительно огромное. В нем свободно размещалось шесть

паровозов, наверное, поставленных на ремонт или проходящих профилактический осмотр. Пробитая в нескольких местах крыша пропускала довольно много солнечного света. Так что днем депо в искусственном освещении не нуждалось. Очень может быть, что от пробоин в крыше и в стенах, от того, что небо так легко входило в цех, он казался еще больше и даже как-то подавлял людей, которые казались несравненно маленькими, беззащитными.

«Да, это не то что мастерские нашей МТС»,— думал Дмитрий, шагая за мастером и внимательно разглядывая не только паровозы, стены, потолок, но, главным образом, рабочих в промасленных черных куртках, рубашках, майках. Среди ремонтников он увидел немало френчей и кителей немецких солдат и офицеров. Не только тех, кто стоял и ходил с автоматами по цеху, железнодорожным платформам. Но и тех, кто вместе с русскими ставил заплатки на котлы паровозов, прилаживал шатуны, подводил под тендер колеса... Из этого Дмитрий сделал два вывода: здесь явно недостает рабочих рук, если немцы используют в качестве ремонтников своих солдат. И второе — работать придется в очень сложных условиях: следят за каждым шагом, вон те, которые лениво прохаживаются с автоматами вдоль путей.

Через торцовые ворота мастер вывел их к угольному складу, где в тупике стоял грейферный подъемный кран. Он был предназначен для ускоренной загрузки локомотивов углем. Возле него, заметив мастера, засуетились рабочие. Подведя Дмитрия и Андрея к ним, мастер сказал бригадиру, пожилому смуглолицему мужчине в традиционной фуфайке и форменной фуражке:

— Вот вам еще в помощь. Ребята добровольцы. Кое-что соображают в технике.

— Это хорошо,— одобрил бригадир то ли добровольный приход ребят, то ли их сооб-

разительность в технике.— Значит, примемся за двигатель.

— Давно пора,— недовольно проворчал мастер, подозрительно глянув на бригадира.— Две недели копаетесь, и ни с места.

— Разве это от меня зависит,— начал было оправдываться ремонтник, но мастер перебил его предупреждением:

— Смотри у меня. Если через две недели кран работать не будет, вздерну на этой стреле.

— Вот так-то, добровольцы,— горько усмехнулся бригадир, когда мастер скрылся за воротами депо.

— А вы, дядя, не из них? — доверительно спросил Андрей.

— Вот будет у тебя четыре рта, не считая больной жинки, тогда поговорим и за добровольцев и за жизнь. А сейчас... прямо ума не приложу, что вам можно доверить...

— Нам все можно доверить,— нажимая на слово «все», сказал Дмитрий, пытливо поглядывая на мужчину в фуражке. Понял тот намек или нет, трудно сказать, но ни ходовую часть, ни тем более электрооборудование крана не доверил парням. Дал им задание: в развалинах, в разбитых паровозах, в инструменталке раздобыть для себя различные ключи, молотки, зубила, а главное, трос, без которого невозможно было и мечтать заставить кран выполнять свои прямые обязанности.

В поисках инструмента прошли первые два дня. На третий Дмитрию и Андрею просто крупно повезло. Недалеко от угольного склада, под грудой щебенки и строительного мусора, они совершенно случайно обнаружили стальную проволоку, которая являлась не чем иным, как тем самым разыскиваемым тросом. Так определил Андрей. По стертым волосинкам, по масляным подтекам и темным угольным пятнам.

— Что будем делать? — спросил Дмитрий, осторожно озираясь по сторонам.

— Засыпать бы его еще больше.

— А вдруг подложили и ждут,— проявил мудрую осторожность Покорнов.

— Давай останемся во вторую смену и перенесем в надежное место.

Но выполнить задуманную операцию им не пришлось. Когда они вернулись в бригаду, возле ковша лежал, переливаясь светлыми полосами, большой моток стального троса. Друзья досадливо переглянулись: не повезло.

— Вот вам и нашлась настоящая работа,— встретил их бригадир, поставив ногу на толстую проволоку.— Начинайте ремонтировать лебедку и монтируйте трос. Держите схему. Что будет не ясно, спросите.

В чем была причина неисправности лебедки, ни Мельников, ни Покорнов так и не смогли установить ни в тот, ни в последующие два дня. Сначала бригадир на их беспомощность ответил матюгами и площадной бранью в адрес мастера, который присылает ему в помощники бездарей или скрытых саботажников. Когда же сам, обшарив каждую деталь нехитрого механизма, тоже развел руками, пришлось идти на поклон к инженеру. Но у того была запарка с паровозом, и он послал ко всем чертям ремонтников крана.

— Что хотите делайте, но неисправность устраните,— приказал бригадир.— Не то доложу управляющему, что это ваша работа.

Андрей догадывался, что до них к лебедке прикоснулся какой-то дока. И теперь требовалось по-настоящему раскинуть мозгами, чтобы отыскать причину. Весь день они разбирали лебедку. Следующий — собирали. Но барабан был точно приварен к станине. Никакие усилия не могли заставить его сделать хотя бы оборот. Видя неподдельное старание парней, бригадир не исполнил свою угрозу.

Зато Андрей точно сказал Дмитрию, в чем причина омертвелости барабана. Кто-то ловко всадил шпунт, соединив барабан со станиной. А чтобы замаскировать отверстие, сверху ста-

рательно заляпали раму ошметками электросварки.

— Говорить будем или будем продолжать поиск? — спросил Мельников.

— Будем искать,— убежденно произнес старший друг.— А еще лучше требовать новую лебедку. Трос нашли. И лебедку пусть ищут, а мы пока подождем.

Так в новых трудах и заботах пролетел месяц. За это время Дмитрию и Андрею удалось, заменив барабан, смонтировать лебедку, заставить металлические челюсти ковша загребать уголь и выбрасывать его в черную утробу тендера или на платформу. И то, что наконец-то грейферный кран заработал и немецкое командование смогло снять с ручной погрузки угля несколько человек, расценивалось комендантом как крупная победа, а Дмитрием и Андреем — как первое поражение. Но они отлично понимали, что ничего больше сделать не могли. Все сроки, намеченные начальником депо и военным комендантом, были сорваны. Однако водить дальше немцев за нос было опасно. Это грозило обернуться расстрелом всей бригады. А теперь, когда кран заработал, дело осталось за малым: перевести его на узкую колею, возникла загвоздка, как это сделать? Ребят перевели на самостоятельный участок. Им доверили обслуживание стрелок поворотного круга. Дело вроде не очень хитрое: вовремя развернуть круг под входящий паровоз; пока стоит на яме, проверить вместе с ремонтниками ходовую часть; кончились работы — вывести паровоз с круга. Теперь у них были постоянные круглосуточные пропуска.

Всем были довольны подпольщики, кроме одного: так никто из зачисленных в отряд на них и не вышел. Больше того, зная по слухам, что в районе действуют партизанские отряды, они не дождались оттуда ни одного связного. А как бы эта связь помогла им! Они могли передавать, когда, какие эшелоны, куда на-

правляются, когда и что ставят на ремонт в депо, какие дополнительные воинские части прибывают на станцию и куда их перебрасывают. Но, увы, все эти ценные сведения пока что бесполезным грузом лежат в их памяти.

А какой большой урон можно причинить немцам, обслуживая поворотный круг. Ну, по неопытности сбил рельсы на вейерных путях, забыл вовремя подставить закладку под колеса, и паровоз самостоятельно покатился с круга...

Вскоре их мечта сбылась. Андрея перевели обслуживать весь поворотный круг. Естественно, что в помощники он взял Дмитрия.

Мельникову доверили электрооборудование, хотя он, как мог, открещивался от знаний электротехники. Теперь каждый вечер, возвращаясь домой, друзья намечали план диверсии на завтра. Им не всегда удавалось осуществить задуманное, но чаще всего паровозы задерживались на кругу дольше положенного времени, потому что выходило из строя старое электрооборудование. Мастер ругался, топал ногами, даже грозился передать молодых рабочих в гестапо. Но они клялись, что их вины нет ни на копейку, а во всем повинна проводка, которая давным-давно нуждалась в замене, в крайнем случае, в капитальном ремонте. Они честно предупреждали мастера, что если не будут приняты меры, произойдет крупная авария, за которую они не хотят подставлять голову.

Немецкое командование не могло позволить себе такой роскоши, как остановка поворотного круга хотя бы на неделю. Кое-как заменив кусок провода, клемму рубильника, кнопку щитка дистанционного управления, снова пускали оборудование в ход.

О наступлении Красной Армии под Сталинградом Покорнов и Мельников узнали буквально на следующий день. В депо притащили паровоз, попавший на южном участке под бомбежку. Машинист клялся и божился, что

собственными глазами видел неисчислимые цепи красноармейцев, бегущих вслед за танками по заснеженной степи в сторону Дона. Его эшелон, доставивший на станцию Тундутово боеприпасы, едва успел разгрузиться, как появились советские штурмовики. В вагоны и на платформы набилось столько бегущих в панике немцев, что машинист едва заставил мощную технику сдвинуться с места. Хотя очевидец рассказывал все под большим секретом, через час уже все депо знало, что под Сталинградом Красная Армия перешла в контрнаступление.

В цехе появились усиленные наряды жандармерии комендантской роты. Охранники буквально лезли во все дырки, грозя расстрелом каждому, кто, на их взгляд, отлынивает от работы. На смену более или менее размеренному ритму пришли нервозность и лихорадочность. Все другие слова заменило одно:

— Шнель! Шнель!

К вечеру было приказано выпустить из депо два локомотива, которые надлежало подать под сформированные эшелоны, отправляющиеся на Сталинград.

— Можем что-нибудь сделать? — спросил Дмитрий, когда они вышли из конторы.

— Можем,— ответил Андрей. И по его голосу Покорнов понял, что об этом его друг думал не во время наряда, а гораздо раньше. Он целиком доверял ему и потому не стал допытываться, что именно надумал Мельников. А тот думал, как бы отвести возможную беду от Дмитрия. Хотя они работали на пару, но в данном случае Андрей решил все взять на себя. Вот почему, когда за большими окнами мастерских сгустились сумерки, он, зажав в руке кусочек сала, исчез на несколько минут в генераторной, а появившись вновь на круге, буквально схватил друга за рукав и, не обращая внимания на охранников и ремонтников, потащил его в контору мастера.

— Мы свое сделали. Пусть дает новое за-

дание,— говорил он нарочно громко, увлекая Покорнова в глубину цеха.

Они вошли в конторку, и не успел Мельников доложить о выполнении задания, как огромный корпус погрузился в непроглядный мрак. В тот же миг Дмитрий почувствовал, как сильно сдавил его локоть Андрей. За стеной завыла ручная сирена, раздались тревожные крики, ругань, грохнулась металлическая плита.

— Что, что случилось? — завопил мастер, отшвырнув стул и устремляясь к двери.

Темноту цеха уже резали лучи карманных фонарей.

— Что случилось?! — крикнул мастер, обращаясь неизвестно к кому.

— А нам что делать, господин мастер?

Тот бегло глянул на парней и зло бросил:

— Марш на место...

Не ожидая новых приказов, Андрей и Дмитрий, рискуя поломать ноги, побежали к входной двери. На улице их ошарашила ослепительная тьма, нависшая над городом.

— Стой! — раздался оклик жандарма.— Кто такие и куда?

— Куда царь пешком ходил,— проявил находчивость Мельников.

— Я те дам «царь». Марш обратно!

Прошло больше часа, пока энергетик смог вразумительно доложить о причине аварии: в генератор попала крыса. Люди — вне подозрения. Их можно до утра отпустить по домам, на ремонт уйдет вся ночь, если не больше. Мастер сказал Дмитрию, чтобы он шел отдыхать, а Андрея оставил помогать энергетикам.

Покорнов вышел за ворота депо и впервые за многие недели в нерешительности остановился, соображая, что теперь делать. Идти домой ему не хотелось. Интуитивно он чувствовал, что крупная авария — дело рук Мельникова, но заверение специалиста о причине остановки генератора заставляло сомневаться.

Он не мог уйти, не встретившись с другом. Дмитрий знал, что, покинув депо, Андрей пойдет только к райклубу. Значит, он должен быть там. Парень, приняв решение, медленно побрел к клубу. По улицам города сновали полицаи и жандармы. У редких прохожих они требовали пропуска. Когда остановили Покорнова, он спокойно достал документ.

Только подойдя к городской управе, он вдруг почувствовал легкий озноб: слишком много тут было людей в черных шинелях. Хотя он не имел никакого отношения к аварии, под лопаткой у него появились колики. С подчеркнуто независимым видом он все-таки решил пройти мимо черной стены, и тут неожиданно столкнулся нос к носу с Алпатовой. Та даже не успела сообразить, что произошло, но спутник Неониллы, перехватив их взгляды, решительно преградил дорогу парню и тоном приказа скомандовал:

— Отвали.

Но Алпатова дернула его за рукав полушубка.

— Погоди.

Попутчик сменил гнев на милость и, достав портсигар, предложил Дмитрию:

— Бери.

— «Злой». Живой, здоровый,— уперлась взглядом Неонилла.— А я думала... Еще в августе мне сказали, что двух подпольщиков расстреляли. Один, по приметам, ну, вылитый ты. обманули. Дура, поверила и девчатам сказала,— жестко обругала она себя.— Ведь бывали тут, но боялись выходить на связь.

— Ладно,— прервал ее Дмитрий.— Теперь все встанет на место.— Он глянул на Бойко, как бы спрашивая у Неониллы: кто такой?

Алпатова смутилась и, глотая слова, начала быстро говорить:

— Мы с Николай Иванычем приехали... Пимен просит пропуска... А тут такое творится... Электростанцию взорвали... Вы, что ль?

Покорнов одними глазами подтвердил ее

догадку. Потянулся сигаретой к огоньку сигареты Бойко, но тот, заметив, что два жандарма направились в их сторону, сказал спутнице:

— Пошли. Еще увидитесь.— И почти силой потянул ее вперед.

Дмитрий тоже не захотел вторично предъявлять пропуск, и он направился к железнодорожному вокзалу, где большие окна ресторана желтели огнями керосиновых ламп и стеариновых свечей.

Покорнов шел и думал о превратностях судьбы. Кто распространил слух о гибели подпольщиков? Почему девчата не проверили? Кто такой Николай Иваныч, который хоть и проявляет осмотрительность, но свободно ходит по городу? Сделать круг, обежать квартал, догнать Алпатову, расспросить о судьбе остальных. Нет, не стоит. Теперь все встанет на свое место. Он, пожалуй, не будет ждать ее приезда в Котельниково. Сам доберется до Нагавской. Там все разузнает.

А Неонилла, расставшись со своим подпольным вожаком и не чувствуя за собой погони или слежки, уже пожалела, что дала себя увести. Ведь ей так много хотелось рассказать о сделанном партизанами. Она несколько раз пыталась освободиться от крепких рук Бойко, но тот, не желая ничего слушать, все увлекал ее дальше и дальше от городской управы, отрывисто бросая на ходу одно слово:

— После.

В очередной раз услышав знакомое слово, она с ужасом подумала, что вдруг не будет этого «после», сделала усилие, чтобы догнать Дмитрия, но Бойко, почуяв ее безрассудство, еще крепче сжал локоть Неониллы и почти бегом направился к коновязи, где они оставили свои легкие сани.

— Твоя работа? — одновременно с завистью и осуждением спросил Дмитрий, когда наконец дождался Мельникова. Прежде чем ответить, Андрей огляделся. И уже по этой чрез-

мерной осторожности Покорнов понял, что авария — дело его рук. А потому сказал: — Мог бы заранее предупредить.

— Не хотел тебя подводить. Ведь крыса могла кинуться за этим салом гораздо раньше, когда я еще был возле генератора. Меня бы там и накрыли. Ты ведь не пустил бы меня одного?

— Факт.

— А зачем нам обоим пропадать.

— Пропадать нам рановато,— рассудительно согласился Покорнов и предложил: — Пойдем к клубу.

После каждой удачной операции они приходили к развалинам районного клуба, останавливались на груде обожженного, битого кирпича, где когда-то лежали неизвестные им, расстрелянные оккупантами советские партизаны. Друзья докладывали павшим о совершенном. Вот и теперь, поднявшись на развалины, Дмитрий и Андрей несколько минут постояли, опустив головы. Потом они поглядели на север, и им показалось, что небо в том краю не такое темное, как над городом, а чуть светлее, даже с яркими проблесками.

— Наши наступают,— радостно прошептал Покорнов.

— И нам пора,— решительно заявил Андрей, словно предчувствуя, что Дмитрий начнет возражать. Но тот не возразил, а, напротив, тоже очень твердо произнес:

— Пора! Твое предложение?

Чуть подумав, Андрей высказал самое заветное:

— Добыть оружие. Устроим засаду, убьем фашиста, заберем автомат.

— Заманчиво, но слишком рискованно,— предупредительно заговорил Дмитрий.— Можем сами попасть в засаду. Сразу не убьем, он поднимет крик, стрельбу. Он может быть не один, а с приятелем, который чуть отстал. Услышит возню, придет на помощь... Но ты прав, оружие нам нужно. Я вот о чем думаю...

И Покорнов поделился своим планом. Завтра «по болезни» он не выходит на работу. Пользуясь служебным пропуском, отправится в Нагавскую к Неонилле Алпатовой, через которую попытается связаться с партизанами. Они дадут оружие и конкретное задание...

Покорнов не допускал мысли, что партизанские отряды не имеют связи с центром и не получают оттуда оперативных заданий. С помощью партизанской рации он надеялся передать все накопленные сведения командованию фронта. Лишь бы Неонилла оказалась дома.

Но Алпатова уже ушла. Соседка, гневно сверкая глазами, неодобрительно глянула на Дмитрия и лишь потом, пропуская слова сквозь зубы, словно сквозь сито, сказала:

— Укатила твоя тетка с фрицевским кобелем.

— Собаку себе завела? — прикинулся круглым идиотом Покорнов.

— Ага. Об двух ногах,— зло, но уже с нотками насмешки уточнила соседка. А потом, отходя сердцем и уже жалея продрогшего и, должно быть, голодного парнишку, предложила пройти в хату, а в горнице спросила: — Ну и какая нужда заставила тебя тащиться в такую дальность?

Хотя Покорнов не верил, даже близко не подпускал к себе мысль, что Алпатова предатель, тем не менее злость, с какой говорила о связной соседка, подкупила Дмитрия... И он, взяв грех на душу, придумал версию о скорой кончине жены Пимена Андреевича Ломакина, чей партизанский отряд, по рассказам «очевидцев», действует где-то в этом районе. И жена Христом-богом просила племянника разыскать Пимена и привести его проститься с нею.

— Вот ведь дело какое,— глубоко задумалась женщина.— Сама я доподлинно не знаю. И людей сведущих у меня нет. Но набедокурил твой дядька тут много. Обоз захватили, машину штабную подорвали... а самое главное,

из-за чего вражина лютует: взорвали партизаны в Терновой балке боеприпасы... И теперь по всей степи рыщут эти каратели. Смотри, парень, не напорись на них. Вмиг лишишься своей молодой жизни.

— Да у меня пропуск,— беспечно ответил Дмитрий и спросил, все еще надеясь напасть на след Неониллы: — Скажите, а тетка ни с кем, что ли, кроме того кобеля, не дружила?

— Нет! — снова загораясь ненавистью, категорично произнесла женщина.— Мы как заметили, что этот... переводчик к ней по вечерам на огонек захаживает, все, как один, отвернулись от... ты уж извини меня, грешную, хоть она тебе и тетка, но все одно...

— Не надо,— требовательно прервал он бойкую речь соседки.— Не надо так поспешно делать выводы. Вы же многого не знаете. Вот у меня немецкий пропуск, и работаю я в депо. Что же, по-вашему, выходит, я служу фашистам?

— Не знаю, родненький, ничего теперь не знаю,— как-то ошарашенно ответила женщина, очевидно, раздумывая над тем, как дальше разговаривать с непонятным племянником, который несколько минут назад выглядел дурачком, а только что заговорил очень разумно. Конечно, она многого не знает, но ведь вся станица осуждает. На каждый роток не накинешь платок. В это время она думала, к какому бы стóящему человеку проводить нежданного гостя. И надумала: к леснику. Тот уж наверняка все знает про партизан, если сам не ушел с ними...

С просяной лепешкой, парой картофелин и пучком сушеной беладонны вышел Дмитрий по направлению к займищу, но уже через улицу был остановлен патрулем. И хотя документ у него был подлинный, его привели в комендатуру, а оттуда вместе с двумя подозрительными лицами в сопровождении полицая направили в Котельниково.

Вечером, давясь комком обиды и горечи,

Дмитрий рассказал Андрею о неудаче операции.

— Может, мне сходить?

— Бесполезно, все дороги перекрыты.— Покорнов посмотрел на друга и сказал: — Я принимаю твое предложение о засаде...

Они вышли на крыльцо. Не сговариваясь, глянули на север. Им снова показалось, что они видят яркие вспышки на фоне темно-синего неба. Наполненные едиными мыслями и чувствами, парни вместе сказали:

— Наши наступают!

...В РАЙОНЕ СТАЛИНГРАДА

Отец встретил Мишу в прилеске. Зиновий Афиногенович обхватил сына большими, все еще сильными руками и долго не выпускал из объятий. Он ни о чем не спрашивал его, только молча терся шершавой щекой о холодное лицо. А когда они шли к наспех сооруженной землянке, Миша, упросив отца оставить разговор в великой тайне, рассказал о встрече с Захаровым и о том, что дома у них все живы и здоровы.

— Спасибо тебе, сынок, за добрую весть. На душе полегчало.

С приходом юного разведчика в темной душной землянке стало точно светлее и чище. Его весть о начале наступления Красной Армии под Сталинградом встретили с ликованием, тихим дружным возгласом «ура». На радостях задымили самосадом. Красные огоньки цигарок то и дело мелькали там и сям, на мгновение озаряя посветлевшие лица.

Узнав про склад боеприпасов и предупреждение Алпатовой, Пимен Андреевич нахмурился. Он хотел что-то сказать, но передумал. Вопросительно глянул на Мишу: что, мол, еще?

— А еще завтра из хуторов обозы отправляют на станцию.

— Во сколько?

— Не знаю. Велено к утру все приготовить, а еще,— продолжал Миша, не глядя на задумчивого командира,— переводчик Бойко сказал, что теперь нельзя мелкими группами действовать, нужно все отряды собрать в один.

— Верный совет, в самый раз. Стратег переводчик,— загудели в разных концах землянки партизаны. Обрадованные предложением, они даже не спросили: что за переводчик Бойко, как с ним познакомился Миша?

— Я сам об этом думал,— быстро проговорил Ломакин.— Все крепче будет кулак. Прятаться, правда, негде. Ну, да не беда: недолго осталось нам от фрицев, точно зайцам от борзых, петлять...

Отряд стал готовиться к дерзкой вылазке. Партизаны понимали, что нападение на обоз днем в открытой степи может увенчаться успехом лишь в случае внезапности и стремительности.

— Разобьемся на три группы,— вслух размышлял Ломакин, проверяя свой автомат.— Правда, нас мало, но, как говорят краснофлотцы, мы в тельняшках.

Из стана вышли в предрассветную мглу. За ночь наступило небольшое потепление, и степь окутал такой плотный туман, что уже в пяти метрах ничего не было видно. Шли, растянувшись цепочкой. Вязкий снег прилипал, словно грязь, к обуви.

Миша глядел на впереди идущих, и когда они, словно привидения, растворялись в тумане, он улыбался, представляя, как обозная команда вдруг увидит перед собой живых партизан с оружием в руках.

Когда прошли половину пути и по предложению Миши пересекали поле напротив Терновой балки, пионер вдруг вспомнил, что ночью ни гула самолетов, ни мощного взрыва склада он не слышал. Миша догнал отца и, поправляя брезентовый ремень автомата, спросил:

— Папа, ты взрыва не слыхал?

— Нет, сынок. Тихо кругом, как до войны.

— Значит, склад не взорвали?! — с укором сказал сын.

— Значит, не взорвали,— глухо отозвался Зиновий Афиногенович.

И сразу радость отступила от Миши. В его голове мелькали догадки, как в калейдоскопе цветные стекляшки. Бойко мог и не сообщить нужному человеку. Тот мог не передать дальше полученные сведения. Самолеты не поднялись в воздух — нелетная погода. А теперь тем более. Куда бросать бомбы? В молоко, разлитое над степью? Но Неонилла обещала... Не получилось? Надо сказать Пимену Андреевичу, пока близко от Терновой балки. Склад — не обоз. Это важнее.

— Догоню командира,— объявил Миша,— скажу ему.

Но не успел сделать и несколько шагов, как слева от отряда что-то резко грохнуло. Точно короткий разряд молнии на миг пробил плотный туман. За ним последовал второй, третий. Теперь оттуда в свинцовое небо то и дело взлетали сполохи, напоминая праздничный фейерверк. Это взлетали на воздух ящики в Терновой балке...

До взгорка, откуда решили сделать набег, дошли часа через три.

Ломакин достал из нагрудного кармана большие, почти в ладонь часы, открыл крышку.

— Скоро восемь,— сообщил он.

А туман не рассеивался. Напротив, земля все плотнее и плотнее окутывалась его пеленой. И это вызывало тревогу: вряд ли немцы решатся выехать в такую непогоду, да еще после взрыва склада. Но тут же тревога сменилась надеждой: раз обоз идет на станцию, значит, он должен успеть к определенному часу. Под него, наверное, уже и вагоны поданы.

Небольшими группами отряд встал у подножия кургана. На вершину Ломакин выслал двоих. Не столько глядеть, сколько слушать.

Зиновий Афиногенович с сыном подошли к телеграфному столбу и чутко навострили уши. Романов-старший даже приподнял треух. Холодный сырой воздух пробирался за воротник, залезая под полы пальто, покрывал тело мурашками. Миша несколько раз бегал от столба до столба, согреваясь и разминая затекшие ноги. Отец словно прирос к столбу. Каждый раз, подбегая к нему, Миша видел, что он смотрит в ту сторону, где притаился невидимый хутор Майоровский.

Наверное, взрыв в Терновой балке здорово напугал немцев. За то время, пока они стоят в засаде, ни одна подвода, ни одна машина не прошла в сторону города. Из Котельниково проехали две легковушки (определили по звуку мотора) и грузовик с солдатами (слышны были громкие встревоженные крики).

— Не поедут, должно, сегодня,— сожалея, сказал отец, глянув на небо. Там, в вышине его, все чаще и чаще стали проглядывать голубые клочки.

Солнце уже плавало где-то над курганом, когда чуткое ухо Миши уловило однотонное тяжелое гудение на дороге. Он рванулся к кювету, припал на колени, прижался ухом к холодной земле. Слышно, как гулко бьют копыта по земле.

Если слышно, вспомнил Миша одну из примет, позволяющую определить расстояние, значит не больше полверсты. Он так же резко подбежал к отцу. Тот, наверное, не слышал топота лошадей, но по счастливой улыбке и по горячим уголькам черных горящих глаз сына догадался: обоз идет.

— Сообщи Пимену, а я за дорогой послежу.

По своим следам Миша быстро добежал до Ломакина и негромко крикнул:

— Идут!

— Передай отцу: сигнал — мой выстрел.

По редкой цепочке партизан вслед Мише катилось одно и то же предупреждение:

— Сигнал — выстрел.

Вот они, первые подводы долгожданного обоза. Партизаны совсем близко подобрались к дороге. Туман начал наконец-то редеть. Впереди охраны никакой. Выходит, не ждут враги партизанского сюрприза. Хотя за те недели, что отряды Ломакина, Паршикова и других кружатся по степи, недосчитались немцы и румыны многих своих солдат и подвод.

Условного выстрела все не было.

Отец широкими шагами пошел к дороге. Сын последовал за ним, держа озябший палец на пусковом крючке автомата.

— Послухай, сынок,— сказал Зиновий Афиногенович,— сзади вроде никого нет?

Миша напряг слух и зрение. Тихо.

— Ну, пошли,— кивнул отец и, прижимая автомат к животу, зашагал за подводами.

Вдруг Миша заметил, что чуть впереди, с противоположной стороны, на дорогу тоже выходят люди. Кажется, солдаты.

— Стой! — прошептал он и тут же пригнулся к земле, так как впереди и сбоку раздалось одновременно несколько выстрелов.

— Наши! — закричал Романов-старший и побежал к задним подводам, откуда уже доносились панические крики.

Возницы и румынские солдаты в длиннополых шинелях и черных папахах сочли за самое разумное, отстреливаясь, попытаться бежать назад. Но здесь их встретили длинные очереди автоматов Романовых. Одни падали, скошенные пулями, другие — с перепугу.

Добежав до ошарашенно храпевших лошадей, Миша ловко перерезал постромки, вскочил на невысокого серого коня, второго подвел отцу.

Уже тарахтели по дороге подводы, развернутые в степь. Только там, впереди, еще раздалось несколько одиночных выстрелов. Крики солдат о пощаде перекрывали радостные возгласы. К Мише подбежал Баннов. Его бледное лицо сияло счастьем. Он уже успел повесить на шею два трофейных автомата.

— Здорово, Зиновий! — кричал сзади Паршиков.

— Здорово, Тит!

На горячем жеребце к ним подскакал Ломакин.

— Берем две подводы — муку и мясо,— коротко бросил он на ходу партизанам.— Остальное поджечь! Оружие не оставляйте.

Мише казалось, что бой длился не меньше часа. Но когда они отъехали от разгромленного обоза, Пимен сказал, что ребята молодцы — управились за двадцать минут.

По полю разносился запах горелого мяса и хлеба. Огромными кострами пылали подводы с сеном. Испуганные лошади, разбрасывая в разные стороны ошметки вязкого снега и хлопья пены, выкатив оловянные глаза, носились по целине.

— Жалко животину,— сокрушенно сказал Ломакин.— Пропадет ни за грош... Миша! Вася! — позвал он.— Загоните косяк на дорогу. Может, добредут до хутора, а там, глядишь, казаки припрячут...

— Да ну их — коней,— поторопил Ломакина Паршиков.— Надо подальше уходить.

Василий и Миша, размахивая постромками и покрикивая, сгоняли лошадей со снежной целины на дорогу.

— Не задерживайтесь! — торопил их Ломакин. — В случае чего, держите курс на Киселевку...

Пока Баннов с Романовым подгоняли косяк к грейдерной дороге, отряд успел отъехать далеко. Первым забил тревогу Василий. Он крикнул:

— Кончай, Мишка! Поехали.

— Ты догоняй, я сейчас.

Он заметил, что многие лошади жмутся к высокому битюгу, а тот озверело крутит головой и норовит снова удрать в степь. В конце концов можно бросить косяк и поехать вслед за своими. Но Мише казалось, что он закончил единоборство с упрямым жеребцом

и тот галопом поведет лошадей по дороге. Однако битюг тревожно ржал и отбивался от тянувшихся к нему кобылиц.

Увлекшись погоней за упрямым конем, Миша не заметил, как на бугре появился мотоцикл с коляской. Он ехал с той стороны, где партизаны совершили дерзкое нападение, и водитель не мог не видеть остатков разгромленного обоза. Озираясь по сторонам, мотоциклист гнал машину на бешеной скорости.

Миша едва успел припасть к гриве своего жеребца, когда кони дружной лавиной рванулись обгонять мотоцикл. Немец нервозно кричал: «Хальт!», сигналил, прибавлял газ, но косяк не уходил с дороги. И конь Романова, подхваченный рывком, не желал отбиваться от табуна. Миша понимал, что дальнейшая скачка может привести его прямо к контрольно-пропускному пункту.

«Вот теперь нужно повернуть коней в степь,— думал юный разведчик.— Но как это сделать?» Оголтело летящие лошади казались неуправляемыми. «Во что бы то ни стало я должен вырваться вперед, тогда табун пойдет за моим серым»,— принял решение Миша. Нахлестывая жеребца, он с радостью заметил, как тот медленно, но уверенно обходит лошадей одну за другой. Наконец серый вырвался вперед буквально на метр-другой, но этого оказалось достаточно, чтобы он, перепрыгнув через кювет, увлек за собой весь косяк.

Мотоциклист, не сбавлявший скорость, заметил это, когда переднее колесо машины уже повисло над глубоким кюветом. И тотчас в грохоте копыт, в храпе и ржании за спиной Миши потонул короткий, как выстрел, крик водителя. В первое мгновение Миша ничего не понял. «Неужели увидел меня?» — сверкнула мысль. Оглянулся, не поднимая головы: дороги не видно за оскаленными мордами коней. Не слышно и тарахтения. И тут догадка осенила его: мотоциклист врезался в кювет. Появилось неотвратимое желание проверить

догадку. «Хорошо, если фриц окочурился, а если чуть покалечился...» И все-таки мальчишеское желание убедиться в догадке своими глазами взяло верх над рассудочностью, и Миша стал тянуть изо всей силы удила, заставляя коня остановиться. Но это удалось сделать Мише только перед самым плетнем чьей-то левады. Косяк прискакал к незнакомому хутору, а может, станице. Такой поворот совершенно не входил в расчеты Романова, и он теперь быстро обдумывал план исчезновения.

— Эй, парень! — осторожно и негромко окликнул Мишу из-за плетня седобородый казак, бросив колун возле дубовой коряги.— Откуда эти кони?

— Не знаю,— натянул поводья мальчик, готовый в любую секунду пустить своего серого в галоп.— Должно, ничейные.

Старик глянул на лошадей и перекрестился.

— Какие к шуту — ничейные.— Вот битюги румынские. Тавро видишь на крупе? И на твоем сером тавро. Ты чей будешь? Что-то я тебя не признаю.

— Я ничейный. Беспризорный,— легко соврал Миша, спрыгивая с лошади.— Иду с самого Абганерово.

— Куда же? — полюбопытствовал хозяин.

— В Киселевку. Далеко она от вас?

— Далековато. До Базков двенадцать, да там еще семь верст. Вот и сосчитай, сколько... Стой,— скомандовал сам себе дед.— Вот эта кобылка будто без тавра. Помоги заловить ее... А этих шугай подальше...

Когда лошадь, понурив голову и фыркая, шла к сараю, словоохотливый старик спросил Мишу, не хочет ли он есть. Романов ответил, что только недавно его сытно накормили румыны. В свою очередь Миша поинтересовался, откуда здесь столько техники.

— А шут ее знает,— досадливо сплюнул казак.— Гутарют, под Сталинградом наши перешли в наступление. Вот фриц и подтягивает танки... Теперь слопают хутор с потрохами.



По направлению, указанному старым казаком, Миша пробрался к займищу. Сколько шел, столько и корил себя, что не возвратился на то место, где мотоцикл свернул с дороги. Какая-то внутренняя сила тянула его назад, и Миша, может быть, поддался бы соблазну, если бы на околице не заметил две крытые машины, между которыми на высоких мачтах протянулись провода антенны. «Походная радиостанция»,— сообразил юный разведчик. Он тут же решил проследить, велика ли охрана.

Он стоял в густой заросли краснотала пять, десять, пятнадцать минут, но никто около машины не появлялся. Наконец из хутора подъехал черный, блестящий эмалью легковой автомобиль. Из машины вышел офицер. К нему подбежал солдат с автоматом на груди. Он доложил, что вокруг все спокойно. Офицер остался в невысоком кузове походной радиостанции, а Миша, не выходя на дорогу, прилеском направился в сторону Киселевки.

Своих он догнал на полпути к Базкам. И, не дав возможности расспросить себя о чем бы то ни было, тут же доложил Пимену Андреевичу, что в хуторе Приконском остановился танковый полк немцев.

— Это нам не по зубам,— с досадой сказал Ломакин.

— И радиостанция там у них. Охрана, видать, небольшая.

— Почему так думаешь?

— Целый час наблюдал. Кроме двух часовых да технарей, никто не появлялся.

— Надо рискнуть,— предложил Хорошунов.— Я возьму группу и пойду. Без рации мы как без рук.

— Ну что же,— решительно пробасил Ломакин.— Дерзай, Иван Федотыч.

Группа из семи человек запаслась гранатами, патронами, провизией и уже через полчаса шла займищем по направлению на Приконский. Вчерашнее сообщение о Сталинграде, взрыв склада в Терновой балке, удачное на-

падение на обоз настраивали партизан на боевой лад. Миша шел впереди Хорошунова и думал, как хорошо все складывается за последнее время. А если они разгромят немецкую радиостанцию и добудут передатчик, то жизнь у них будет замечательная. Они точно узнают положение на фронтах, получат новые задания. От радости, переполняющей сердце, Миша вполголоса запел в такт быстрым шагам:

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор...

— Эй, Шаляпин,— остановил его Хорошунов.— Демаскируешь группу.

— Что вы, товарищ комиссар,— посмеялся пионер над чрезмерной осторожностью Хорошунова.— Я сюда шел — ни одного фрица и ни одного мамалыжника не встретил. А теперь, в ночь...

Хорошунов молча прижал варежку к Мишиному лицу. Он весь превратился в зрение и слух. Левой рукой выразительно махнул товарищам. Казалось, что в займище лишь шумит сухими ветками ветер да падают, глухо шлепая, с вершин комки снега. Но сквозь ветер и шум доносился скрип. Сначала редко, потом чаще. Иногда в скрип впечатывалось топанье копыт.

Хорошунов, увлекая группу, отошел от дороги в глубину чащи. Партизаны спрятались за черные стволы дубов. Через несколько минут на дороге показались двое немецких солдат, а за ними три длинные арбы, груженные сеном. Возле каждой лошади тоже шли солдаты.

Миша был уверен, что Хорошунов, убедившись в малочисленности охраны, даст команду, и группа внезапным ударом уничтожит врага.

Он уже взял автомат на изготовку, но комиссар показал Мише кулак. И этот жест оказался как нельзя кстати, потому что

через минуту-другую снова раздался скрип колес и еще три телеги с сеном появились на дороге. Их тоже сопровождало несколько солдат. За последним возом бежала собака.

Партизаны переглянулись. Они думали об одном и том же: унюхает или нет? Теперь уже все подняли автоматы, но Хорошунов еще раз выразительно потряс в воздухе кулаком.

Собака, поравнявшись с тем местом, напротив которого застыли партизаны, остановилась, вытянув морду. Она повела носом из стороны в сторону, сделала несколько шагов к придорожным кустам. Немцы, о чем-то разговаривая, не обратили внимания на поведение животного. Собака подняла морду, неуверенно гавкнула и, поджав хвост, побежала догонять подводу.

Когда обоз удалился настолько, что его скрип и топот коней стали почти неслышны, Хорошунов вытер рукавом фуфайки пот со лба и сказал:

— А собака-то была наша.

Партизаны улыбнулись, а Миша спросил:

— По-русски гавкнула?

— Точно,— развеселился комиссар.

В том месте, где займище расступилось перед огромным пойменным лугом, партизаны вновь услышали голоса. Это еще одна команда фуражиров грузила сено. Хорошунов укоризненно глянул на Мишу, как бы говоря: понял, парень, почему я не приказал напасть?

Они обогнули луг и вышли к колхозной плантации. Грядки были засыпаны снегом. Кое-где сиротливо торчали колья, перекладины, куски труб недавней оросительной установки. К замершему пруду прижался небольшой деревянный сарайчик — сторожка или помещение для мотора. Осторожно подошли к сараю. Пусто, тихо, мертво.

— В случае чего,— предупредил Хорошунов,— отходим сюда.

На этом месте, где днем стояли автомашины передвижной радиостанции, ничего не бы-

ло. Только свежие рубчатые следы скатов говорили, что машины ушли не так давно.

— Да, не повезло,— пощипывая светлую бородку, огорчился Хорошунов.— Но почему они так скоро уехали? — обратился он с вопросом скорее к себе, чем к окружившим его.

— Если разрешите, я узнаю,— предложил Миша.

Он хорошо запомнил сарай, возле которого несколько минут проговорил со старым казаком.

— У меня тут один знакомый живет. Недалеко.

— Хорошо,— согласился комиссар.— Но мы пойдем с тобой... На всякий случай.

Старик не очень удивился, увидев на крыльце своего дома мальчишку, который днем подарил ему коня.

— Не прошел, стало быть,— говорил хозяин, провожая его в хату.— Иди смелее, немцев у меня нет. Старуха хворает. Фельдшер определил — тиф. Они как от чумы от моего куреня шарахаются.

— Спасибо, дедушка. Некогда мне. Я только хочу спросить у вас, куда подевались немецкие машины, что стояли во дворах и на улицах?

— Будто не догадываешься, внучек. Срочно двинулись на Сталинград. Я же тебе говорил, что там дюже здорово жареным запахло. Вот они и кинулись туда. Давеча, когда ты ушел, немцы допрос нам учинили: не видел ли кто, как ихний пьяный мотоциклист разбился?

— А точно, что он пьяный? — засиял от удовольствия Миша.

— Посуди сам, для чего тверезому на полном ходу с дороги в кювет свертывать?.. Ну, будешь ужинать?

— Спасибо. Пойду.

— В ночь-то?

— А мне что ночь, что день. Ночь даже лучше.

— Ну, ступай с богом. Только от сельсове-

та подальше держись. Там теперь румыны штаб обосновали. Не знаю, какие они вояки, но мародеры не хуже немчуры.

Миша вышел во двор, глянул из-за плетня на улицу. На ней было тихо и пусто. Огней в домах не видно. Лишь в центре возле старинных особняков, освещенных уличными фонарями, размеренно прохаживались часовые. Иногда они останавливались, что-то говорили друг другу и расходились.

У Миши созрел дерзкий план нападения на штаб.

Бегом он пересек двор, пробрался через густые цепкие кусты боярышника и терновника и очутился в лощине. Мяукнул кошкой, и тотчас ему отозвались справа. Он передал комиссару разговор с дедом и спросил, нельзя ли устроить фашистам тарарам.

— В штабе может быть рация,— задумался Иван Федотович.— И если, как ты говоришь, охрана небольшая, стоит рискнуть.

Все поддержали намерение комиссара. Всем хотелось хоть чем-то помочь родной армии скорее уничтожить врага.

В здании сельсовета светилось одно окно на первом этаже. Хорошунов зорким глазом заметил на его фоне черную свисающую полоску. «Провод»,— догадался комиссар. Антенну отсюда не видно, но ему казалось, что она есть.

— Ты, Миша, останешься здесь,— приказал Иван Федотович.— В случае чего будешь прикрывать нас.— И, видя, что Романов без энтузиазма встретил распоряжение, добавил: — Глаз у тебя снайперский.

Двоих Хорошунов выдвинул вперед, к стоящей возле крыльца автомашине. Один взял на мушку освещенное окно, а с остальными комиссар решил проникнуть в дом и вынести, если удастся, рацию.

Как только часовые скрылись за домом, Хорошунов выскочил из-за сарая к автомашине. За ним бесшумно проскользнули остальные. Там они затаились: за штакетником замаячи-

ла фигура часового. Прошло минут пять, пока солдаты снова не скрылись в затишке. Этой паузы хватило, чтобы Иван Федотович в два прыжка очутился на крыльце и юркнул в приоткрытую дверь. Все-таки, наверное, солдаты услышали какой-то шорох. Они подошли к двери, широко открыли ее и заглянули в темный коридор. Потом обошли дом, и один из них, задрав голову вверх, позвал:

— Митря! Митря!

Створка окна распахнулась, и оттуда высунулась голова в наушниках. Часовой встревоженно спросил о чем-то. Радист замахал руками:

— Ну-ну.

Он быстро затараторил что-то, показывая на наушники. При этом Миша успел понять три слова: Сталинград, Берлин и Лондон. Солдаты под окном на что-то посетовали, повторяя «сэптэмбрие, сэптембрие», а затем направились к крыльцу. Открыли дверь, заглянули в коридор. Миша от волнения не находил себе места. И, чтобы случайно не нажать на курок, спрятал руки в карманы. Там лежали гранаты-лимонки. Он с силой сжал рифленую сталь. Холодный металл действовал успокоительно. Миша облегченно вздохнул, когда увидел, что часовые, обсуждая новости, повернули на улицу.

Вслед за Хорошуновым в дом пробрались еще двое. Все это делалось с быстротой молнии, но взволнованному пионеру казалось, что его старшие товарищи медлительны и он сумел бы скорее их проникнуть в штаб и выполнить приказ.

Снова раскрылось освещенное окно. Из него выпрыгнул Хорошунов. Он глянул в сторону сарая. Миша махнул рукой, мол, все в порядке. Комиссару подали громоздкий коробок. Пригибаясь под его тяжестью, он зашагал в глубину двора.

Партизаны были уже далеко за околицей, когда услышали одиночные выстрелы. «Тре-

вога,— решил Хорошунов.— Телефонный кабель мы не перерезали. Могут связаться с другими гарнизонами, расставят на дорогах патрули, устроят в займище засаду. Нужно уходить в степь».

Комиссар принял решение: троим с рацией уходить, а он с остальными будет их прикрывать. Но партизаны сказали, что пока следует держаться всем вместе. Коли уж встретят они где-то немцев или румын, тогда и разбиваться на группы.

Пройдя целиной с десяток километров, партизаны приблизились к дороге. Хорошунов все время тревожно оглядывался. Но по четким следам их ботинок и сапог никто не шел. Беда свалилась на их головы совсем с другой стороны — спереди. Когда они поднимались из кювета на проезжую часть, дорогу неожиданно прорезали два острых луча незамаскированных фар автомобиля.

Свет на миг ослепил Хорошунова, но он тут же среагировал и упал, выбросив вперед автомат. В машине заметили людей и гортанно крикнули:

— Хенде хох!

— Огонь! — закричал комиссар и первым дал длинную очередь по фарам.

Раздался треск разбитого стекла, скрежет металла и отчаянные вопли пассажиров. Машина замерла на секунду, но потом, надрывно тарахтя мотором, понеслась на группу партизан. Из распахнутых дверц застрочили автоматы. Пули со свистом проносились над головами, вгрызались в мерзлую землю, вспарывали снежный покров.

На беспорядочную стрельбу фашистов партизаны отвечали прицельным огнем. Не успел Хорошунов опомниться, как увидел колеса «мерседеса» уже возле кювета. Шофер, очевидно, не думал сворачивать в сторону. Комиссару казалось, что он решил раздавить их своей тяжестью.

— Бежим! — услышал Миша чей-то голос

справа. Инстинктивно он рванулся назад, за кювет, и в это время в его руке мелькнула граната.

Хорошунов выхватил гранату и, отскакивая от бешеных колес, готовых вмять его в землю, швырнул ее в машину.

Лимонка, разбив стекло, так оглушительно грохнула внутри, что в ушах у Миши зазвенело. Слепящее пламя выплеснулось из легковушки, которая подпрыгнула и замерла.

Миша, забыв об осторожности, бросился к «мерседесу», надеясь найти какие-нибудь важные документы. Хорошунов не успел окликнуть его, как он уже рванул на себя дверцу. В лицо ему ударило жаркое пламя, а к ногам свалился офицер, шуба которого напоминала факел. Миша, обжигая руки, распахнул огненную шубу. Но на кителе не было ремней, портупеи и планшета.

С другой стороны к машине подбежали двое партизан. Но в это время языки пламени пробрались в мотор, а вот-вот мог произойти взрыв бензобака. Хорошунов тут же очутился возле Миши, схватил его за шиворот и оттащил в кювет, крикнув другим:

— Ложись!

Новый взрыв оглушил степь. Куски раскаленного металла фейерверком взметнулись в черное небо. Бензин, выплеснувшийся на дорогу, горел синим прозрачным пламенем, слизывая снег с колеи.

— Быстрее, быстрее,— торопил товарищей Хорошунов, подталкивая их через дорогу.— Идите прямо все, все,— крикнул он, видя, что Романов остановился подле него.

Первый километр они не шли, а бежали, то увязая в снегу на дне балок, то стуча обледеневшими подошвами по звонким замороженным проселкам. Пот заливал лица, в ногах появилась усталость, дышать становилось все труднее. Но Хорошунов, не желая замечать утомленности разведчиков, не меняя шага, все торопил и торопил группу. Он знал, что через

десять, пятнадцать, двадцать минут на место происшествия прибудут немцы или румыны. Они не могли в ближайших хуторах не слышать взрывов и стрельбы. Чем дальше успеют партизаны оторваться от преследователей, тем больше шансов на полный успех операции.

«Давно нам так не везло,— думал Миша, труся около комиссара.— Если б так каждый день нападать на немцев, из них никого бы не осталось. А то все только смотри, запоминай. Встретишь одного-двух — нападай, а если взвод, рота — уходи, прячься. Будто не мы, а они на своей земле. А Иван Федотыч молодец, отчаянный и смелый мужик. Теперь с ним буду проситься на дело».

Партизанам казалось, что опасность миновала. Они, еле волоча ноги, спустились в глубокий песчаный карьер, и, укрывшись в пещере, решили передохнуть до сумерек.

Как только закусили и запили хлеб талой снеговой водой, почувствовали, блаженное умиротворение входит в душу, в сознание — сделано все, что в силах, и теперь — спать.

Иван Федотович присел на корточки возле входа, откуда открывался великолепный обзор всего карьера, так что незаметно к ним никто не сможет подобраться. Он, словно деревянные ходули, вытянул ноги, положил на них автомат, потом глянул на светящийся циферблат часов и сказал:

— Всем спать.

Люди, кажется, только и ждали этой команды. Не успел Миша поудобнее пристроиться, как справа и слева раздалось тихое посапывание товарищей. Слушая сонное дыхание, бормотание, кашель, Миша никак не мог заставить себя закрыть веки и ощутить тяжесть обезволенного сном тела.

Ему почему-то казалось: стоит хоть час вздремнуть, произойдет что-то страшное, непоправимое. «Не могут фрицы согласиться с тем, что мы стащили у них рацию»,— думал Миша, разглядывая загадочный, как волшебная шка-

тулка, громоздкий коробок. И что в этой шкатулке — добро или зло? Оживет она завтра в умелых руках Люды или в землянке будет царить гробовая тишина?

А что если попробовать включить аппарат прямо сейчас? Хорошунов предупредил, что голову снимет с того, кто попытается прикоснуться к рации.

Миша приподнялся и поглядел на комиссара. Тот отчаянно боролся со сном. Его тяжелая, как кузнечная кувалда, рука то и дело подпирала падающую голову. Наконец рука свалилась на приклад автомата, и голова опустилась на грудь. Иван Федотович спал очень чутко. Стоило Мише повернуться, как глаза комиссара, приоткрывшись, сердито заглянули в пещеру. Убедившись, что все в порядке, они снова прикрылись тяжелыми веками.

Миша подполз к Хорошунову.

— Иван Федотович!

— Ну, что тебе?

— Вы ложитесь, а я посижу. Не спится.

— Тебе какой приказ дан? — наконец открыл глаза Хорошунов.

— Не спится,— сказал Миша таким тоном, что Иван Федотович понял, что все его разговоры о сне не будут иметь успеха. Он увидел в черных больших глазах Романова озорных бесенят. «Что-то задумал, чертенок,— отметил про себя Хорошунов.— А, может быть, действительно возбужден всем пережитым, и сон от него, как парус от ветра, бежит».

— Ну, не хочешь спать, садись рядом и гляди в овраг.

— В овраг неинтересно.

— А куда же интересно?

— Вон в тот коробок.

— Уже лазил? — встревожился Хорошунов.

— Нет, но хочу глянуть и послушать.

— Не смей! — прикрикнул на него комиссар, словно Миша уже открыл рацию и начал переключать рычажки. Сон у Хорошунова как рукой сняло. Ему только не хватает, чтобы

после стольких мытарств кто-то загубил рацию, о которой они мечтали больше месяца.

Он закурил, с удовольствием глотая дым. Конечно, если осторожно открыть крышку, вытащить наушники, поискать в эфире Москву, можно услышать что-нибудь интересное. И потом, рацию он немножко знает. Запороть не запорет.

Хорошунов подтолкнул Романова, покосившись на громоздкий зеленый коробок. Миша без слов догадался, о чем его просит комиссар. Ящерицей юркнул в пещеру, ухватился за ремень и потянул на себя тяжелый короб.

Вдвоем открыли крышку. Черная эбонитовая поверхность с разноцветными тумблерами, волновая шкала, показатели питания — все было видно, как в раскрытой книге. Иван Федотович осторожно приложил один наушник к уху, поставил рычажок на включение — замигал зеленый глазок индикатора. Наконец он нажал черную клавишу. Словно преодолевая грозовые разряды, в пещеру пробрался трескучий звук.

— Слушай, ты же понимаешь немецкий.— Хорошунов протянул наушник Мише.

— Внимание! Внимание! — говорил встревоженный голос.— Доводится до сведения всех частей, расположенных в полосе Котельниково — Потемкинская и Ремонтная — Цимлянская, что в этом районе обнаружена партизанская группа численностью до роты...

Говоривший приказывал всем вверенным ему подразделениям принять самые решительные меры в борьбе против партизан...

— Теперь они устроят на нас облаву,— сказал Миша, довольный тем, что их группу приняли за целую роту.

Хорошунов нажал другую клавишу. В наушниках раздался треск, и все звуки исчезли. Иван Федотович тихо вращал рубчатое колесико волновой шкалы. Откуда-то издалека, казалось, из вселенной в песчаный карьер долетели слабые сигналы, их перебивал невнят-

ный голос. И вот они услышали русскую речь. Сомнений не было. Это говорила Москва. Они узнали голос Левитана. Советский диктор сообщал, что в районе Сталинграда наши войска перешли в наступление и за пять дней боев, прорвав фронт противника, соединились в районе города Калач-на-Дону... Окружена армия Паулюса. Ведутся бои по уничтожению группировок...

Хорошунов крепко прижал к себе мальчишку.

— Скоро конец, Миша! — шептал взволнованный Иван Федотович.— Зря мы пошли к Ростову. Нужно было двигаться к Красноярскому. Оттуда рукой подать до Калача. Ну, ничего. Свяжемся с центром, получим директиву.

Он выключил рацию, объяснив:

— Питание нужно беречь. Главное мы с тобой знаем.

Комиссар закрыл ящик, запрятал в гнездо антенну и, причмокивая, как малыш конфетой, опять закурил.

— Мишка! — воскликнул радостно Хорошунов.— Ты не представляешь, какое грозное оружие у нас появилось!

Он глянул на только что крепко спавших товарищей. Все они с затаенной искрой надежды смотрели на комиссара. То ли голос московского диктора, то ли восклицание Ивана Федотовича, то ли шестое, подсознательное чувство свершения чего-то сверхъестественного разбудил их. Теперь они напряженно ждали слова своего партийного вожака. И он, глотая вместе с дымом тугой комок, взволнованно сказал:

— Товарищи, друзья! Под Сталинградом Красная Армия перешла в наступление!

Не сговариваясь и не ожидая команды, все дружно, но негромко прокричали «ура». Хотя в душе они верили, что скоро врагу будет нанесен сокрушительный удар у стен волжской крепости, но известие все равно ошеломило их

своей неожиданностью. И от сознания того, что каждый из них причастен пусть маленьким, крошечным вкладом к этому событию, чувство радости, гордости переполнило их сердца.

Их лишения, муки, жертвы не пропали даром. Пусть враг еще силен, бешено сопротивляется, пусть он еще свирепствует на их священной земле, но этому грядет конец. Пройдет от силы месяц, другой, и Красная Армия раздавит эту коричневую чуму, зажатую в стальном кольце междуречья.

— Мы сделали многое,— сказал Хорошунов, снова закуривая.— Но, думаю, что предстоит нам сделать больше. Во-первых, во что бы то ни стало мы обязаны доставить в отряд рацию в целости и невредимости. Ей же цены нет, дорогие ребята! Представляете, свяжемся с центром, который, наверное, все жданки прождал... Свяжемся с центром, доложим: так, мол, и так — жив курилка. Не просто живет, хлеб жует, но кое-что и делает...— Ивана Федотовича прямо-таки прорвало. Он говорил, захлебываясь от восторга и счастья, спеша вобрать воздух, говорил в этой полутемной, дикой пещере столько, сколько, очевидно, не говорил после того, как ушел из райкома партии на фронт.

— И еще будет делать,— подал голос Красноюрченко.

— Точно! — поддержал его Хорошунов.— Второе, что сделаем, ребята, это нападем на ближайший гарнизон, уничтожим его ко всем чертям, соберем митинг и расскажем нашим советским людям правду о Сталинграде, о нашей борьбе в тылу оккупантов... А потом заминируем дорогу. Немцы сунутся и — без плацкарты на тот свет! И еще вот что: кому-то непременно нужно срочно пробраться в Котельники, связаться с подпольщиками, узнать, где и сколько действует партизанских групп... А когда объединимся...

О том, что они будут делать, когда произой-

дет желанное объединение партизанских сил, комиссар не смог поведать своим партизанам. Потому что в это время на краю обрыва появилось несколько солдат в длинных темных шинелях. Они вытянулись цепочкой вдоль крутого склона и, указывая вниз, начали о чем-то договариваться.

— Немцы,— прошептал Хорошунов, надеясь, что враги появились случайно, а не пришли по их следам. Но на всякий случай он машинально направил ствол автомата в их сторону. Все затаились, будто немцы стояли не в сотнях метров от них, а у самого входа в пещеру.

«Пока есть время — лихорадочно думал Хорошунов,— будем уходить. Сначала — за мысок, а оттуда — в овраг...»

Подошедшие не решались спуститься в карьер, и это насторожило еще больше Хорошунова. Значит, враги появились не случайно. Просто они боятся сунуться, ждут подмоги. Ну, а нам ее ждать неоткуда. Он приказал двум бойцам с рацией выбираться и уходить оврагом в степь.

— Держитесь левее,— напутствовал он их.— Подальше от грейдера. В случае чего, один уходит, другой отвлекает немца на себя...

Сливаясь с серыми глинистыми выступами, двое ползком выбрались из пещеры в овраг. Хорошунов ни на секунду не спускал глаз с топчущихся у обрыва немцев и румын. Миша уже взял на мушку первого, кто попытается сделать хоть шаг по тропинке в карьер.

— Ты, герой, тоже иди с ними,— предложил пионеру комиссар. Но Миша отрицательно махнул головой.— Надо же их прикрывать кому-то,— попробовал его убедить Хорошунов.

— Пошлите Красноюрченко, а я — с вами.

Иван Федотович сердито глянул на Мишу. Тот, не замечая его взгляда, продолжал следить за врагами. «Может, все обойдется»,— решил про себя комиссар и кивнул бойцу Красноюрченко. Тот молча протянул оставшимся руку и быстро по-пластунски выбрался

из пещеры, юркнул за мыс и бесшумно исчез в том же направлении, куда скрылись двое с рацией.

Прошло с полчаса, прежде чем над обрывом появилось еще несколько солдат в высоких черных и белых папахах. Подъехала подвода. Солдаты достали с нее лопаты и начали спускаться вниз.

— Ну, теперь не дышать,— приказал Хорошунов, продолжая зорко следить за врагами. Те подошли к яме, откуда не так давно брали песок, и начали выбрасывать его в одну сторону. «Или для кого-то яму копают, или песок для отправки готовят?» — терялся в догадках Иван Федотович, пока не увидел, что яма углубляется и выравнивается. «Значит, кого-то расстреливать привезут»,— сделал окончательный вывод комиссар и поглядел на своих товарищей. Те тоже прекрасно поняли, для кого предназначается яма, которую молча копают солдаты.

Когда они скрылись в яме, на краю карьера остановилась легковая приземистая автомашина. Из нее вышел офицер и приказал прекратить работы. Повеселевшие землекопы выбрались из ямы и, балагуря, наперегонки побежали вверх по тропинке, выкрикивая: «Ремонтная, Ремонтная».

«Кого-то в Ремонтную отправляют,— догадался комиссар.— Может, тех, кто склад взорвал, а может, других...»

Как только в степи снова стало тихо, Хорошунов снял треух, вытер обильный пот со лба и улыбнулся: пронесло.

С наступлением сумерек они вылезли из укрытия и той же тропой, которой днем ушли трое, двинулись на запад. Дневное солнце и ветер уничтожили следы Красноюрченко и его товарищей. Лишь кое-где в низинах едва виднелись тяжелые отпечатки ботинок. Там, где овраг раздваивается, партизаны взяли левее, надеясь догнать группу с рацией в степи.

Они прошли десять, пятнадцать километров,

но следов группы нигде не обнаружили. Зато вышли к хутору, протянувшему свою единственную улицу вдоль лимана какой-то речушки, подошли во тьме. Худосочные белесые дымки кое-где поднимались над камышовыми крышами, сквозь окна, очевидно, сельсовета или школы едва-едва пробивались скупые полоски света. Улица, словно предупрежденная кем-то, притаилась в немом ожидании: ни голосов, ни лая собак. От этой затаенной тишины (а может, от знобящего сиверка) по спине поползли мурашки.

Луна осторожно, как и партизаны, выглянула из-под бугра. Немигающим оловянным глазом пристально вглядывалась в населенный пункт. Потом, как бы осмелясь, приподнялась над горизонтом, чтобы лучше рассмотреть бескрайний степной простор.

Отряд прижался к камышовой стене. Скрытые призрачной тенью партизаны прошли метров двести окраиной. Ничто не нарушало вечернего покоя. Ни вражеской техники, ни повозок, ни мотоцикла не заметили во дворах, у крыльца сельсовета.

«Одно из двух,— подумал Хорошунов,— или ушли искать нас по приказу генерала, или завалились спать, нажравшись шнапса. Как бы то ни было, проверим».

В это время Миша прошептал:

— Стой, провод!

Над тонким черным проводом, змейкой бегущим поперек речной поймы, склонились все, точно встретили в студеной военной степи не телефонный провод, а золотую жилу.

— Это прекрасно,— наконец сказал комиссар, опуская кусок провода на землю.— Лучшего ориентира не найдешь.

В его голосе снова появились те нотки решимости, отваги, даже какого-то молодецкого лихачества, которые звенели там, в пещере, когда он страстно говорил партизанам и о контрнаступлении под Сталинградом, и о том, как они теперь будут жить и действовать, имея

такую великолепную вещь, как рация. И его голос, полный уверенности в неизменности удачи, придал бойцам не только физической силы, но, что еще важнее,— душевной бодрости.

— Айда за мной,— приказал Хорошунов, продираясь сквозь прямо-таки железные камышовые заросли, не теряя из вида провод, брошенный теперь на ветки яблонь чьей-то левады. Комиссар решил зайти в первый дом, проверить свою догадку. Он почему-то был больше чем уверен, что немцев в хуторе нет. Не потому, что хутор глубинный, далекий от грейдера и больших проселочных дорог, а потому, что знал по опыту, если нет техники, складов, то в таких хуторах, как правило, делами заправляет староста с жалкой кучкой полицаев из числа предателей и трусов. Эти молодчики храбры лишь против безоружных хуторян, а стоит им встретиться с партизанами, они предпочитают укрываться понадежнее за фашистскими автоматчиками.

Хорошунов, не опасаясь, шагнул к крыльцу дома, постучал не очень громко, но и не тихо, чтобы слышали внутри.

— Кто там? — скоро донеслось из сеней.

— Свои, русские,— отрекомендовался комиссар спокойно, словно давно знал обитателей дома.

Дверь открылась. В темноте показалось испуганное лицо девушки. Очевидно, она приняла Хорошунова за окруженца или беженца из лагеря военнопленных и сразу ушла в глубину сеней, кого-то окликнув.

— Не пугайтесь, свои!

— Немцы есть? — спросил Иван Федотович.

— Были,— сказала девушка, снова появившись в дверном проеме.— Да вы проходите. Они утром еще сели на машину и уехали. Говорят: ловить партизан.

— Что ж, ни одного не осталось? — с радостной тревогой спросил комиссар.

— Может, хворые какие остались. В школе

у них казарма,— обстоятельно говорила молодая хозяйка.— А так староста да три полицая. Вот и вся власть. Да вы пройдите,— уже настойчивее пригласила она гостя.

— Недосуг,— отмахнулся Хорошунов.— Или боишься, кто-нибудь увидит?

— Особенно не боюсь,— обидчиво ответила девушка.

— Тогда покажи, где староста с полицаями живут.

— Староста нашенский, живет в третьем доме за школой. Вон школа. Длинная. В ней ни одного огня. Значит, никого там нет. А полицаи пришлые. Живут прямо в бригадной конторе. Тоже там, за школой. Отсюда не видать, но вы сразу найдете. Перед конторой постамент стоит. Памятник фрицы разбили, а постамент остался.

Хорошунову казалось, что девушка не может остановиться и потому говорит без передыху. Он уже давно понял и оценил обстановку, уже в его голове выработался план действий, а она все говорила, думая, что еще не успела поведать о главном.

— Только там их может не быть,— снова вернулась она к полицейским.

— А где же они?

— Да у кого угодно могут гостевать. Сами увидите, если огонь есть, значит, там. Если нет, значит, нет.

— Ну спасибо тебе, дорогуша,— поблагодарил от души ее комиссар.— А можешь ты пробежать по дворам и позвать всех жителей в контору?

— Это зачем еще? — насторожилась вдруг девушка, с тревогой думая, что допустила оплошность, так откровенно разговаривая с незнакомым ночным гостем. Ведь он мог быть посланцем полицаев, провокатором. Лицо ее сразу замкнулось.

— Да не пугайся ты, дурочка,— по-отечески пожурил ее Иван Федотович.— Мы советские партизаны...

— Те самые, которых немцы ищут.

— Те самые! Мы сейчас с гадами разделаемся, а потом митинг проведем. Чтоб вы всю правду знали.

— Тогда я мигом,— не сомневаясь и не опасаясь больше ничего, сказала девушка.

Иван Федотович вернулся в сад. Его обступили партизаны. Хорошунов вкратце передал им сведения и решительно скомандовал:

— На всех парах жмем к конторе. Ты, Илья,— сказал он Хлопотько,— бежишь к дому старосты. Третий дом — за школой. Постарайся взять живым. А мы займемся полицаями. Мишутка, режь провод и тащи его к конторе. Ну, пошли!

Бежали, не чуя под ногами земли. Казалось, не было изнурительного перехода, волнений, переживаний. Бежали с надеждой: исполним свой долг. Вот и дом старосты. Хорошунов указал Илье: давай туда. А всем остальным махнул рукой — за мной! В неказистом домике, перед которым возвышался внушительный постамент, было темно. Операция осложнялась.

«Поспешил ты, товарищ,— остановил себя Хорошунов.— Девчонка предупреждала: могут где-то бражничать эти шаромыжники». Но отступать было некуда.

— Двое оставайтесь здесь, следите за улицей,— приказал он Романову и Крикунову.— А вы — в дом.

Не запертая изнутри дверь распахнулась легко и широко. Тотчас кинжальный луч карманного фонарика прорезал комнату и остановился на трех кроватях, составленных почти впритык справа от стола. «Блюстители порядка» оказались, на счастье, дома. Они были уверены, что немцы давно нашли партизан и им нечего опасаться. Обрадованный такой удачей, Хорошунов крикнул:

— Партизаны!

Ему очень хотелось, чтобы кто-то из полицаев успел выстрелить в темноту, в кричащего.

Тогда у него было бы полное основание расстрелять этих предателей на месте. Двое вскочили, но, ослепленные лучами фонариков, даже не сделали попытки потянуться за винтовками. Третий приподнял тяжелую голову и тут же уронил ее на подушку, зло бормоча:

— Доиграетесь, сучьи дети.

— Встать, сволочь! — взъярился Хорошунов, шагая к кровати с пистолетом в руке. Почуяв, что его не разыгрывают, а действительно в доме командует кто-то посторонний, может быть, партизаны, третий поднялся с постели и, защищая глаза от света одной рукой, другой что-то искал за спиной. Это движение не скрылось от зоркого глаза комиссара. Он был вправе выстрелить первым. И он использовал это право. Полицейский, не убирая руки от глаз, запрокинулся навзничь. Из-под его черного френча зловеще сверкнуло дуло карабина.

— В самый раз ты его, Иван, а то уж я хотел,— сказал кто-то за спиной Хорошунова. Два других полицая бухнулись на колени и начали слезно молить партизан не расстреливать их, потому что они не добровольно пошли в услужение к немцам, а только из-за боязни подохнуть в лагере военнопленных.

Кто-то зажег лампу на столе, и в это же время Хлопотько ввел человека в нательной рубашке, черных галифе и добротных сапогах. Держа руки за спиной, человек представился:

— Здешний староста. Избран всенародно.

— Проверим,— пообещал ему Хорошунов и спросил: — А эти паразиты?

— Пришли вместе с оккупантами.

— Лютовали?

— Да ведь приказ,— неопределенно пожал плечами староста.

— Что «приказ»?! — взвыл один из полицаев.— А ты, гнида, не исполнял приказов коменданта?

— Ясно,— подвел итог перебранки Хорошунов.— Соберем народ. Он решит вашу судьбу.

— Идут! — крикнул из-за двери Миша и, исчезнув в темноте, кого-то позвал: — Быстрее, товарищи!

В комнату входили старики и старухи, женщины и подростки. Они от души жали руки партизанам и благодарили их. Когда собралось человек двадцать, комиссар сказал:

— Дорогие товарищи! Мы — советские партизаны. Собрали вас для того, чтобы сказать вам, что Советская власть существует и что никакая фашистская сволочь не в силах одолеть ее! Верьте, товарищи, что скоро придет конец всем нашим мучениям. И порукой тому начало наступления Красной Армии под Сталинградом!

Он видел, что на просветлевших лицах собравшихся блестели слезы. Это были слезы радости, слезы надежды и веры. Старые неистово крестились, вознося хвалу богу, молодые задорно толкались и, не опасаясь последствий, прокричали «ура».

— Товарищи! Вы должны еще активнее бороться с врагом, помогать Красной Армии скорее приблизить нашу победу. Наше сообщение вы должны передать всем, кому можно. Пусть советские люди знают правду! А теперь вы должны решить, как нам поступить с этими прихвостнями оккупантов? Не бойтесь, говорите все, что знаете, что думаете.

— Да что гутарить,— со злостью бросил старик, стоящий возле плиты.— Точнее того слова, которое ты сказал про них, и не найдешь.

— Верно!

— Гады!

— Продажные шкуры!

— Моего Гриньку за пачку сигарет...

— А Любашку... так изуродовали — не узнать.

Гудела возмущенная стена, а трое затравленными волками жались к столу, боясь, что кто-то сейчас бросится на них и растерзает.

— И староста? — уточнил Хорошунов.

— Он-то у них главная овчарка, даром что местный.

— Ясно! — сурово произнес комиссар.— Защитники есть? Нет. Подсудимым последнее слово дадим?

— Нет,— единодушно высказался сход.

— Садись, Василь,— попросил Хорошунов одного партизана.— Пиши приговор. Именем Российской Федерации и Центрального штаба партизанского движения на Сталинградском фронте чрезвычайная тройка в составе меня, тебя и кого-то из вас, товарищи... Вот вас, отец,— обратился к тому, кто стоял возле плиты, грея сухие, озябшие руки.— Так. И товарища Кленова, рассмотрев в открытом заседании дело об изменниках Родины и врагах советского народа...

— Машина! — крикнули в это время с улицы.

Народ шарахнулся к двери, тут же создав пробку в проходе.

— Назад! — потребовал Хорошунов.— Без паники. Там наши товарищи. Остановят, задержат. Поэтому прошу по одному. Садами добирайтесь. Ну, а с этими приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

— Ясное дело. Не подлежит. Кончай их, извергов. Быстрее,— гудела толпа, выбираясь из комнаты.

Машина, бросая на дорогу снопы света, приблизилась к окраине хутора и, не заезжая на его улицу, ушла в направлении хутора Семичного.

Когда рокот мотора заглох, над силосной ямой прозвучал короткий дружный залп: приговор был приведен в исполнение.

Прощаясь с теми, кто провожал партизан до околицы, Хорошунов пообещал:

— Мы скоро вернемся, товарищи!

В приподнятом настроении уходила группа пологой ложбиной в ночь, на встречу со своими боевыми друзьями, уходила, чтобы обрадовать отряд первой удачной операцией после на-

чала наступления родной армии под Сталинградом.

Лишь на третью ночь подошли к Лобову. И он точно вымер — ни огонька, ни звука. Решили вторично не испытывать судьбу, тем более что заметили тягач и много подвод. Разделились по одному, обошли примыкающие ложбины, балки — никого. Сошлись севернее Лобова. Усталость валила с ног. Но Хорошунов сказал твердо:

— До рассвета выйдем к Киселевке. Там узнаем.

Смутная тревога запала в сердце партизан. Ведь обещали ждать возле Лобова. Неужели что-то случилось? Не должно бы. Ни в балке, ни на дороге они не встретили следов боя. А вдруг в карьере для них копали яму? От такой страшной догадки даже озноб прошиб. Хорошунов заметил, что больше других растерялся Миша. Он остановился и стал внимательно оглядываться вокруг.

— Что потерял? — подошел к нему Иван Федотович.

— Куда они могли деваться?

— Отыщем! — уверенно сказал Хорошунов и снова зашагал, надеясь к утру добраться до Киселевки, где у отряда была связная.

Когда на фоне серого мглистого неба нечетко выступили окраинные дворы Киселевки, Хорошунов спустился в балку и сказал Мише:

— Ну, пионер, разгружайся. В хутор пойдешь беженцем. Разыщешь Горпину Московенко, попросишь у нее ситного хлеба. Она ответит: «Где ж его возьмешь?» Тогда попросишь хоть просяную лепешку. Ждем тебя здесь.

У первого встречного казака Миша спросил, где разыскать Горпину Московенко. Старик, равнодушно взглянув на маленького оборвыша, показал крайнюю саманную хату.

Сперва Горпина встретила мальца приветливо, но когда он попросил у нее ситного хлеба, испуганно зыркнула на соседние плетни и проводила в хату.

— Ищут вас,— сообщила Московенко, и на ее испитом лице лихорадочно загорелись глаза.— Вчера днем около грейдера остановили троих с сундуком. Но они перебили патруль и сбежали.

— Куда? — Миша понял, что это был Красноюрченко с товарищами. Как они умудрились выйти на самую оживленную грейдерную дорогу? Непонятно. На что рассчитывали? На эти вопросы Московенко не могла ответить разведчику.

— Стало быть, ты не от них,— облегченно вздохнула женщина, положила перед Мишей кусок просяной лепешки и пару картофелин.— Закусывай, а я тебе скажу, куда дальше путь держать.

Из хутора Горпина велела выйти с очередной толпой беженцев. Их тут каждый день ходит видимо-невидимо, и комендант рукой на них махнул. Сперва было строго — документы требовали, а теперь пороются в мешках и кошелках, что получше найдут — оставят себе, а хозяев отпускают на все четыре стороны. Но проход разрешается только до комендантского часа. Как смеркнется, патрульные стреляют в любого, кто появится на дороге и не отзовется на пароль. Вчера от Ломакина приходил паренек. Шустрый такой, белобрысый, взял у нее банку соли. Сказал, что провиантом они себя обеспечили до конца войны. Еще сказал, что день-другой партизаны будут неотлучно находиться за хутором Лобовым, в балке Базовой.

— Их там нет.

— В кошаре смотрели?

— Туда мы не заходили, думали, там немцы.

— Какие немцы,— оживилась Горпина.— Они туда и носа не кажут. Место там очень удобное.

Пока Миша доедал картошку, Московенко рассказала ему, что в Киселевке стоит эскадрон румын, а в Лобове остановилась артиллерийская часть. Румыны ждут, что их не сегод-

ня-завтра перебросят на передовую, которая, по слухам, подошла к Абганерово.

На дорогу она дала Мише три лепешки и с десяток картофелин.

С этими вестями пришел Миша к Хорошунову.

КОРОТКИЙ ПРИВАЛ

С наступлением темноты четверка двинулась по указанному адресу. Теперь они смело шли к двум кошарам, затерянным в степи, в окружении больших скирд прошлогодней соломы. Под ветрами, дождями, морозами скирды почернели и походили больше на земляные курганы. От их черноты веяло чем-то мертвым, страшным. «А вдруг тут никакого отряда нет,— с беспокойством думал Хорошунов, приближаясь к крайней кошаре.— Встретит нас вражеская засада». Он остановился в затишке, держа автомат, шепотом приказал:

— По одному — к скирдам, а я — тут.

Миша подкрался к дальней скирде. Из одного бока ее было выдернуто много соломы. Она, клочками разбросанная, тянулась к ближней овчарне. Почти касаясь лицом земли, Миша подобрался к саманной стене кошары и вдоль нее неслышно, будто кошка, пошел к дверному проему. Внутри помещения зашуршала солома и наступила та тишина, которая пугает своей неизвестностью и которая так манит к разгадке тайны нетрусливого человека. «Конечно, самое верное, что я сейчас должен сделать,— подумал пионер,— вернуться к Хорошунову и доложить ему обстановку. Ну, а если в кошаре действительно свои, они же потом засмеют меня». Он на всякий случай проворковал голубем.

— Куу-кру-кухуу.

И тотчас же из темноты кошары ему ответила обрадованная горлица:

— Курр-кукурр.

Миша узнал по голосу Баннова. Вася тоже

когда-то водил голубей, и уже в партизанской школе они с Романовым, не раз вспоминая своих сизарей, подражая им, на забаву старшим перекликались. Пригодилась голубиная охота!

Миша сразу очутился в крепких объятиях Василия. В кромешной тьме, ему казалось, он видел счастливые лица боевых товарищей.

— Один? — возбужденный встречей, шептал Баннов, передавая Мишу в руки других.

— Четверо. Они там...— тоже шепотом отвечал мальчик, неловко прижимаясь к холодным щекам партизан. Но вот к нему прикоснулись мягкие щеки, и он сразу понял, что это девичье лицо. Он напряг зрение и скорее догадался, чем различил смутные черты Людмилы Крыловой, и тут острая боль резанула его юное сердце: сейчас сказать или после о гибели подруг.

Ломакин знал эти места еще с тех времен, когда работал экспедитором по заготовке скота в Котельниковской потребкооперации. Сюда, к знакомым чабанам, он заезжал, чтобы взглянуть на отары, полюбоваться златорунными кавказскими овцами. Не раз ночевал у таганка гостеприимных хозяев в прохладной землянке, примостившейся на склоне Базовой балки. Из колодца черпал студеную воду, которая по утрам приятно обжигала его мускулистое загорелое тело и бодрила, опрокинутая из ковшика в рот.

Место это было глухое. От Киселевки и от Лобова оно стояло посередине — километрах в семи от обоих хуторов. Без нужды сюда и в доброе время никто не ездил. А теперь, с приходом немцев, Базовую балку и вовсе позабыли. Овец тут давно не стало. Одних угнали в эвакуацию, других забрали оккупанты еще летом. Даже сложенная в скирды солома не привлекала фуражиров: обходились сеном, накошенным в займище и сметанным в стога во дворах хуторян.

Прямо от землянки тропа убегала на дно

балки, которая затем переходила в глубокий с отвесными склонами овраг. Так что, по мнению Пимена Андреевича и его дружков-ветеранов, лучшее место для временной базы отряда трудно было отыскать. Кошары, хоть и были давно не ремонтированы, все же надежно защищали от ветра. В одной из них, заткнув соломой длинные низкие оконца, разместился сводный отряд, в другой сложили принесенную провизию. Штаб обосновался в землянке. Ближнюю скирду приспособили под наблюдательный пункт. Решили остаться на день-другой. Может быть, появится группа с рацией. Тогда, связавшись с центром, получить новые указания и действовать не на свой страх и риск, а дождаться подкрепления и ударить по гарнизону Киселевки.

День прошел спокойно. С наблюдательного поста степь, как фанерный лист, просматривалась далеко. К вечеру, как только красное колесо солнца скрылось за бугром, синие сумерки принесли с собой холодный ветер, то и дело бросавший на скирды хлопья колючего снега. За день отдыха партизаны почистили оружие, перевязали раненых, смогли сварить мясо, напечь пресных лепешек. Нападение на обоз, известие об удачном рейде группы Хорошунова и его рассказ об услышанной сводке Совинформбюро вселяли в людей бодрость и надежду. Партизаны с нетерпением ждали группу Красноюрченко. Они верили, что, даже напоровшись на патруль, молодые находчивые и сильные ребята не бросят рацию, выйдут к своим.

Крыловой казалось, что дозорные смотрят не в ту сторону, и она сама несколько раз выбиралась по веревке вверх, отнимала у ребят бинокль и долго пристально вглядывалась в каждую складку местности. Но кроме подвод и беженцев ей ничего не удавалось заметить на дорогах. Она даже пошла к командиру и попросила послать несколько разведчиков в степь, по балкам, на розыск пропавшей груп-

пы. Может, они сидят где-то недалеко, притаились, как суслики, в какой-нибудь пещере. Ведь обошел же сначала Хорошунов кошары дальней стороной.

— Не могу рисковать людьми,— убежденно ответил Ломакин.— Немцы после наших вылазок только и ждут, когда мы попадемся им на глаза. Подождем. Надо товарищам отдохнуть. Дорога предстоит дальняя. Так что набирайся силенок.

— Не нужны мне силенки,— гневно возразила Людмила.— Я бы на вашем месте подняла отряд да трахнула батарейцев в хуторе. Они наших хватают, расстреливают, а мы все от них прячемся.

— Боец Крылова,— спокойно, но твердо сказал Пимен Андреевич.— Я понимаю ваше состояние. Я на своем веку много хороших друзей-товарищей потерял... Но никогда, слышите, никогда не позволял своему горю командовать собой.

Людмила разрыдалась и, уткнувшись в плечо Ломакина, бормотала:

— Простите, меня, простите... Я хочу мстить за Наташу и Феню... Какие это были девчата!

— Отомстим, дочка,— погладил ее голову старый коммунист.

Он не знал учительницу Власову, только слышал о Нарбековой Фене, которая умела ловко сочинять частушки, но он хорошо помнил своего боевого друга Сергея Ивановича, который до последних дней остался верным воинской присяге красных партизан: сам погибай, но товарища выручай. И принял смерть от руки палачей вместе с комсомолками, по старой своей привычке ругая всю мировую контру, на каком бы языке она ни разговаривала, в какие шинели бы ни рядилась.

— Отомстим,— повторял Пимен Андреевич,— за каждого нашего человека враги поплатятся сторицею. Но для борьбы нужны силы и мужество. Верно, крестник? — призвал он на помощь Мишу, который сидел возле

крошечного оконца и слушал их разговор, положив на колени растрепанные странички книжки про своего любимого парижского оборвыша...

Вот был парень так парень. Ни при каких обстоятельствах не терял присутствия духа. И непременно Павка Корчагин и Зоя Космодемьянская, летчик Гастелло и немецкий пионер-спартаковец Карл Бруннер знали мальчишку с бульвара Тампль. Ну конечно, прав Пимен Андреевич. Не уйти фашистам от расплаты. Вот уж не думал Миша, что ему придется когда-нибудь успокаивать таких взрослых и опытных партизан, как Крылова. Еще вчера, когда улеглось волнение от первых минут встречи и Миша, в обнимку с отцом, сидел в землянке при докладе Хорошунова, он все время думал, как рассказать Крыловой о подругах. Ее и так расстроил комиссар сообщением о том, что люди с рацией по его приказу ушли из пещеры. А тут еще Миша добавил про услышанное от Горпины Московенко. Людмила даже в лице переменилась. Решил поведать ей тайну, когда вышли из землянки командира.

— Людмила Дмитриевна,— задержал ее, поднявшись по крутым земляным ступенькам.— Фашисты расстреляли Наталью Леонтьевну и Феню.

Крылова недоверчиво взглянула на пионера. Откуда у него такие сведения? Почему Хорошунов ничего об этом не сказал? Почему он сам молчал так долго, если узнал давно? Слезы душили радистку. Она вцепилась в плечи подростка и пытливо заглядывала в его большие черные глаза, питая каплю надежды на то, что Миша скажет: сведения непроверенные, но Романов упрямо смотрел в глаза Крыловой, и она не выдержала. И тогда Миша впервые услышал ее отчаянное рыдание. Вот такое же, как сегодня. «Нет, не женское это дело — война»,— убежденно думал Романов. Он засунул остатки любимой книжки за пазу-

ху, поднялся и подошел к Крыловой. Что он должен сказать ей, чем утешить! Ведь Пимен Андреевич все сказал. Миша положил свою руку на плечо девушки и тихо спросил:

— Помнишь, ты читала стихи про большевиков? «Гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей».

И Людмила поняла его намек. Она согласно кивнула и отошла от Ломакина. Вытерла слезы, оправила фуфайку и, опустив руки по швам, спросила:

— Разрешите идти?

Едва стихли ее шаги, Ломакин попросил Мишу:

— Ступай к ней. Видишь, расклеилась дивчина. Чего доброго, еще среди раненых расплачется, совсем беда будет.

Миша догнал Крылову возле кошары. Она шла, осторожно ступая по мерзлой земле, будто боясь наступить на мину. Голова ее качалась в такт шагам. Она не повернулась к Мише, когда он пошел в ногу с ней, не взглянула на него. Чем гуще замешивались сумерки над балкой, тем печальнее становилось лицо радистки. С последним лучом в ней, казалось, угас последний луч надежды на возвращение группы с рацией. Не заходя в кошару, она еще раз приблизилась к скирде и с трепетом спросила:

— Не видно?

— Нет,— коротко, точно сбросили камень, ответили сверху.

Они вошли в кошару. В дальнем углу, отгороженном куском мешковины, мерцала плошка. Партизаны сидели на разостланной свежей соломе. Раненые спокойно лежали вдоль стены. Возле них хлопотала Лена Туркец. Заметив Мишу, партизаны прервали неторопливую беседу и попросили пионера спеть. Василий Баннов встал у двери и ободряюще кивнул земляку: давай, мол, начинай.

— Какую? — спросил Романов, присаживаясь в кружок.

— Какую-нибудь душевную. Про ямщика...

И через секунду в темном безмолвии кошары мальчишеский голос, словно звенящий под дугой колокольчик, заполнил низкое помещение:

Степь да степь кругом,
Путь далек лежит,
А в степи во той
Умирал ямщик...

Кто-то из партизан подхватил песню вполголоса, и она, крепчая от строки к строке, набирая силу, билась о черные углы, тонула в ворохах соломы.

Перед сном Людмила, Василий и Миша вышли из кошары — захотелось немного размяться. Укрываясь от пронзительного ветра, они спустились в балку и медленно пошли по извилистой тропинке вниз, туда, где едва заметной бороздкой пробивался родник. Небо над их головами отсюда, со дна, казалось темнее, а звезды выше.

Глядя на мерцающие светила, Баинов признался:

— Никак не могу поверить, что на них кто-то, как на Земле, живет.

— Когда-нибудь мы в этом убедимся,— задумчиво ответила Людмила.— Однажды прилетят оттуда подобные нам существа и скажут: «Здравствуйте, земляне!»

— А у нас в это время уже не будет войны? — поинтересовался Миша.

— Конечно. Это же будет очень нескоро. А может быть, скорее, чем мы думаем. Всякий раз, когда я вижу летящую комету, ловлю себя на мысли: может, это звездные пилоты ведут свой корабль на нашу планету? Ах, ребятки, как хочется дожить до этих дней! Со стартовых площадок будут подниматься стальные ракеты с людьми.

Сначала, как говорил Константин Эдуардович Циолковский, человек побывает на ближайших планетах: Луне, Марсе,— а потом

устремится в Галактику... Однажды мы ездили в Пулковскую обсерваторию, и нам разрешили посмотреть на небо в мощный телескоп. Это незабываемое зрелище. Звезды, планеты — все приближено на тысячи километров. Кажется, протяни руку — и ты ухватишься за огненное кольцо Сатурна. Помню, я после этого так увлеклась астрономией, что серьезно подумывала переменить профессию... Но потом решила: останусь учительницей. Ведь каждый человек, в сущности,— это неразгаданная звезда. Открыть его, то есть выявить все его творческие возможности и направить их для служения человечеству — что может быть прекраснее такой цели?

Людмила говорила вдохновенно, точно они шагали не по темной балке, окутанной холодной декабрьской ночью, а шли по сказочной земле. И ее приподнятое настроение передавалось спутникам. Они уже иначе рассматривали яркие звезды в ночи, иначе думали о своей жизни, о предстоящих боях. Они верили, что выиграют любой бой с врагом. Они же должны дождаться путешественников с других светил... А может, им самим предстоит дальняя дорога. Все возможно. Они ведь молодые. У них все, все впереди.

Они вернулись в кошару, когда ее обитатели уже спали чутким сном. Вспушили солому и, прижавшись друг к другу, заснули с надеждой, что завтра Людмила услышит в наушниках не только голос партизанского центра, но и очередную сводку Москвы о разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом, а может быть, и по всему фронту от Баренцева до Черного моря...

Утро выдалось ясным, тихим. Солнце, словно огненный шар, медленно катилось по темной линии горизонта. Казалось, оно набирает скорость, чтобы затем, оттолкнувшись от земли, уплыть в голубое безоблачное небо. Глядя на него, Миша вспоминал вечерний разговор о других мирах, и его юное сердце не хотело

верить, что и там, в неведомом пока нам мироздании, существа, подобные землянам, ранят свою планету бомбами и снарядами, затмевают небо дымом разрывов и пожарищ.

Проводив Василия Баннова в дозор на скирду соломы, Миша не пошел в землянку, а сел, привалясь к саманной стене кошары и, согретый теплыми лучами декабрьского солнца, задремал. Вышли погреться на солнце и другие партизаны. После холодной ночи было приятно ощущать на своем лице эту теплую успокаивающую ласку. И тихий, как утро, разговор велся о том, кто чем занимался в мирные декабрьские дни. Сквозь приятную дрему Миша слышал рассказы о ремонте тракторов и машин, о подвозе кормов на ферму, о веселых шумных многолюдных свадьбах, о большом городе на Неве, о студенческих сессиях, для подготовки к которым всегда не хватало одного вечера...

Первым скрип тележных колес услышал Василий Баннов. Разморенный солнцегревом, он прикорнул.

В эти короткие минуты настороженной дремы привиделся ему удивительный сон. Будто кончилась война. Снова на его земле наступила горячая пора весенней пахоты и сева. Но, оказывается, не могут люди сеять. Попробовали вспахать клин возле Семичинской балки, трактор напоролся на мину, в Приконском нашли целый склад боеприпасов, припрятанный фашистами в степи... Словом, почти всюду людей поджидала притаившаяся в земле смерть. И тут пошли письма, звонки в районный центр, что, мол, ждем минеров. «Кому поручить такое ответственное задание»? — задумался бывший комиссар партизанского отряда, а теперь председатель райкома Осоавиахима Иван Федотович Хорошунов, собрав своих дорогих друзей-товарищей, с которыми не так давно громил оккупантов в этих самых местах, а ныне подчиненных ему инструкторов. В том, что они снова оказались все вмес-

те, ничего удивительного не было. Договорились еще там, в Базовой балке, если выживут — не расстанутся. Оказалось, что большинство вернулось домой. А уговор фронтовиков дороже всяких денег. Так вот они все и оказались теперь под началом своего замечательного комиссара.

Посмотрел Иван Федотович с грустью на каждого: понимал, что предстоит ему послать кого-то на рискованное дело. Обидно ведь, всю войну протопал, вернулся, а тут, на́ тебе, случайная мина или бомба. Одновременно с ним испытующе оглядывал своих товарищей и Василий. Знал он, чуял сердцем, что как только Хорошунов доведет взгляд до Романова, тот, не колеблясь, вскочит и потребует, чтобы послали именно его. У него найдется сто самых веских доводов. Чего доброго, уговорит председателя. И, чтобы не ждать такого рокового для себя момента, Василий зыркнул на Людмилу. Та поняла его душевный порыв, слегка кивнула — одобрила. Он заметил, что она давно благосклонно относится к нему. Ну и что из того, что Людмила старше его на целый год и иногда поглядывает на крепкого пареныка в сиреневой футболке с чувством превосходства. Это все показуха. Особенно когда возле нее ошивается кто постарше. Но случались же те счастливейшие часы в его жизни, когда Люда уводила надутого как пузырь Василия (и откуда она знала, что ни до, ни после, а именно теперь нужно подойти к нему) на берег Волги, в пустынный и продуваемый насквозь сквер, а в отряде они укрывались от любопытных глаз где-нибудь в ложбинке, за выступом балки, за старым карагачом. Никаких слов про любовь они друг другу не говорили, никаких клятв верности не давали, а сидели, прижавшись друг к другу. Людмила читала ему стихи или рассказывала о Ленинграде, а то просила Василия спеть какую-нибудь казачью песню, которые она обещала после войны записать все-таки и издать целой книж-

кой, да, может быть, не одной, а двумя-тремя томами. Вот такая она была, радистка Людмила Крылова, такая и осталась: ни разу не намекнула ему про свою любовь, хотя все говорили, что не уехала она в Ленинград из-за него, отчаянного казачка. Его порой подмывало рассказать Крыловой про свои сокровенные чувства, но то ли гордость, то ли глупость, а скорее всего стыд за свои семь классов (чего бы дураку дальше не учиться) перед студенткой педвуза тормозными колодками давили на язык.

И вот теперь Василий понял: если Романов его опередит, никогда Людмила не поверит в красивые слова Баннова. Он быстро поднялся, оправил полы кителя и вышел на середину комнаты.

— Разрешите мне выполнить это задание.

В голосе Василия была не просьба, а скорее требование. К счастью, Хорошунов (умный мужик) все понял и молча пожал его руку.

Все складывалось как нельзя лучше. Работы по обезвреживанию полей подходили к концу. Остались земли бывшей киселевской отары. Сюда пожелали приехать все бывшие партизаны. И сколько ни отговаривал их Василий, ветераны были непреклонны. Они прибыли в балку на рассвете, когда в степи оглушительно тихо. И в этой тишине Василий вдруг различил где-то за стеной кошары то ли шелест, то ли скрип. Он понял, что это заработал механизм мины или бомбы замедленного действия. А они, его друзья-товарищи, ничего не видят и не слышат. Он хочет крикнуть им об опасности, но страх не за себя, за них — задушил звуки в его горле...

Баннов открыл тяжелые веки. Его товарищи, пригретые солнцем, дремали. Он глянул на землю, и сердце его глухо и часто застучало: к скирде подъезжало четыре подводы. Фуражиры, громко переговариваясь, решили остановиться возле ближней.

Василий тихо растолкал товарищей. Те, не

понимая, что так встревожило дозорного, удивленно таращили глаза. Баннов предупреждающе прикладывал палец ко рту.

А тем временем румынские солдаты, ловко орудуя вилами, рвали бока скирды и неторопливо кидали охапки соломы на первую подводу. Трое подносили, один утрамбовывал. Солдаты, очевидно, подбадривали себя в этой заброшенной глухомани, нарочно громко разговаривали, крякали, втыкая острые зубья вил в плотно сбитую солому... Они не знали, что за ними со всех сторон, затаив дыхание, наблюдают партизаны.

Пимен Андреевич, выйдя из землянки, тотчас заметил движущийся к кошарам обоз фуражиров. Он был уверен, что телеги давно увидены дозорными и те дали сигнал тревоги. Он поднял глаза на вершину скирды и замер, пораженный тем, что четверо его людей в оцепенении сидели наверху. Конечно, кричать оттуда теперь не было никакого смысла: солдаты заметили бы их и подняли шум. Так что дозорные избрали верную в их положении тактику молчаливого выжидания.

Ломакин вернулся в землянку. Паршиков и Хорошунов прижались к небольшому окну и не сводили глаз со скирды и фуражиров.

— Что будем делать? — спросил Ломакин всех, кто находился здесь.

— Окружим и уничтожим,— высказал мнение Тит Васильевич.

— Уничтожить — не задача,— возразил ему комиссар.— А вдруг кто убежит, поднимет тревогу.

— Не стрелять,— отстаивал свое предложение Паршиков,— подкрадемся — и ножами.

— А может быть, обойдется,— вслух размышлял Пимен Андреевич, выглядывая в приоткрытую дверь. Ему было видно, что одна подвода была загружена и солдаты принялись за вторую. Но бок скирды катастрофически таял. А те, наверху, боялись шевельнуться. Они не видели, что вилы все ближе и ближе

подбираются к ним. Пимен Андреевич приложил бинокль к глазам: на дороге пусто, поблизости в степи — никого, четверо в дозоре глядят, не отрываясь, на землянку.

Он махнул им рукой, переползите, мол, на другой конец. Но они не поняли его и остались на месте. Надо было что-то предпринимать. Пожалуй, прав Тит: окружить и уничтожить без шума. Пока в селе хватятся, пройдет час-другой. За это время отряд успеет скрыться в степи. Но вслед за этими подводами ведь могут на дороге показаться другие. Разве на эскадрон хватит этой соломы? Видать, туго стало Антонеску, что он вспомнил прошлогоднюю солому. Ломакин взял автомат и сказал:

— Пойдем. Окружим и уничтожим.

Когда Баннов увидел вышедших из землянки партизан, он удобнее улегся и, свесив голову вниз, взял на прицел длинного, самого шумного фуражира с ефрейторской лычкой на синих погонах. Его товарищи взяли на мушку других.

Ломакин, пригибаясь, широкими шагами спускался на дно лощины. По сторожкому шороху он чувствовал, что за ним спешат остальные. В то время, когда Пимен Андреевич остановился, чтобы дать команду, кому куда двигаться дальше, у стога раздался отчаянный вопль и, заглушая его, прогремел выстрел. За первым последовал второй, третий. Одиночные выстрелы сменила автоматная очередь. Он видел, как Хорошунов, прихрамывая, бросился влево.

— Перекрыть дорогу! — кричал он Романову, едва поспевающему за ним.

Пимен Андреевич, задыхаясь, подбежал к скирде. Двое солдат недвижимо лежали возле соломы, а третий повис на повозке. Василий Баннов с окровавленной рукой все еще надеялся попасть в быстро удаляющегося всадника. Даже отсюда было слышно, как он истошно вопил на всю округу:

— Партизаны-ы!

Все, кроме тяжело раненных, сгрудились возле скирды. На лице каждого Ломакин без особого труда читал один и тот же вопрос: что же теперь будем делать? А Пимен Андреевич сурово глядел на дозорных. Те стояли, низко наклонив головы и безвольно опустив руки. Людмила Крылова перевязывала Василию Баннову руку. Миша держал его автомат. Потом, что-то вспомнив, он передал оружие Баннова Ломакину и ловко взобрался на вершину скирды. На дороге никого не было. Фуражир еще не успел доскакать до Киселевки. Но ведь ему могут встретиться другие солдаты. Тогда жди облавы через несколько минут.

— Как же это случилось? — все еще в гневе спросил Ломакин.

— Дрема напала,— честно признался Баннов.— Солнце пригрело, и все. Очнулся, а они уже рядом. Этих мы уложили, а четвертый перерезал постромки...

— Н-да, сюрприз,— сдвинул к переносице широкие брови командир отряда.— Ждать рацию не будем. Раненых положить в повозку, и женщинам попытаться вывезти их в займище.

— Не сумеют,— высказался Хорошунов.— Если бы в ночь.

— Верно,— присоединился к нему Паршиков.— Продержимся до ночи, а там попробуем уйти.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

Все-таки Пимен Андреевич принял решение — покинуть Базовую балку и попытаться выйти на соединение с наступающими частями Красной Армии. Но отправленные в разведку вернулись буквально через четверть часа и доложили:

— Едут! Не меньше эскадрона.

Это сообщение, которого в общем-то все ждали каждую секунду, оказалось таким не-

ожиданным, что партизаны, услышав его, бросились к кошаре и землянке.

— Стой! — властно приказал Ломакин.— Они так нас, как куропаток, перебьют. Занять круговую оборону. Баннов, Крылова, Романовы, давайте в кошару. Хорошунов, бери группу и ложитесь под скирдами. Помните, что отступать нам некуда. Бейте наверняка — патроны берегите.

— Их мало! — доложил сверху Миша.— Десятка два. Резво скачут...— с насмешкой прокричал он.

Ломакин понял, что враги думают встретить здесь не хорошо вооруженную и подготовленную группу, а скорее всего окруженцев. Даже если враги предполагали, что встретят партизан, то тех, которые сидели на скирде, и не больше.

— Продержимся до вечера, а там решим. Зиновий, ты ихний пулемет изучил?

— Так точно.

— Ложись за него. Ставь в дверях. Остальные — за мной. Миша, помогай отцу.

Мише не хотелось покидать удобную позицию, и в другое время, может быть, он попросил бы Пимена Андреевича разрешить ему остаться наверху, но сейчас, еще раз взглянув вдаль, на дорогу, покорно скатился со скирды и побежал к кошаре, где отец уже устанавливал длинноствольный пулемет, отбитый во время налета на обоз.

В минуту лагерь словно вымер. Мише хорошо было видно, с каким напряжением вглядываются в степной простор бойцы. Румыны, выскочив на бугор, остановили разгоряченных коней. Очевидно, тот солдат, которому удалось спастись, размахивая руками, что-то объяснял офицеру. До всадников было полверсты.

«Из автомата вряд ли достанешь»,— подумал Миша, жалея, что не захотел таскать вместе с автоматом трофейное ружье. И еще он не знал: можно ли стрелять до команды? Он

вопросительно поглядел на отца. Тот, слившись с пулеметом, поднимал длинный с вороненым отливом ствол выше.

Впереди офицера оказался конник в черном пальто. Он немного отъехал от сгрудившихся всадников и, размахивая шапкой, начал громко призывать партизан сдаться. Ему никто не ответил. Переводчик вернулся к офицеру. После короткого совещания враги смелее двинулись вперед. Часть конников откололась от строя и пошла в обход кошар.

— Сынок, поближе к пулемету,— попросил Мишу Зиновий Афиногенович, придвигая его к себе.

— Мне так плохо видно,— сказал Миша, поднимая голову.

— А ты не очень высовывай башку. Она еще пригодится,— пошутил отец, пригибая его к земле.

— Зря он согнал меня со скирды,— недовольно проговорил Миша, вспомнив, как оттуда, сверху, хорошо было видно и дорогу, и пригорок, а тут, как мышь-полевка, выглядывай из норы.

— Значит, окружить нас захотели,— вслух подумал Романов-старший.— Думаете, нас кучка.

А враги все ближе и ближе. Несется по мерзлой земле звонкий перестук копыт, напоминающий Мише барабанную дробь. Солдаты все сильнее пришпоривают коней. Те, широко выбрасывая вперед ноги, вытягивают оскаленные морды. Вот уже слышны подбадривающие крики офицера.

Миша снова взглянул на отца. Его серое от бессонницы и бивачной жизни крупное лицо покрылось потом. Его сильные большие руки так сдавили рукоятки, что на суставах выступили белые пятна. «Ну что же нет команды»,— с досадой подумал пионер, нервно направляя ленту, и в это время с мыска, от землянки, дружно прогремел короткий залп. Ему тотчас ответил другой, от скирд. Больше половины

солдат попадало с седел. Ошалелые лошади, освободившиеся от седоков, рванулись врассыпную. Уцелевшие враги круто развернулись и на рысях начали уходить за спасительный бугор.

Зиновий Афиногенович нажал на спусковой крючок, и стрекот пулемета заглушил все остальные звуки. Еще трое всадников остались на земле. Кто-то кинулся к лошадям, но Ломакин почему-то не разрешил.

Пимен Андреевич, пригибаясь, побежал к скирде, где лежала группа Хорошунова, затем — к другой, где был Паршиков, а уж оттуда вернулся к землянке.

Прошло десять, двадцать минут. Вражеские солдаты не подавали признаков жизни.

— Ускакали за подмогой,— уверенно высказался Зиновий Афиногенович.— Слазил бы, Миша, поглядел,— попросил он.

Сын охотно выполнил его просьбу. Ловко перебирая руками холодный жесткий канат, он скоро очутился наверху. Отсюда открывался широкий простор для наблюдения. Конники стояли за бугром и, очевидно, думали, как им вести себя дальше. Эх, жалко, что Ломакин не дал ему свой бинокль! С каким удовольствием он поглядел бы на выражение их лиц.

На припорошенной снегом земле застыли убитые. Успокоенные тишиной лошади подходили к своим хозяевам, понуря голову, топтались подле. «И почему Ломакин не разрешил их собрать? — не понимал Миша.— Сели бы на них и ускакали. Его, например, ни один жокей не догонит. Да и другие. Ведь в партизанской школе все обучались езде на верховых лошадях».

Миша снова с сожалением посмотрел на коней, бродивших по степи. Сосчитал — одиннадцать. Маловато. Если бы двадцать. Ага. Договорились о чем-то, мамалыжники. Растянулись цепочкой. Дураки. Неужели не поняли, что тут каждый бьет не хуже снайпера?! Не-



даром Алексей Михайлович Добросердов день и ночь гонял их на стрельбище. Из любого положения учил стрелять без промаха.

— Собираются идти,— крикнул Миша, больше всех обращаясь к отцу.— Вытянулись кишкой!

Партизаны снова притихли, сосредоточили все внимание на гребне бугра, ожидая появления врагов.

— Давай сюда! — позвал его Зиновий Афиногенович. После первой атаки он немножко отошел, успокоился. И ко второй уже готовился без того внутреннего страха. Страха не за себя, а за сына. Он думал, что конники на полном галопе ворвутся в их ряды. Он помнит до сих пор, как белоказачьи эскадроны лавой сбивали передние заслоны красных и, зловеще сверкая шашками, мяли и крушили все на своем пути. Но каратели оказались не такими отчаянными. Первый же залп расстроил их ряды, смял твердость духа, сбил, как баранов, в кучу. По густой массе стрелять всегда сподручнее. Теперь же всадники растянулись. Пулеметом много не наработаешь.

Поднявшись на бугор, каратели сразу пришпорили коней и с гиканьем и улюлюканьем понеслись на партизан. Они шли, широкой подковой охватывая кошары. В их дикий крик вплетались резкие и частые ружейные выстрелы. Хотя били они беcприцельно, но пули разъяренными шмелями проносились над головами, заставляя прижиматься еще плотнее к земле.

Метр за метром приближались враги. Вот уже можно без труда различить их озлобленные лица. И снова недалеко от кошар их встретил не густой, но дружный залп. И на этот раз партизаны били точно. Миша держал на прицеле того всадника в черном пальто, который выезжал вперед и требовал, чтобы партизаны сдались. Он и сейчас продолжает взывать к занявшим оборону. Миша не мог бы поручиться, что это его пуля сразила вражес-

кого солдата, но именно после его выстрела он судорожно вцепился в гриву лошади. Проехав шагов десять, всадник вывалился из седла. А конь, не сбавляя хода, бежал и бежал к спасительному бугру.

Снова в степи наступила гнетущая тишина. Хорошунов попросил Мишу в третий раз подняться на скирду и понаблюдать за карателями.

— Осторожнее, сынок,— напутствовал его отец.— Теперь они, должно, заприметили наблюдателя.

Миша взобрался на вершину скирды, зарылся в прелую почерневшую солому и начал рассматривать окрестности. Спешившиеся солдаты сидели и стояли в лощине. Вели они себя не так, как прежде. Видно, партизаны здорово охладили их наступательный пыл. Они явно что-то выжидали. И когда на дороге показался новый отряд конников и Миша сообщил об этом партизанам, они поняли, что долгая передышка была обусловлена тем, что противник больше не рассчитывал на легкую победу. Вот почему он вызвал подкрепление. За строем кавалеристов шла легкая бричка, запряженная парой лошадей. С брички сняли два пулемета. Пригибаясь, пулеметчики вытащили их на гребень, установили, направили стволы в сторону кошар. И тут же открыли огонь. Трассирующие пули огненными пунктирами резали серый морозный воздух, кроша саманные стены овчарни и давно не ремонтированные крыши, свободно входя в трухлявый верхний слой соломы.

Под прикрытием пулеметов всадники в третий раз бросились на партизанский отряд. Но как только каратели замолчали, боясь поразить своих, заработал пулемет Романова. Он бил звонко и остервенело. Едва кавалеристы выкатились из лощины, огненная струя резанула воздух. Падали всадники, падали кони. Дикий вопль, ржание, выстрелы — все это смешалось в сущий ад. Но враги не удирали

с прежней легкостью. Они тут же разворачивались и, подбадривая друг друга возгласами, рвались вперед... Так продолжалось с полчаса. Наконец фашисты поняли, что лобовые и фланговые атаки не принесут успеха. Обходить партизан с тыла не было смысла: они заняли круговую оборону, и в балке, которая упиралась в мысок с землянкой и колодцем, трудно было маневрировать в пешем строю, а уж о лошадях и говорить нечего. Оставалось последнее — вызвать батарею.

В хутор Лобов, где стояла полковая батарея, поскакало несколько нарочных. Один пулемет солдаты втащили снова на бричку, толкая ее, выдвинулись далеко вперед. Взяв на прицел кошары, пулемет снова начал беспрерывно прошивать воздух строчками трассирующих пуль. Особого урона эти очереди партизанам не причиняли, но подниматься с земли становилось все опаснее. Очевидно, среди вражеских солдат появились снайперы. Двое партизан, неосторожно выглянувших из круглых ям, в которых когда-то месили глину для саманных кирпичей, были убиты.

Пимен Андреевич передал по отряду команду укрыться надежнее, стрелять точнее.

— Снимите Мишку со скирды! — приказал Ломакин.

И сделал это вовремя. Потому что, едва тот соскочил вниз и по-пластунски добрался до кошары, верхний слой прелой соломы словно ожил, зашевелился, и труха начала разлетаться по округе, напоминая черные хлопья снега. Это оба пулемета сосредоточили свой огонь на скирдах.

— Должно, поняли гады, что голыми руками нас не возьмешь,— удовлетворенно пророкотал отец.— В Лобов поскакали, говоришь, за подмогой?

Немецкие артиллеристы заняли позицию в километре от кошар. Через несколько минут они почти напрямую дали первый прицельный залп. Снаряды с воем и шипеньем пронеслись

над партизанами и оглушили степь мощным грохотом. Люди думали, что сейчас раздастся второй. Но от батареи отделились три всадника и направились в сторону кошар. Над головами они размахивали белым флагом. Парламентеры выехали на ближний взлобок. Это были немцы. Их отличала от румын форма. Ядовито-зеленые шинели с черными воротниками, мышиного цвета шапки, пилотки.

— Партизаны! — крикнул средний из них.— Выходите! Мы никого не тронем. Даем вам десять минут на размышление. Сопротивление бесполезно. Мы окружили вас.

— Снять его, папа? — глянул на отца Миша.

— Нельзя сынок. Он — парламентер.

— Фашистский гад он,— с ожесточением сказал Миша, опуская автомат.

От крайней скирды поднялся Хорошунов. Сложив ладони рупором, он громко ответил всадникам:

— Дайте подумать!

Комиссар направился к землянке. Заметив его, Ломакин крикнул:

— Назад! Займи свое место!

Но Хорошунов шел на виду у врагов, не пригибаясь, не ускоряя шага.

— Неужели ты им веришь? — встретил его негодующий голос Ломакина.

— Ничуть,— спокойно ответил Иван Федотович.— Но в переговоры вступить нужно. Главное — выиграть время. До ночи осталось не так уж долго. В темноте попробуем пробиться.

— А раненых оставим им на растерзание? Нет, Иван, такой вариант нам не подходит. А что касается времени — тяни. Иди, говори с ними.

Теперь Хорошунов, вскинув над головой белую тряпку, шел к парламентерам. Но как только он поднялся из ложбинки, с той стороны застрочил «Эрликон». Иван Федотович почувствовал сильный толчок в плечо, и тотчас его фуфайка обагрилась кровью. Он упал, от-

швырнув тряпку, и, превозмогая боль, пополз назад.

Не ожидая команды, Миша выстрелил в того всадника, который требовал от партизан капитуляции. Лошадь его вздыбилась и рухнула на землю, увлекая седока.

— Огонь! — запоздало крикнул Хорошунов.

— Ну, товарищи,— предупредил после короткой и жаркой перестрелки своих бойцов Ломакин.— Зарывайтесь в землю глубже. Сейчас они озвереют.

И точно. Снаряды, один за другим, стали прошивать кошары, скирды и землянку. Дым, гарь, красные языки пламени окутали местность. Каменная земля стонала и охала после каждого очередного залпа. Артиллерийская канонада продолжалась четверть часа, а Мише показалось, что она длилась вечность. Ветер нес черные хлопья сгоревшей соломы на партизан. Точно траурным покрывалом они опускались на развороченные строения, на белые клочки заснеженной земли. Врагам думалось, что они смешали все живое с тленом, но стоило кавалеристам пересечь гребень возвышенности, как их встретил все тот же меткий огонь партизанских винтовок и автоматов.

После седьмой безуспешной атаки каратели установили в тылу партизан несколько ротных минометов. С противным воем шлепались мины в лагере партизан. Осколки то и дело рассыпались над головами замерших людей.

От огня и дыма стало не только жарко, но и душно. Воздух, пропитанный гарью, застревал в горле, вызывал кашель, тошноту, выжимал из глаз слезы.

Перед тем, как еще раз броситься на догорающие кошары, гитлеровцы снова потребовали капитуляции. Им ответила тишина. Опасаясь подвоха, солдаты, теперь в большинстве своем немцы, бежали, по-заячьи петляя и часто бросаясь на спасительную землю.

— Ага, гады, научили вас, как надо ходить

по русской земле! — с ликованием кричал Миша. Они с отцом уже сменили третью позицию. Но от кошары не отходили: боялись, что враги, ворвавшись в нее, начнут глумиться над ранеными.

— Научить-то научили,— пробасил Зиновий Афиногенович,— да скоро нечем будет.

Миша и сам видел, что патронов становится все меньше. У него осталось две обоймы, в пулемете кончается лента. И как только партизаны отбили очередную атаку, а сзади и сбоку заработали пушки и минометы, он вместо того, чтобы поспешить в воронку, короткими упругими прыжками помчался к чернеющим на снегу убитым солдатам.

Зиновий Афиногенович едва успел крикнуть, чтобы сын вернулся, как Миша уже оказался около первого мертвеца. Разорвавшийся вблизи снаряд закрыл мальчика ослепительной вспышкой и густой завесой дыма. Но вот она рассеялась, и отец увидел, что Миша лежит около другого мертвого карателя. Теперь уже многие партизаны с волнением наблюдали за отчаянной вылазкой пионера.

— Зачем вы разрешили? — спросил Зиновия Афиногеновича подбежавший Хорошунов.

— Сам он, чертенок...

Хорошунов и Романов зорко следили за врагом. Заметят или нет?

А Миша легко и быстро перебирался от одного убитого к другому. В то время, когда его оглушал очередной взрыв, он точно сливался с землей. Но стоило грохоту и свисту осколков прокатиться над головой, он снова продолжал резать ремни, бросать патронташи в вещмешок. Сейчас он чувствовал себя Гаврошем. Тем любимым Гаврошем, с которым не расставался с тех пор, как научился читать. Конечно, Мише повезло больше, чем его сверстнику с бульвара Тампль — у него были любящие отец и мать, он не кутался в чужие платки и не ночевал в брюхе слона. Но в остальном он всегда хотел быть похожим на

Гавроша. Переползая от одного убитого к другому, он знал, что за ним следит отец, а может быть, все партизаны, как за Гаврошем следили защитники баррикады. Разница была лишь в том, что фашисты пока его не заметили.

Он подобрался так близко к бугру, за которым скрывались каратели, что они, очевидно, что-то заподозрили. Мертвенный зеленый свет ракеты, мерцая, залил поляну. За первой ракетой взлетели вторая, третья... Миша лежал ни живой, ни мертвый. Теперь он убежден: враги что-то почуяли. Но, осветив поле и не обнаружив ничего подозрительного, каратели дали несколько неприцельных очередей. Пули цокались о мерзлую землю, со звоном ударялись о каски, натыкались на бездыханных лошадей.

Когда Миша, волоча тяжеленный мешок с патронами и гранатами, добрался до кошары, пот лил ручьями с его счастливого лица. Отец молча и до боли в суставах сжал его в объятиях. Чтобы предупредить сына от повторной вылазки, он возбужденно-радостно сказал:

— Этого нам хватит до конца жизни. А уж до ночи — это наверняка.

С наступлением густых сумерек враги присмирели. Только через определенное время они пускали в небо ракеты — синие, зеленые, красные, белые. Они боялись, что партизаны воспользуются темнотой и просочатся сквозь их заслоны.

Ломакин по опыту знал, что каратели ночью вряд ли полезут на штурм. Они слишком хорошо поняли, что партизаны бьют без промаха. Недаром у них уже выбыла третья часть эскадрона, а половине придется дальше воевать в пехоте. Не думали они, что за сотни километров от передовой они вступят в такой жестокий бой и понесут потери, какие они несли лишь летом на Дону. Но там эскадрону противостояла регулярная часть Красной Армии, а здесь перед хорошо обученными сол-

датами была небольшая группа гражданских. И это бессилие еще больше бесило врагов.

Набивая ленту патронами, Миша укрылся под стеной кошары. Крыша над головой давно уже сгорела, стропила рухнули, стена во многих местах была разворочена. И все-таки здесь было потише, ветер не так пронизывал. В уцелевшем углу лежали раненые.

Возле них хлопотали Люда Крылова и Лена Туркец.

— Неужели они не найдут нас? — спросила Крылова, увидев Мишу. Она думала о тех, кто ушел с рацией и кого отряд ждет третий день.— Я все еще надеюсь.

Надеялась не одна Крылова. Романов тоже верил, что группа еще выйдет к Базкам, и тогда они свяжутся с Центром, доложат обстановку, и, может быть, помощь еще успеет. Сейчас бы хоть один «кукурузник» появился, сбросил несколько бомб, наделал бы панику среди фашистов, и партизаны смогли бы попытаться вырваться из кольца.

Но небо было глухо и мрачно.

Раненые не стонали. Они молча переносили муки. Лишь изредка доносилось их слабое:

— Пи-ить... Воды.

Людмила прикладывала ко рту раненого флягу и тут же отнимала ее.

— Что у вас, воды, что ли, нет? — поинтересовался Миша, видя, как бережно подносит Крылова баклажку.

— Последняя.

— Так я враз принесу,— предложил свои услуги Романов. Он поднялся, нацепил на пояс несколько алюминиевых фляг, повесил на шею автомат и вышел из развалин.

— И я с тобой,— попросилась Крылова, когда он отполз на несколько метров,— наполним сразу все.

— Айда,— бодро сказал Миша.— Вдвоем веселее.

У землянки их встретил Паршиков.

— Как там у вас?

— Да вот, за водой идем,— показала Людмила баклажку.

— Будьте осторожны, ребятки,— предупредил Тит Васильевич.— Колодец под прицелом.

Как бы подтверждая мысль Паршикова, со стороны карателей прогремела пулеметная очередь. Трассирующие пули красивой огненной дугой прочертили небо и погасли возле невысокого сруба.

— Вы оставайтесь здесь,— сказал Миша Крыловой,— а я — ползком, наберу воды — и сюда.

— Нет, я тебе помогу,— настояла Людмила.

— Что с Хорошуновым? — вслед им спросил Тит Васильевич.

— Да ничего опасного,— ответила ему из темноты Людмила.

Они подползли к колодезному срубу со стороны балки. Не поднимаясь, ухватили веревку с бадьей и начали вдвоем тянуть за цепь. Ведро, позванивая, опускалось вниз. То ли фашисты услышали голос порожнего ведра, то ли для острастки, но снова выпустили пулеметную очередь. Пули с шипением врезались в промерзшие бревна. Романов и Крылова затаились. Затем снова стали тянуть цепь. Им было слышно, как ведро плюхнулось в воду. Через несколько минут они поволокли его обратно. По плеску воды было ясно, что бадья наполнилась до краев. Наконец дужка показалась над срубом. Людмила попыталась отцепить ее, но холодный металл, обжигая пальцы, не поддавался. Крылова приподнялась, чтобы стянуть ведро вниз, в это время зловеще прогрохотал пулемет. Били откуда-то с тыла, с бровки оврага. Людмила, охнув, медленно сползла по обледеневшему срубу.

— Ноги,— морщась от боли, простонала она.

Миша потянулся к голенищу ее сапога и почувствовал на пальцах теплую, липкую кровь. Не раздумывая, сбросил с себя фуфайку, стянул рубашку, разорвал ее на широкие ленты

и, свернув жгуты, перетянул ими ноги Людмилы выше колен. Кровь продолжала заливать заснеженную наледь. Миша ловко перевязывал ноги Крыловой. А озверевший пулемет все бил и бил. Но пули свистели над головой, ударяясь в бревна, поднимали возле них смерзшуюся землю. Романов успокаивал радистку. Накинул фуфайку, взвалил девушку себе на плечи и, задыхаясь от тяжести, потащил ее к землянке.

— Ну что? — спросил его Паршиков, все стоя в проеме.

— Ноги,— простонала Людмила.

Старик поспешил к ним. Вдвоем они втянули Крылову в землянку.

— Ах ты, господи,— сокрушался Тит Васильевич, при свете едва мерцающей коптилки рассматривая окровавленные тряпки. На нарах полулежал, закрыв тяжелые веки, Пимен Андреевич. Один рукав его фуфайки опустился на землю, обнажилось белеющее бинтами плечо.

— Ты там... не очень,— попросил Мишу Ломакин, морщась от боли.— Скажи: немножко царапнуло. Или вот что, Миша, позови отца, Хорошунова. Кто там из коммунистов еще в живых... Скажи, чтоб шли на партийный совет. А Баннову скажи, что он главный за меня... пока.

— Это я враз,— заверил командира связной.— Только за водой сбегаю.

— Ну, дуй,— разрешил Ломакин и протянул Паршикову оставшиеся бинты.— Перевяжи, а то, неровен час, пропадет радистка.

— Чего надумал, Андреич? — спросил командира Паршиков.

— Вместе будем думать,— сказал Ломакин, откинувшись к холодной стене.

Миша, точно ящерица, подобрался к колодцу, расплескивая воду, наполнил три баклажки и так же проворно отполз к землянке, а оттуда, пригибаясь, с замирающим сердцем при каждом свисте пули, бросился к кошаре.

Он протянул фляжки Лене Туркец.

Подбираясь к скирде, где лежал Хорошунов, наткнулся на Баннова. Передал ему приказ командира, потом сказал про Крылову. Баннов встревоженно спросил:

— Она у колодца?

— Нет, я притащил ее в землянку.— Он хотел сказать про Ломакина, но вовремя спохватился, вспомнив его наказ.— Там у них целый лазарет,— неопределенно закончил сообщение Романов.

Выглянув из приямка, Миша окликнул:

— Иван Федотыч! Командир велел всем коммунистам собраться у него.

Когда Ломакин увидел Романова и Хорошунова, на его заостренном измученном лице появилось подобие улыбки. Он хотел ею подбодрить не только вошедших, но и себя: есть еще сила у отряда. Зиновий Афиногенович, увидев старого друга в таком бедственном положении, понял, почему он не слышал его спокойного, громкого голоса. Выходит, Пимен был ранен давно, но велел молчать.

— Сверни, Зиновей, цигарку,— попросил командир.— В горле першит. Ну, как там фрицы?

— Не спят, гады,— насыпая махорку в газету, докладывал Романов.— Но и мы не дремлем. Слышишь, стреляют. От страха. Жгут вокруг солому, ракеты каждую минуту швыряют в небо.

— Ночью они не полезут. Кишка у них тонкая,— усмехнулся Ломакин, делая первую глубокую затяжку.

— Ночью нет, а утром? — глянул в упор на командира комиссар, удобнее усаживаясь на нарах.

— Мы тут все коммунисты. И потому разговор у нас будет партийный,— сделал короткую затяжку Ломакин.— Помощи нам ждать неоткуда. А наши подпирают немца. Я давно слышал в степи такой гром, что небу жарко от него стало. Вношу предложение. Следует

немедленно уходить... молодым и здоровым, а мы, старая гвардия, останемся для прикрытия...

В полутемной землянке наступила гнетущая тишина. Слова Ломакина не сразу дошли до сознания всех.

Зиновий Афиногенович крепко стиснул плечи сына.

Ломакин жестким взглядом обвел молчащих товарищей и сказал, обращаясь к Хорошунову:

— И поведешь их ты, Иван Федотович.

— Ты что, Пимен Андреевич,— очнулся от оцепенения комиссар.— Оставить своих. А где же клятва? Мы ж ее кровью скрепили.

— Не горячись, Ваня,— по-отечески тихо сказал Романов.— Клятву давали. И честно выполнили... Но Пимен дело предлагает. Вы здоровые, крепкие. Пробьетесь к нашим, расскажете. Может, успеете...

— Раненых всех перенести сюда,— уже не советовался, а приказывал Ломакин.— Пулемет поставим в дверях...

Все старики поддержали командира. Было решено отправить на прорыв восьмерых во главе с Хорошуновым. Отдали им бóльшую часть боеприпасов, снабдили продовольствием и наказами, вырвавшись из кольца, идти на соединение с наступающими частями Красной Армии. Молча слушал все наставления Иван Федотович. Молча рассовывал по карманам обоймы и гранаты, хлеб, сало. Не думал он, что именно так придется ему заканчивать свою партизанскую службу. Верил, что в трудную минуту вместе со всеми встретит свой смертный час. Но и другого выхода сейчас не видел. В глубине души надеялся, верил, что не все — половина, трое, двое,— но пробьются к своим, расскажут, что происходит в балке Базовой. И, может быть, успеет Красная Армия...

Ломакин подозвал Мишу. Подвигал здоровой рукой шапку на его обросшей вихрами голове, с сожалением вздохнул и сказал:

— Собирайся, сынок. Пойдешь с Хорошуновым.

Романов отстранился от командира, точно тот обидел его нехорошими словами.

— Нет, я от бати никуда,— негромко, но так твердо проговорил мальчишка, что Пимен сразу понял: этого не уговорить, не запугать, не умаслить.

Зиновий Афиногенович тоже понял и, покрутив длинный седой ус, задумался. Он видел безысходность положения отряда. Ему очень хотелось, чтобы сын остался в живых. Он чувствовал, что если враги убьют Мишу на его глазах, старое сердце не вынесет потери. И в то же время красный партизан гордился сейчас своим сыном, его железным упорством. За месяцы, проведенные в школе, за недели партизанской войны Зиновий Афиногенович имел возможность не раз убедиться в смелости, отваге Миши. И то, что сын находился почти все время при нем, согревало сердце старого коммуниста.

Когда он узнал о гибели Власовой, подумал: как хорошо, что не оставил его дома. Непременно Миша оказался бы среди них... Но теперь он больше всего на свете желал, чтобы Миша прорвался сквозь вражеское оцепление, добрался до своих... Ведь у него впереди вся жизнь.

Надо убедить его уйти с Хорошуновым. Надо.

Но слова, все веские аргументы застряли в глубине души. Ведь еще год назад он обещал Мише быть с ним вместе во всех боях и походах. Зиновий Афиногенович глянул на Пимена Андреевича, призывая его в собеседники.

Ломакин понял этот взгляд и снова сказал Мише:

— Я ведь и приказать могу.

— Вы лучше убейте меня,— неожиданно резко проговорил пионер.— Живой я от вас не уйду.

— Миша,— глухо и тихо заговорил отец.— Я тебя очень прошу. Мне будет легче, если ты уйдешь.

— Батя,— обратился к отцу сын, впервые назвав его батей.— Ну, что ты говоришь? Не будет тебе легче... Будешь думать, переживать. А тут я при тебе, всякую минуту на виду... Да что я, как с маленьким, говорю? Сказал, не пойду, значит, не пойду.

Старики наперебой то ласково, то с угрозами начали агитировать Мишу. Но он, втянув голову в плечи, на все их доводы отвечал коротким «нет».

Когда группа уже была готова, Хорошунов протянул ему здоровую руку:

— Спасибо, Миша, за верную твою службу и за дружбу.

Миша думал, что Иван Федотович тоже станет уговаривать его, и приготовился ответить ему, но комиссар повел себя иначе, и Миша в порыве благодарности обхватил его шею и прижался к шершавой, как рашпиль, щеке.

— Вы пробьетесь,— горячо шептал он.— А мы тут продержимся сколько надо.

Баннов, протягивая руку Мише, попросил:

— Береги Людмилу.

— А может, все-таки пойдешь с ними? — выходя из землянки, спросил Пимен Андреевич, но, увидев, как нахмурился парнишка, махнул здоровой рукой — ладно, мол, оставайся.

К рассвету в степи разыгралась круговерть. Непроглядное небо низко нависло над балкой. Резкий ветер, точно гигантский невидимый вентилятор, гнал на юг плотные снеговые облака. Пороша то и дело срывалась с высоты.

Вернулся Ломакин.

— Вроде утихомирились,— сказал он о карателях, которые уже реже стреляли и бросали ракеты. Видимо, усталость и холод сморили их.— Пора, товарищи.

— Пора,— грустно сказал Хорошунов.— По русскому обычаю присядем. А ты, Миша, спой нам на дорожку.

Миша, присев на корточки возле нар, негромко запел:

Наверх вы, товарищи, все по местам.
Последний парад наступает...

Так же тихо и дружно партизаны подхватили песню. Они тоже чувствовали себя сейчас, точно их далекие предки на охваченной пламенем стальной палубе. Они так же, как моряки легендарного крейсера «Варяг», предпочли смерть позорному плену... Песня тихо улеглась, и партизаны, один за одним, осторожно начали выходить из землянки и спускаться на глубокое дно балки. Оставшиеся залегли на мысу, готовые в любую минуту огнем отвлечь на себя противника.

Тишина длилась так долго, что Пимен Андреевич, мысленно считавший шаги ушедших, хотел было облегченно вздохнуть. Но в это время над кручей балки с шипением взвилось несколько ракет и тяжело бухнули гранаты, яростно захлебнулись автоматы.

— Огонь! — крикнул Ломакин.— Огонь!

Партизаны дали залп в ту сторону, где понад обрывом в мутной мгле мелькали фигуры в длиннополых шинелях.

Из-за бугра по ним ударили пушки и минометы. Снова трассирующие пули расчертили небо. Миша до боли в глазах вглядывался в угрюмые выступы балки, ожидая, что там вот-вот появится кто-то из уцелевших партизан. Но выстрелы становились реже, взрывов гранат уже не было слышно, и никто не появлялся. «Неужели не пробились?» — думал мальчик, растирая холодной ладонью слезы.

Через полчаса в степи вновь наступила гнетущая тишина. Никто из партизан не хотел разговаривать. Думали об одном — неужели все погибли?

Едва первые лучи солнца пробились сквозь заволоченное тучами небо, за кошарой появился немецкий солдат и, сложив ладони рупором, прокричал:

— Русс, сдавайся! Ваши восемь погибли! Вы все погибнете. Сдавайтесь!

Партизаны переглянулись, но никто не проронил ни одного слова.

— Мы всех отпустим,— продолжал уговаривать их немец.— Раненых отправим в госпиталь.

— Пой, ласточка, пой,— с усмешкой сказал Зиновий Афиногенович, проверяя пулемет.

— Последний раз говорю! — надрывался переводчик карателей.— Сдавайтесь!

Прошло несколько тягостных минут. На бугре снова показались конники. В неярких лучах холодного солнца они казались богатырями. С гиканьем, ревом бросились на мысок, надеясь, что основное ядро полегло в балке и им легко удастся растоптать оставшуюся кучку.

— Подпускайте ближе,— скомандовал Ломакин.

Вот уже видны оскаленные лошадиные морды, лица обозленных всадников. Устрашающе гремят копыта, звенит металл, а Ломакин все не дает команду. Наконец, как выстрел, его крик:

— Пли!

Стальной ливень хлестнул по врагу. На заснеженную землю полетели карабины, лошади, люди. Дикое ржание, вопли, крики — все перемешалось в этот утренний час на небольшом пятачке перед землянкой. На передних налетели задние. Ошалевшие лошади давили упавших. В гущу врагов полетели гранаты.

Фашисты поспешно откатились за бугор. И почти тотчас на позиции партизан обрушился шквал орудийно-минометного огня. Немцы выкатили две пушки за кошары и почти в упор начали расстреливать землянку. В воздух полетели куски саманного кирпича, бревна, доски.

— Ползи, сынок, в яму,— отец указал Мише круглую яму за колодцем. Из землянки выползла Людмила.

— Ломакина убило,— со страхом произнесла она, подтягиваясь на руках.— И всех раненых. Я звала их, но они молчат.

Подползший к ней Паршиков потянул ее в ближайшую воронку. Зиновий Афиногенович хотел вскочить, побежать в землянку, чтобы проститься со своим верным старинным другом. Разорвавшийся снаряд швырнул его к траншее, где стоял пулемет.

В голове Романова все помутилось, в глазах потемнело. Но он нашел в себе силы снова лечь за пулемет. И хотя перед ним ничего, кроме густой серой пелены, не было видно, он отлично понимал: враги не идут — не слышно топота их ног, криков...

— Миша,— позвал Зиновий Афиногенович, надеясь услышать его голос от колодца. Но сын оказался рядом. Понимая, что с отцом случилась какая-то беда, потому что на его «я здесь, батя», он никак не отреагировал, сын дотронулся до его руки. Отец кротко улыбнулся и ощупью нашел его лицо.

— Ничего не вижу, и в голове гудит... Но это скоро пройдет. Ты их видишь?

Миша снова дотронулся до его руки.

— Не только вижу, батя, но и бью.

Отложив автомат, Миша держал в руках трофейный карабин и, целясь, стрелял в солдат, суетившихся возле орудий. Наконец одна пушка смолкла. Но скоро подбежали новые батарейцы и, прячась за щиток, навели ее на развалины землянки.

— Сынок,— позвал отец, протягивая руку.— Должно, пришло время проститься. Ты не поминай меня лихом... Я ведь хотел как лучше.— И тут же голос его окреп, снова загустел, набрал силу: — Вижу! — обрадованно выкрикнул Зиновий Афиногенович.— Ну, сволочи, покрошу же теперь я вас.

— Давай, батя! — подбодрил его сын.— И ты зря говорил про обиду. Спасибо тебе за все.

Последних слов отец не расслышал, их за-

глушила громкая дробь пулеметной очереди. Прислуга шарахнулась от пушек врассыпную. Размахивая парабеллумом, немецкий офицер заставил солдат вернуться к орудиям.

— Теперь ползи в укрытие,— приказал сыну Зиновий Афиногенович.— Обними меня. Прощай.

За срубом колодца Миша увидел распластанное тело Паршикова. Возле него лежала Крылова, сжимая в руках автомат. Миша помог радистке доползти до саманной ямы.

— Забросай себя соломой,— посоветовал ей мальчик, дав очередь по перебегающим ложбину карателям.

Но Крылова легла рядом с ним и тоже стала стрелять.

Возле землянки взметнулся огненный столб. На миг все окуталось непроницаемой мглой. А когда она рассеялась, Романов увидел отца, навалившегося на пулемет. Миша надеялся, что вот сейчас отец приподнимется, глянет в его сторону и удовлетворенно улыбнется в большие седые усы. Но Зиновий Афиногенович лежал неподвижно, широко разбросав руки, словно защищая ими свое оружие.

Воодушевленные молчанием пулемета, враги быстро начали подвигаться к землянке, продолжая кричать:

— Русс, сдавайся! Русс, капут!

Миша нажал на спусковой крючок, но автомат молчал — кончился диск. Запасных не было. Теперь по врагам били лишь из развалин землянки. Туда полетели гранаты. Все окуталось густым едким дымом.

«Значит, никого не осталось»,— с ужасом подумал Миша и стал забрасывать Людмилу охапками соломы.

— Молчи,— шептал он стонущей радистке.— Может, они не заметят. Ночью я тебя вынесу. Уйдем к своим.

Как вынесет, где свои? Об этом Миша пока не думал. Но он твердо знал, что если выживет — проберется к своим и расскажет, как

два дня партизанский отряд в тридцать шесть человек сражался с эскадроном румын и батареей немцев.

Не слыша выстрелов, каратели вдруг замерли. Они не верили, что в землянке и вокруг нее нет никого в живых. Они думали, что партизаны притаились. Солдаты шли осторожно, точно вся земля была усеяна минами и каждый шаг грозил им гибелью. Встретив на пути убитого партизана, враги стреляли в него, кололи штыками.

Прикрывшись охапкой соломы, Миша наблюдал за фашистами. Вот они приблизились к пулемету. Офицер попытался столкнуть Романова со щитка. Но грузное тело не поддалось. Подбежавшие солдаты начали сбрасывать мертвого отца на землю штыками и прикладами.

Миша не помнит, как, поднятый гневом и жаждой мщения, он очутился на краю ямы и в отчаянии крикнул:

— Эй, вы, гады! Назад!

И свершилось чудо: каратели на миг остолбенели. Они повернулись в сторону крика и увидели перед собой невысокого щуплого подростка.

Шапка слетела с него, и ветер трепал его черные давно не стриженные волосы. Из-под расстегнутого ворота фуфайки виднелось посиневшее от холода тело. Он стоял, широко расставив ноги и держа руки за спиной.

— Киндер! Русс? — удивились враги.— Хенде хох!

— Сейчас,— сдавленным от волнения голосом прохрипел Миша и сделал шаг вперед. Его пальцы, готовые в любую секунду сорвать чеку, тисками сдавили металл.

— Шнеллер! Шнеллер! — торопил мальчишку офицер.

А обступившие его солдаты продолжали требовать.

— Хенде хох!

Но Миша шел, все так же широко ставя

ноги, и думал лишь об одном: как бы кто-то из солдат не выстрелил раньше времени. Ему нужно подойти как можно ближе. Тогда он взмахнет рукой, и они увидят свою смерть. Но будет поздно. Еще шаг. Еще. Пора! Кольцо сорвано. Осталось четыре секунды...

Что можно сделать за четыре секунды? Раньше он не задумывался над этим. Но теперь вдруг понял, что это очень много. Их вполне хватит, чтобы отшвырнуть гранату далеко в сторону, попросить у оккупантов прощения, вымолить себе жизнь. И никто никогда об этом не узнает. Зато ты будешь видеть, как над землей просыпается утро, как по весне степь одевается ярким самотканым ковром, ты увидишь маму, сестричек, может быть, судьба еще сведет тебя с той необыкновенной девочкой, письмо которой ты хранишь за подкладкой малахая...

Ну, решай же... Скорее... Осталось две секунды. Ты еще ребенок, несмышленыш. Тебя никто не упрекнет ни в трусости, ни в предательстве. Ты помнишь, что самое прекрасное на земле — это жизнь. Твоя задача — остаться жить. Любой ценой. Ты поймешь это позже. Кто это говорит? Миша вскинул глаза и увидел отца и Наталью Леонтьевну. Они отрицательно качнули головами. Значит, это слова офицера, поднимающего пистолет. Такой взрослый и такой глупый. Неужели до сих пор не узнал советских людей...

Если бы Миша хотел сохранить жизнь, он сидел бы сейчас в каких-нибудь Харабалях, так упорно не добивался бы приема в партизанскую школу, даже пройдя курс, мог бы остаться в ее стенах, а если бы в нем что-то дрогнуло и он хоть на мизинец усомнился в нашей победе, мог бы остаться в любом хуторе. И действительно его никто не посмел бы упрекнуть в трусости, малодушии, предательстве потому, что считали Романова-младшего ребенком. Но сам про себя Миша знает лучше всех. Никакой он не ребенок. Он — партизан

Советского Союза. Вместе со всеми давал клятву на верность Родине. Значит, если бы теперь он поднял руки, захныкал, прося пощады, он спасал бы не жизнь, а шкуру. А это такие разные вещи...

— Правильно, Миша!

— Молодец, сынок.

Пистолет уже поднялся на уровень его груди. Это больше всего пугало Мишу. Он боялся, что не успеет ближе подойти к врагам. Значит, нужно бросить сейчас, пока офицер не выстрелил. Без размаха, без видимого усилия он бросает в толпу врагов гранату. Уже после взрыва Миша падает ничком, широко раскрыв руки, точно в последний раз обнимает землю, которую всегда любил больше, чем жизнь.

* * *

До позднего вечера возили фашисты в хутор убитых и раненых. В яме, где летом скотники месили глину для саманного кирпича, они нашли Людмилу Крылову. Когда она увидела, как в толпе врагов всплеснулось пламя и Миша вместе с солдатами упал, девушка потеряла сознание. Очнулась она на повозке. Колдобины на дороге трясли телегу, и каждый толчок отдавался болью в ее посиневших, опухших ногах. От собственного бессилия девушка задыхалась. Судорога рыданий клещами сдавливала горло. Неужели она одна из тридцати шести уцелела? Зачем? Чтобы они пытали ее, глумились над ней, требовали сведений о партизанах? Она ощупала себя. Под фуфайкой должен быть нож. Пусто. Значит, обыскали, когда она была без сознания. Почему она не пустила последнюю пулю в себя? Все надеялась, что вместе с Мишей выберется. Но Миша остался там, рядом с отцом, отважным усатым пулеметчиком, а ее, живую, везут неизвестно куда.

Телега остановилась около длинного деревянного здания, в котором Людмила без тру-

да угадала сельскую школу. Два дюжих солдата подхватили радистку и в сопровождении офицера внесли в коридор. Опустили на ворох соломы. Офицер направился в глубину коридора, гремя подкованными сапогами, а солдаты, безнадежно махнув руками, ушли к подводе. Мимо Людмилы проносили раненых. Их размещали прямо на полу в пустых классах. Вскоре вернулся офицер вместе с моложавой женщиной, закутанной в платок.

— Посмотри ее,— сказал офицер, без особого труда произнося русские слова.— Что надо, сделай. Она одна осталась в живых и должна жить, чтобы рассказать...

Офицер, так же гремя сапогами, ушел, а женщина опустилась на колени перед Крыловой. Лицо ее покрылось испариной, как только она взглянула на опухшие бурые ноги девушки. Ее тошнило от вида окровавленных тряпок. Она поднялась и сказала двум проходящим солдатам, что лейтенант разрешил перенести раненую в ее комнату. Солдаты молча подняли Людмилу и выполнили просьбу. Когда дверь за ними захлопнулась, женщина, снимая с печки ведро воды, назвалась:

— Я здешняя учительница Косивцова, Мария Андреевна.

Осторожно промывая рваные раны теплой водой, она говорила Людмиле, что вчера гитлеровцы привезли из балки более полсотни раненых, сегодня — не меньше. На пустыре, за школой, они копают могилы. Косивцова насчитала сорок шесть ям. Сейчас они погнали жителей к базам закапывать партизан.

И только когда Мария Андреевна закончила перевязку, спросила:

— Тебя как зовут?

Людмила глянула в ее испуганные глаза. Она поняла, что причиной испуга являются ее ноги. До колен она уже не чувствовала их. Еще утром они горели, точно их держали над пламенем, а теперь от них веяло холодом. Холод этот поднимался все выше и выше. Порой

он достигал сердца, и тогда девушка теряла сознание. Крылова понимала, что обескровленная, обессиленная, она долго не сможет сопротивляться, что дни, а может, часы ее сочтены. И это сознание приносило ей облегчение: враги ничего не узнают от нее, даже если живую привезут в гестапо. Ее долгое молчание Косивцова расценивала по-своему: не хочет говорить, боится, что выдам.

— Ты не бойся меня,— умоляюще глянула она на Крылову.— Я не служу у них.

— Больше никого не привезли? — с надеждой спросила Людмила.

— Одну тебя живую подобрали.

Радистка закрыла глаза и тотчас увидела, как шагает к врагам Миша, держа гранаты за спиной. Она не хотела второй раз пережить то, что пережила в яме, увидев взрыв. Широко раскрыла глаза. «Пусть даже эта женщина обманывает,— лихорадочно думала Крылова, испытующе глядя на Косивцову.— Но даже через нее люди должны узнать правду о нас, особенно о Мише».

— Меня зовут Людмилой Крыловой,— с трудом проговорила она.— Дайте воды.

Косивцова, сетуя на свою недогадливость, заспешила к плите, налила из чайника в кружку воды, бросила туда кусочек сахарину, из шкафа вынула краюшку хлеба.

— Пей, ешь, Люда.

Пока та жадно глотала воду, заботливо поддерживала голову. Не опасаясь, говорила:

— Под Сталинградом их здорово тряхнули. Говорят, что под Котельниками видели наши танки. Ждем не дождемся Красную Армию. У нас старик один с колокольни смотрел. Говорит, весь горизонт в огне...

— Вы счастливая,— тихо сказала Людмила, устало опускаясь на подушку.— Вы дождетесь наших... Тогда расскажите им... Тут сражался отряд Ломакина... Нас было тридцать шесть. И не забудьте про Мишу Романова. Ему было всего тринадцать лет. Но дрался он

и погиб как герой... Мы бы ушли, но ждали рацию...

— Два дня назад,— перебила ее Косивцова,— в степи за Лобовым каратели наткнулись на троих. Двоих убили, а третий ушел. Разбитую рацию румыны привезли в штаб эскадрона.

— Это они,— прошептала Людмила.— Вы запишите фамилии, чтобы потом сказать.

— Нет, нет,— испуганно глянула на дверь учительница.— Ты говори. Я запомню.

Людмила назвала всех, кого помнила. В коридоре раздались все те же тяжелые шаги кованых сапог. Косивцова выдернула из-под головы Крыловой подушку, выжидающе застыла около двери. Без стука вошел офицер.

— Что она рассказала? — спросил он, подозрительно глядя на бледную Крылову.

— А что ей говорить,— осуждающе заметила Мария Андреевна.— Кровинки в ней не осталось. Боюсь я, господин лейтенант, не выживет она. Пусть полежит несколько дней у меня. Пришлите доктора. Может, он что-нибудь сделает.

— Но, но,— угрожающе поднял руку офицер. Он наклонил ухо к самому лицу Крыловой — дыхания не ощущалось. «Хоть бы живую сдать в гестапо»,— подумал лейтенант и, открыв дверь, позвал:

— Вилли! Фриц!

В комнату вошли солдаты. Лейтенант кивком указал на Крылову и на коридор. Те поняли жест и, подхватив Людмилу, отнесли ее в машину. До угасающего сознания радистки донесся шум мотора, потом она ощутила резкую боль от толчка — и все вокруг провалилось в беззвучную темноту...

И вдруг из этой тьмы навстречу ей вышел, освещенный неведомым сиянием, самый юный разведчик отряда Миша Романов. Как хорошо, что ты не погиб, хотела сказать Людмила, но не успела, потому что он сказал: «Наши вошли в Котельниково!»

ЭПИЛОГ

Каждую весну в городском парке Котельниково распускают зеленую листву широкие кроны старых деревьев. Особенно густо они распускаются на центральной аллее, где на высоком постаменте решительно шагает вам навстречу вихрастый мальчишка. Это Миша Романов — гордость пионеров степного города.

У его широко расставленных ног с весны до глубокой осени лежат полевые и садовые цветы. Их приносят родные и близкие, те, с кем рос и учился, те, с кем делил тяготы войны...

Недалеко от парка протянулась одна из лучших городских улиц — улица Романовых. Более тридцати лет ходила этой улицей Анна Максимовна на свидание с мужем и сыном. Окруженная внучатами, соседскими ребятами, она каждый раз вспоминала что-то новое из жизни Миши, Зиновия Афиногеновича, их боевых друзей.

В торжественные дни приема в пионеры приходят сюда мальчики и девочки в белых блузках. Встав под красное знамя, на котором золотом вышиты слова: «Пионерская дружина имени Миши Романова», они клянутся горячо любить свою Советскую Родину.

В дни празднеств, когда колонны стекаются к центру города, одна из них непременно движется улицей Романовых. И среди красочных панно, транспарантов о трудовых успехах, среди обилия кумача, музыки, цветов, песен, всеобщего веселья непременно присутствуют те, чьи имена навечно прописаны на фасадах домов и заводов, школ и поселков, на бортах кораблей и копрах шахт, словом, всюду, где день и ночь идет жизнь, во имя которой эти люди не щадили своей. Сегодня они вместе со всеми в школьном классе, в рабочей бригаде, пограничном дозоре, боевом расчете... И не просто со всеми. Они впереди. Были, есть и будут. Они всегда будут впереди.

1975—1981 гг.

ВСЕ СНАЧАЛА

Неизменному спутнику
Галине Федоровне

После вчерашней ночи, когда он впервые увидел Валю, после штурма городка и после того, как сегодня он все-таки отыскал ее, Андрееву было приятно ощущать на своем лице горячие женские губы.

Светлые, почти пепельные волосы мягкой накидкой расстилались по плечам. Темные глаза то отдалялись, то приближались, маня и обещая.

Откинув голову и глядя на его лицо, чуть поглупевшее от счастья, она говорила с ним так, словно знакомство их длилось не меньше вечности. Всякому, кто утром сказал бы ей, что через несколько часов она вот так легкомысленно будет вести себя с абсолютно неизвестным мужчиной, Валя, не раздумывая, залепила бы пощечину. Она не может объяснить ни ему, ни себе, что с ней творится.

А он протяжным вздохом отбросил легкие волосы, приник к розовому уху и зашептал. О том, что она самая хорошая, самая красивая на свете, милая, очаровательная... И он счастлив, что говорит ей такие слова взволнованно, искренно. И он верит, что все сказанное ею такое же честное, идущее от души. Значит, они любят друг друга отныне и до конца.

Его правая рука поднялась к воротнику сиреневой шерстяной кофточки и расстегнула верхнюю пуговицу. Но ее рука, как опущенный шлагбаум, преградила ему дальнейший путь.

— Я завтра уезжаю. Понимаете — завтра.

— Знаю. Поэтому не хочу, чтобы было так. Я ваша, Андрюша. Я тоже до вас никогда

и никому этого не говорила. Но не надо так...— Она отодвинулась от него.

Взволнованные, молча глядели друг на друга. Женщина — с обидой, лейтенант — с огорчением. В его взгляде читался вопрос: зачем же тогда просила остаться? Ну, посидели с вечера, побеседовали, даже попели, попытались потанцевать на маленьком пятачке... Собрались пожелать хозяйке спокойной ночи. На пожелания всех она отвечала словами благодарности. Но когда Андреев протянул ей руку, Валя удивленно взглянула на него и, не стесняясь присутствующих, сказала:

— Я хочу, чтобы вы остались... Если можно.

Счастливый, Андреев снял шинель.

А теперь, оказывается, он всего-навсего милый собеседник, галантный кавалер.

— Валя?..— не выдержал молчания Андреев.— Вы не верите, что после войны я вернусь к вам, только к вам?

На минуту ее черные глаза спрятались за занавес густых ресниц, и она прошептала:

— Верю.

И снова их глаза встретились. Ее говорили: я верю всему, что вы говорите. После нашей встречи я не боюсь будущего, каким бы оно ни выпало. Но я жалею о том, что принадлежала другому. Он оказался искуснее вас, свое грязное предложение о сожительстве расписал такими акварелями, что у девчонки закружилась голова... Надо ли вам все это знать?..

А его глаза говорили: милая, разве я виноват, что встретил тебя в такое страшное время. Время, когда сегодня я вижу, слышу тебя, а завтра — случайная пуля или осколок снаряда отнимут у меня все это. Может быть, ты думаешь, что поэтому я тороплюсь жить? Нет. Ты не догадалась, о чем я думал? Вот и хорошо. К черту эти мрачные мысли. Я люблю тебя и лучше скажи, что мне делать?

Валя поднялась и попросила:

— Посидите.

Она нежно прикоснулась к его голове и уш-

ла за легкую драпированную ширмочку, отгораживающую ее кровать от остальной комнаты.

Андреев попытался сосредоточить внимание на старом учебнике почвоведения, на пожелтевших листах фикуса, на куске заиндевевшей фанеры, заменившей фрамугу одного окна, но его взор, перебегая с предмета на предмет, непременно наталкивался на ширму, а слух (о, как бы он хотел оглохнуть на эти минуты) жадно улавливал стук туфель о половицу, шуршанье.

— Андрюша, иди сюда.

Ноги сделались непослушными, деревянными. С усилием прошел несколько шагов от дивана к столу. Машинально потушил лампу и, ослепленный резким световым контрастом, продолжал стоять, ожидая, не веря, думая, что ослышался.

— Андрюша?

Из-за крыши-пирамиды соседнего дома показался край ртутно-дрожащей луны, и серебряный свет озарил широкие, зовущие глаза и шепчущие губы Валентины.

...В домах напротив одно за другим исчезали во мраке окна. Она ему рассказывала:

— ...Мне предложили выехать, но я ушла с партизанами. Там у меня был муж. Нельзя сказать, чтобы я любила его, но, ты меня понимаешь, Андрюша, жить одной среди мужчин... Может быть, другие умеют, но я не смогла.

Он понимающе кивнул и осторожно сел рядом.

— Потом умерла мама, а нас каратели прижали к болоту, и вдруг здесь Николай пропал. Многие думали, что он попал в трясину и утонул, но я этому не верю; он просто бежал. Понимаешь, бежал. Все бросил... товарищей, борьбу и... меня.

— Почему ты думаешь, что бежал? Может быть, твой Николай сейчас где-нибудь в рядах армии идет...

— Нет,— перебила Валя.— Он не такой.— Она, улыбаясь, поглядела на тонкие губы Андреева и добавила: — Не такой, как ты. В тебе есть что-то большое, сильное. Ты ведь сильный. Правда? Мне почему-то кажется, что если у тебя отнимут руки и ноги, ты все равно будешь жить. Правда?

— Не знаю,— приподнял плечи Андреев.— Но, наверное, да. Я люблю жить. Жить, не просто поедая хлеб насущный, а жить с сознанием того, что если не сегодня, так завтра ты принесешь людям пользу. Конечно, это пышно, но вот кончится война, и ты сама...— И, не завершив мысли, остановился.— Я забыл, что ты замужем.

— Была,— усмехнулась Валя.— Даже если он вернется, я не буду больше его женой ни за что.

— Почему? — в наивности наклонился к ней Андреев.

Она прямо взглянула ему в глаза и ответила:

— Сам знаешь, дурачок. Потому что встретила тебя.

Он встал и, подойдя к окну, поглядел в темноту. В стекле отразились только глаза, выпирающие из овала лица. Андреев представил, как завтра, если не утром, то в полдень обязательно, его стрелковый батальон покинет этот городок и уйдет к границе, к Германии.

А она останется здесь одна. Как будет жить, где работать, с кем встречаться? Он начинал ревновать ее, о существовании которой даже не подозревал двадцать лет и которую увидел вчера.

Его батальон наступал с правого фланга. Миновав лес, он вышел на равнину. Впереди не было видно ни колючей проволоки, ни других укреплений. Казалось, что враг забыл об этом участке, хотя он и находился не так далеко от города: в бинокль были видны черные силуэты строений.

«Наверное, надежно заминировали?» —

мелькнула догадка у Андреева, и он приказал: — Минеры, вперед!

И в это время из кустарника выбежал человек. Сперва Андреев принял его за подростка, но, увидев на голове пуховый серый платок, угадал девушку. Ветер дул ей в лицо. Выбившиеся из-под платка светлые волосы легко взлетали вверх.

— Стойте! Стойте! — кричала девушка и, подбежав к Андрееву, ближе других стоявшему к лесу, счастливо прошептала: — Наконец-то, пришли, товарищи.— Подошла вплотную к Андрееву и, поднявшись на носки, обняла его и поцеловала в холодную, колючую щеку. Опешивший лейтенант, опомнившись, хотел ответить ей тем же, но не успел: девушка отступила и пристально глядела на него большими счастливыми глазами.

Она достала из внутреннего кармана телогрейки пакет и передала его командиру батальона. Прочитав письмо, Андреев тепло поглядел на незнакомку и проговорил с уважением:

— Вот вы какая, минер Гордеева.

— Какая же,— смутилась она.— Обыкновенная.— И снова ее черные глаза дольше, чем требовалось в такой обстановке, остановились на его смуглом лице.

— Ну, что скажете, товарищ Гордеева?

И пока она рассказывала о том, что впереди батальона болото, а гати заминированы и поэтому придется идти в обход, Андреев внимательно разглядывал ее.

Батальон двинулся в обход. Впереди шли Гордеева и командир взвода разведчиков лейтенант Сковорода. Чуть поотстав, Андреев. Командир разведчиков, отчаянно жестикулируя, говорил проводнице что-то веселое. Иногда она оборачивалась назад, и Андреев видел на ее лице улыбку. Он завидовал отчаянному и бесшабашному Сковороде. За два года совместной жизни Андреев заметил, что последний без труда заводит знакомства с людьми

разных возрастов и положений: с мамашами и их детьми, с тетями и их племянницами. Сковорода считал себя особенно неотразимым при встречах с молодыми вдовами. И, кажется, считал не без оснований. Сколько раз на переформировании или коротком отдыхе лейтенант Андреев отпускал Сковороду в город или поселок, и тот, возвратившись, вел его в дом, где непременно было вино и женщины... Андреев редко оставался до утра в таком обществе. Выпив пару рюмок, он находил предлог и уходил.

А на следующий день, слушая упреки товарища, Андреев, смущаясь, нарочито грубо говорил:

— По́шло все это, брат. Идет война...

— Пошел к черту со своей моральной философией,— резко останавливал его Сковорода.— Мне ее и ты, и командир полка, и замполит — все читают. Война, война... А я что, не воюю. Воюю и не хуже других. Только, по-моему, каждый за свое воюет.

— Неправда,— горячился Андреев.— Мы воюем за Родину.

— Факт, не за господа бога,— парировал Сковорода.— Только для тебя Родина — это заводы, шахты, для Шамаева — его Таджикистан с высоченным Памиром, для Мамеладзе — дача под Тбилиси, а для меня Родина — милые русские бабы. Не надо мне античных красавиц Греции и Рима, не надо испанок, немок, чешек... Подай мне русскую, нашу. И за нее, добрую, мудрую, работящую, воюет Ванька Сковорода. Не веришь? Вот перейдем границу, ни одной иностранки не трону.

— Да как же ты будешь без женщин? — недоверчиво смеялся Андреев.

— Зачем без женщин? — не обижался Сковорода.— Свою буду возить.

— Циник ты, Иван.

— Брось, лейтенант,— мирно хлопал он Андреева по плечу.— Скажи лучше, что завидуешь...

Да, временами он завидует командиру разведчиков. Особенно сейчас. Он отгоняет от себя эти мысли, сворачивает своего дончака с дороги, оглядывает ряды батальона. И, дав команду: «Подтянись», снова едет в нескольких шагах позади Сковороды и Гордеевой.

Вечером, когда батальон подошел к двухэтажному дому учебного хозяйства сельскохозяйственного техникума («Я здесь работала»,— сказала Гордеева), в небо взметнулись сигнальные ракеты, и начался штурм городка. Возле элеватора к батальону присоединился партизанский отряд, и Андреев потерял из виду проводницу.

Наступило первое утро освобожденного городка. Андреев обычно доверял старшинам и командирам рот, редко заходил в дома, где размещались его бойцы. Но сегодня он с непонятным терпением ходил из двора в двор, заглядывал в комнаты, интересовался, как устроились люди, и втайне надеялся встретить еще раз девушку с черными глазами, увидеть ее живой, невредимой, сказать просто, что желает всего лучшего в ее жизни, а может быть, расскажет правду о том, что волновался, не зная о ее судьбе, и бесконечно счастлив, что видит ее живой. Сегодня с каким-то особым удовольствием разрешил Сковороде «прошвырнуться», как тот выразился, по городу: надеялся — может, он встретит Гордееву.

Обойдя добрую половину улицы, Андреев, разочарованный, вернулся к себе на квартиру. Его ординарец Мамаев с помощью хозяйки приготовил вкусный обед, но лейтенант, умывшись, прилег на кровать. Есть не хотелось. Хотелось одного — видеть ее, говорить с ней. Может быть, хозяйка знает, где живет Гордеева, которая уходила в партизаны. Спросить? Пойти? «Ну, пойдешь, встретишь (он не допускал мысли, что она могла погибнуть), что скажешь: вот, мол, пришел... Глупо. Стоп, а может быть, она в санбате, ранена и ей нужна помощь?»

Андреев вскочил, торопливо натянул ремни и портупею, и в это время в прихожей послышался голос Сковороды:

— Хозяин дома?

— Дома, дома! — закричал Андреев.— Заходи.

— Сегодня в первый раз в жизни завидую тебе, Андрюха,— убитым голосом произнес Сковорода, появляясь в дверях.

— Нашел? — тревожно спросил Андреев.

— Нашел. Она живет на Пушкинской, дом их уцелел. Я ребятам приказал, они ремонтик кое-какой произвели: окна фанерой забили, двери починили, дровишек ей принесли, печку переложили.

— Ну, что она, не ранена? Одна или с кем живет? Что просила? — Андреев засыпал вопросами Сковороду.

— Да отвяжись ты со своими сантиментами,— добродушно-ворчливо ответил лейтенант.— Говорю же, первый раз в жизни завидую тебе. Такая женщина, такая женщина!

— Почему женщина? — насторожился Андреев.— Ты что-нибудь уже разведал?

В зеленых глазах Сковороды сверкнули злые огоньки.

— Дать бы тебе по морде за эти слова. Как ты о ней такое можешь думать?

Он отстранил Андреева, упал на кровать в полушубке, валенках и, закрыв глаза рукавом, медленно заговорил:

— Когда ребята закончили ремонт и удалились, она подошла ко мне и хотела пожать руку, а я взял ее за плечо. Знаешь, как я обычно их беру. При этом бывало всякое: одна засмеется, другая покорно прильнет ко мне, третья бросит в лицо «хам» или «нахал», а случалось, и ляпнет по морде... А Валя только глянула в меня, понимаешь, не на меня — в меня, в мою душу... И я опустил руки.

Она села на диван и спросила:

— Ваня, ты можешь сделать еще одно доброе дело для меня?

— Могу,— ответил я.

— Передай, говорит, лейтенанту Андрееву, это тебе, значит, святоша, если у него будет желание, заходите с ребятами ко мне в гости. Отметим нашу победу!

— Когда? — обрадованно воскликнул Андреев, бросаясь к вешалке.

— Для всех сбор в восемнадцать ноль-ноль, а тебе, наверное, в любое время. Без доклада.— Он вскочил.— Одевайся, чего топчешься.

И вот кончаются последние часы его жизни в этом городке, в этой комнате. Время неумолимо отсчитывает минуты. Неужели его счастью суждено быть таким коротким? А нельзя ли сделать так, чтобы они с Валей теперь не расставались никогда? Пойдет ли она с ним, захочет ли разделить все тяготы тревожных, неуютных военных дорог?

Подолгу не мигая, глядел он на пустынный заснеженный двор, на черные, словно выкрашенные деревья, на громоздкие ворота, раскачиваемые ветром, глядел на тихие спокойно спавшие улицы освобожденного городка.

«Надо ли спрашивать ее,— раздумывал Андреев,— надо ли отрывать от этой тишины, от родных мест, где она выросла, училась, работала?.. Взять ее с собой и не знать ни одного дня, ни одного часа покоя — тревожиться за Валину судьбу. Нет, пусть она остается здесь, а он, если доживет, приедет в отпуск, и они поженятся. Об этом он скажет ей».

* * *

Утром они расстались. Валя плакала и уже на правах старшей в доме заботливо пихала в его карманы теплые, пахнущие коровьим маслом лепешки. Уже в калитке она спросила:

— Как договорились, получишь отпуск и ко мне?

— Если не убьют, только к тебе.

Площадь постепенно оживала... У ворот шта-

ба полка расположился оркестр капельмейстера Глущенко. Проходя мимо него, Андреев посоветовал:

— Глущенко, что-нибудь такое, чтоб душу жгло. Без шума, но оглушительное.

— Ту мы бережем, товарищ лейтенант. Новый, может, слышали, «Офицерский вальс».

— Какая-нибудь пустышка,— вскользь заметил Андреев.— Теперь всякой дряни под песенной маркой сколько угодно.

— Ну,— обиделся Глущенко,— эта песенка подлинная, товарищ лейтенант. Я вам куплетик из нее исполню.

Он наклонился вперед и, поблескивая глазами (заранее торжествовал победу), запел:

Утро зовет
Снова в поход.
Покидая ваш маленький город,
Я пройду мимо ваших ворот.

В артистическом порыве капельмейстер решил продолжать пение, но Андреев, не слушая его, уже бежал к штабу. У него блеснула мысль: вот подарок,— покидая их маленький город, он пройдет мимо ее ворот. Не один, а с батальоном. Пусть увидит Валя, какие у него люди, пусть она пожелает им всего хорошего в пути. Но перед домом штаба он остановился и высмеял сам себя: «Ну, пижон, ну, мальчишка».

Андреев направился в противоположный конец площади, где строился его батальон. С каким-то тупым остервенением он давил сапогами большие, как театральная вата, хлопья снега, ложащиеся на сырой булыжник мостовой.

— Берегись,— прокричал кто-то за спиной, и, едва он успел отскочить в сторону, как снежная, смешанная с колючим песком пыль ударила ему в лицо. Офицер связи гнал взмыленную лошадь к полковому складу. Лошадь вывела лейтенанта из раздумий. Он остановился и только сейчас внимательно разглядел

происходящее вокруг. Около порожней трехтонки, неистово ругаясь и надрываясь до хрипоты, спорили скорее по укоренившейся привычке, чем по необходимости, интенданты полка. Шофер, худощавый, рябоватый парень, одетый в новую, но уже изрядно промасленную спецовку, равнодушно глядел на споривших, не спеша раскуривая папиросу. Отделение за отделением во главе со старшинами проходили мимо, груженные пайками «НЗ».

Привязанные к водосточным трубам и остаткам заборчиков лошади нетерпеливо долбили копытами мерзлую землю и, не прекращая, жевали серое, сухое, но все равно ароматное сено. Ожидая своих офицеров, молодцеватые ординарцы после каждой затяжки небрежно сплевывали и перекидывались чаще всего пустыми фразами.

Во дворе против склада расположились ротные кухни. Оттуда ветер навевал запахи бесхитростных солдатских завтраков.

После торжественного смотра приехавший из штаба дивизии полковник зачитал приказ по полку, в котором среди удостоенных награды за выполнение прошедшей операции числилась и фамилия лейтенанта Андреева.

— Что же вы не рады, товарищ лейтенант? — с человеческой завистью и одновременно с гордостью за своего командира спросил ординарец, когда они ехали со смотра на квартиру.

— Почему не рад. Конечно, рад,— улыбался Андреев,— но если бы ты знал, чего я хочу, то такими глупыми вопросами меня не награждал.

— А чего же вы хотите? — заинтересовался ординарец.

Офицер посмотрел на него и ничего не ответил. Разве мог сказать он Мамаеву о том, что сегодня ему впервые за два военных года не хочется уходить из городка, хочется остаться здесь на лишний день, даже полдня, ну хоть на час. Нет, об этом никто не должен знать,

даже Сковорода, который понял бы Андреева и не осудил его.

Перед выходом к лейтенанту подъехал лихой разведчик.

— А Валя не едет с нами? — удивленно спросил он, прикуривая от трофейной зажигалки Андреева.

— Нет. Я приеду в отпуск, и мы поженимся.

— Разве это нельзя оформить сейчас? — не понял Сковорода.— Взял бы и зачислил ее в медсанбат, у меня там начальник — свой человек. Он мою Люську запросто принял, и ни один комар носа не подточит. Учись, лейтенант, пока я живой.

Андреев усмехнулся.

— Нет, Ваня. Я вовсе не хочу такой любви.

— Пожалеешь, Андрюха, да поздно будет.— И, отъезжая от комбата, попросил: — Если передумаешь, шепни.

Полк уходил из городка... Звенела на морозе начищенная до золотого блеска медь духового оркестра. Новая музыка, свободная, легкая и в то же время невольно переносившая идущих куда-то в ночь, в разбитый городок, в залу, откуда доносятся звуки сохранившегося старого, немного фальшивящего рояля, к дому, где, скрипя на проржавевших петлях, раскачивается одна половина массивных дубовых ворот, заставляла улыбаться и ласково глядеть на слепящий глаза снег.

Валя стояла среди провожающих. Здесь были знакомые: некоторые по месту довоенной работы, некоторые по совместной жизни в партизанском отряде. Она видела, как Андреев, разговаривая с полным майором, беспокойными глазами искал ее среди стоящих на обочине. Она поднялась на носки и протянула вверх руку. Андреев увидел ее, и его смуглое лицо просветлело. Он поравнялся с Валей, остановил коня и сказал:

— Я буду писать тебе каждый день... Жди меня.— И, наклонясь еще сильнее, сказал тихо, чтобы слышала одна она: — Милая.

В это время мимо проезжал молодой офицер и шутливо бросил на ходу:

— Очередная любовь, Андрюша?

Андреев не обратил внимания на балагура, но глаза Вали вдруг стали испуганными. «Очередная любовь. Я — очередная? А он говорил... Но ведь те, кто воюет с ним, лучше меня знает его. Андреев смеется. Чему? Радуется, что уезжает. Мне так грустно, а ему весело». Она отвернулась.

— Валя? — огорчился Андреев, заметив перемену в ее лице.

— Прощайте, Андрюша,— спрятала она глаза, наполненные слезами.— Спешите, ваш батальон ушел.

— Валя? — еще раз обратился он к ней, но она, опустив низко голову, выбиралась из толпы.

— Товарищ лейтенант,— осадил возле него лошадь ординарец.— Вас командир полка требует.

Андреев в последний раз взглянул на Валю и, пришпорив коня, поскакал в голову колонны.

* * *

На следующее утро Валя укладывала в портфель чудом уцелевшие конспекты лекций, учебники Прянишникова, Вильямса. Она верила, что в ближайшее время в техникуме начнутся занятия, прерванные нашествием. Надо было начинать работать. И она решила во что бы то ни стало добраться до учхоза, но подумала и поняла, что будет лучше, если она сходит в районо или в райисполком, на худой конец. Там скажут, когда и куда следует явиться, чтобы начать мирную жизнь, о которой она столько мечтала.

Она подошла к зеркалу. Оттуда на нее глянуло плоское желтоватое лицо с нахмуренными бровями.

— Разве я поступила дурно? — спросила

настоящая Валя у той, в зеркале, и, не дождавшись ответа, продолжала: — Ведь я любила его. И даже сейчас, когда мне стало известно, что я очередная любовь Андреева, я все равно люблю его: большого, сильного, красивого. Я даже верю, что он напишет, объяснит...

Мысли о вчерашнем лейтенанте прервал тяжелый стук в дверь. Валя быстро вскочила и, на ходу поправляя нерасчесанные после постели, длинные волосы, побежала открывать.

— Здесь Гордеева живет? — спросил равнодушно подросток.

— Да. А что?

— Повестка ей. Наверное, это вам,— поправился подросток, глядя на протянутую руку женщины.— Из военкомата.

Валя расписалась на корешке. Закрыла дверь, прочла текст повестки.

— К девяти,— испуганно прошептала она, увидав, что стрелки ходиков показывают половину десятого.

В жарко натопленной комнате Валю принял капитан. Он вежливо осведомился о ее здоровье и только после этого спросил, кем она была в партизанском отряде.

— Минером,— ответила Гордеева, еще не зная, зачем ее пригласили сюда.

— О! — воскликнул капитан.— Минер. Такая золотая специальность,— он умиленно взглянул на Валю,— у такой, так сказать, красивой девушки. Нам вот так нужны минеры.— Военком провел ладонью по красной, толстой шее.— Масса мин вокруг, а минеров мало, так сказать, в обрез. Так как? Поможете нашим осоавиахимовцам?

— Извините, товарищ капитан, я должна объяснить. Я преподаватель техникума,— возразила Валя.— Нужно продолжить учебный год.

— Ерунда, товарищ — как вас? — Гордеева, сущая ерунда. Вы туда не попадете — все заминировано. Сначала нужно очистить территорию учхоза, а потом уж начинать

занятия. Организуйте однодневные курсы со своими людьми.

На том участке, где работало отделение Гордеевой, разминирование шло успешно. Остались самые безопасные места — совхозный элеватор и усадьба дорстроя.

Выдался на редкость солнечный, со слабым морозом день. В обеденный перерыв Валя, усталая, похудевшая, с неожиданно посеревшими глазами, не спеша спускалась к неглубокой балке, на дне которой под тонким матовым льдом бежала маленькая, летом пересыхающая речушка. Ею овладело страстное желание остаться одной, сесть на недавно спиленное дерево, устремить взор в одну точку и думать... О чем именно, она не знала. Да это было и не так важно. Лишь бы одной и думать. Стряхнув с помертвелой старческой коры молодой, еще не пожелтевший снег, Валя устало опустилась и увидала, как над ней, казалось, задевая крутой склон балки, бегут легкие, пушистые, прозрачные облака.

И вдруг она поймала себя на мысли о том, что думает об одном и том же: «А что сегодня делает Он?»

Вот уже около недели Валя задает себе этот неразрешимый вопрос. Она твердо была уверена в том, что в один из обыкновенных вечеров, когда она придет домой, в почтовом ящике окажется маленький бумажный треугольник. Но вечера проходили, а письма не было.

Подойдя к усадьбе дорстроя, она невольно обратила внимание на маленький бугорок с врытым столбиком — могилу воина, а может быть, мирного жителя, погибшего во время боев или оккупации. Половина столбика была заснежена, и Валя, с трудом отодрав толстую корку снеговой наросли, присела на корточки, чтобы прочитать, кто же здесь похоронен. Фамилия была незнакомая, но почему-то сейчас очень близкая и родная для нее. Это, наверное, потому, что на другом конце города, возле

скорченной железной ограды небольшой часовенки, есть еще один такой же бугорок, с таким же столбиком, там лежит ее мать; и еще, наверное, потому, что она тоже начинает с некоторых пор верить в смерть Николая.

Валя даже не заметила, как солнце, перевалившись за невысокие пологие возвышенности, окрасило снег и все пространство над головой в ярко-красный цвет. Торопливо наступали холодные сумерки. На небе, как светлячки в августовском поле, замерцали крошечные звезды. С востока подул пронизывающий ветер. Ей вдруг захотелось побывать на своем участке поля, где совсем недавно она, сначала студентка, а затем преподаватель, с веселой гурьбой здоровых, немного насмешливых девушек и парней собирала и ела сладкую, желтящую губы морковку.

Может, она не заметила, а может, на самом деле кто-то украдкой поставил совсем недавно крест со свастикой и стальной каской на верхушке. Валю возмутило такое соседство. Оглядываясь, она хотела найти ответ на вопрос: кто посмел поставить чужеземный крест? Но поблизости никого не было. Задыхаясь от гнева, она сорвала каску и швырнула ее в сторону.

Красные, слепящие огни брызнули из-под земли, и только потом до ее сознания долетел глухой взрыв мины...

Сколько она лежала в снегу, час, два?..

* * *

Андреев уже четвертый раз вставал с кровати, осторожно ступая босыми ногами по полу и засветив зеленоватый огонек карбидного фонаря, принимался за начатое письмо. Что произошло в жизни Гордеевой после его отъезда, Андреев не знал, но ему почему-то казалось все эти дни и ночи, что Валя из-за его нере-

шительности стала несчастной. И как ни пытался себя в этом разуверить молодой офицер, сердце по-прежнему мучила щемящая боль.

«Нет,— думал Андрей, уверенно беря ручку и наклоняясь над чистым листком бумаги,— надо просто объяснить ей все происшедшее в тот неудачный день. Она поймет...»

Прямо в окно глянуло ошинованное серебром колесо луны. Ему показалось, что луна как-то криво усмехается и, немного покачиваясь, дразнит. Он быстро встал и задернул ситцевую штору.

«Дурак,— ругал себя Андреев,— не послушался тогда Сковороду. Была бы со мной, выяснила, что слова проезжавшего лейтенанта — юмор, окопный юмор и не больше».

Снова склонился над бумагой. Пусть знает, что она для него одна, единственная. А молчал неделю потому, что часть все время была в бою, гнала фашистов с родной земли. Ведь чем раньше наступит победа, тем быстрее они встретятся.

Ручка легко побежала по бумаге.

...Бесконечно долгими казались короткие зимние дни. Думалось ночами разное. То письмо по небрежности курьеров упало в снег и теперь его растоптали так, что он сам не узнает своего почерка, то военная цензура зачеркнула все, что писалось от сердца, и ненужная бездушная бумага заставит Валю недоумевать и злиться, или, чего меньше всего ждал лейтенант, оно вернулось и лежит в соседнем блиндаже полевой почты. Чем дальше уходил день отправки письма, тем чаще заходил на почту Андреев.

Его батальон только что занял небольшой разъезд, соединяющий узловую станцию с районным центром. Усталые после боя, бойцы располагались на ночлег в помещении полустанка и блиндажах, вырытых немцами вдоль полотна железной дороги.

В маленьком почти не разрушенном домике начальника разъезда Мамаев кипятил чай

и подогревал на чугунке банку мясных консервов.

Андреев сидел тут же на корточках. Он поспешно поворачивал голову на каждый шорох за дверью. И когда шаги или скрип санных полозьев удалялись, шептал: «Опять нет».

Уже к рассвету в дверь осторожно постучали. Ординарец вскочил с разостланной шинели, но Андреев, который не ложился (на столике горел фонарь, а на горбушке хлеба лежала раскрытая книга), жестом руки остановил его, сам открыл дверь и впустил позднего путника.

— Только что привез, товарищ лейтенант,— оправдывался связной.— Помню наказ. Не хотел беспокоить, да заметил свет. Что ж сердце до утра томить, думаю, рано или поздно, а узнает. Вот возьмите.

На постаревшем взлохмаченном по углам конверте стоял почтовый жирный штамп «Возвращается за выбытием адресата» и подпись, неразборчивая и потому злящая, будто подписавший не захотел узнать и сообщить, куда выбыл адресат.

Письмо сжег, а конверт спрятал в планшетку. Потом погасил свет и вышел.

Вдоль насыпи со стремительной быстротой катился будто выпрыгнувший из старинной русской сказки большой снежный колобок-белобок. Колючий ветер, прерывая плотную кисею снегопада, одичавшей дворняжкой кидался на грудь и в лицо. Иногда со свистом подлетал к ушам, и тогда Андреев ясно слышал: «Поезжай... Она-а-а...»

* * *

— Говорите спасибо бойцам, а не мне,— сказал молодой хирург, помогая Вале влезть в машину.— Главное, соблюдайте режим, и тогда, я уверен, через два-три месяца забудете о костылях.

— В первую очередь вам спасибо,— Гордее-

ва прижала к груди сухие, пожелтевшие руки.— Если бы не вы, обитать мне на крестовых хуторах. Я вас на всю жизнь запомню. До свидания.

Она взглянула на небо. Глаза невольно прижмурились. Апрельский солнечный день был в разгаре. Валя, осторожно укутывая больную ногу стеганым одеялом, улыбнулась.

— Доктор, я сейчас на церковь глянула, и меня осенила мысль. Вы только не сердитесь. В бога я не верю, но обещаю: если доведется бывать мне в церкви — свечу вам поставлю. Во-от такую. А когда попадете в наш город, обязательно заглядывайте на Пушкина, два.

Подходили выписавшиеся. Шофер нетерпеливо высовывался из кабины. Провожавшие крепко жали товарищам руки, неуклюже обнимались, целовались, обещали писать чуть ли не ежедневно, разбиться в лепешку, но встретиться, поговорить, выпить за все.

Наконец все уселись, и водитель, предупредив пассажиров, как надо вести себя в дороге, просигналил. Мощный «студебеккер» почти бесшумно покатился по асфальту.

Валя закрыла глаза. Разговаривали соседи, в ноздри проникал едкий дым махорки, шипела резина скатов, где-то за углом бойко заливался трамвайный звонок.

* * *

...Паровоз заметно прибавлял скорость. Андреев, глядя в окно, старался отыскать хотя бы один знакомый ориентир на этой местности.

— Ничего не узнаю. Представляете? — обратился он к молчаливому спутнику, лежавшему с книгой в руках.— Осенью бывал в этих местах, и вот, представляете: ничего не могу узнать. Помню, домов не было, разъезды разрушены. Сейчас как-то все преобразилось. Чувствуется труд тыловиков.

Пассажир неохотно повернул голову к окну.

— Да нет, ничего не нахожу нового. Около года не был здесь. Все как прежде.— Он отложил книгу и, немного подумав, добавил:— Между прочим, старший лейтенант, это хороший признак, что в моих краях (я ведь здешний) мало что изменилось.

— Почему? — полюбопытствовал Андреев.

— Как почему? Вот тебе раз. Это даже приятно. Может, и она, моя славная супруга, осталась прежней.

— Вы к жене? Извините за неуместный вопрос.

— Ничего, ничего,— успокоил его пассажир.— Это самый уместный вопрос в данной обстановке. О чем говорить двум женатым мужчинам, едущим в отпуск...

— Я не женат,— заметил Андреев, стараясь не обидеть неожиданно разговорившегося товарища по купе.

— Ничего, ничего. Вы еще женитесь.— И он засмеялся.

Вечером они пили чай, и каждый, доставая из чемодана яства, старался блеснуть своими перед другим.

— Даже в один город. Ну, это меня просто подымает,— не умолкал пассажир.— Милости прошу ко мне тогда в гости. Вы надолго, товарищ старший лейтенант?

— Давайте просто, товарищ младший лейтенант,— предложил Андреев,— по-товарищески. Меня зовут Андреем.

— Очень приятно. Николай.

Уже засыпая, он еще раз напомнил:

— Андрюша, не забудь в гости. Только вот на последнее письмо она мне не ответила, ну, это дело легко поправимое. Обиделась. За одну мелочь. Я в последний раз так быстро уехал, что и не простился с ней...

Андреев долго лежал с открытыми глазами. Под коричневым дерматиновым потолком тускло мерцал огонек ночной лампочки. Жалкие, желтоязычные полоски света едва-едва достигали его лица и растворялись в белках

широких карих глаз. Внизу однотонно, надрывисто бесконечно кричали колеса: «Напрасно, напрасно...» Неожиданно этот звук сменялся противоположным: «Нет, нет...» И так долго-долго спорили одни и те же колеса, то затихая, то снова звеня, пробуждая дремлющего Андреева.

Утром их поезд прибыл в город. От восстанавливаемого вокзала они шли вместе. Вот и та площадь. Андреев узнал большой дом с парадным и остановился... Нет, идти дальше вместе он решительно не хотел. Но как, как обмануть, как незаметно и безобидно покинуть счастливого спутника, друга по купе и, может быть, случайного врага по жизни. Его мучила одна и та же мысль: он или нет? Спросить или не надо? «Спроси». — «Нет, не надо».

— Ну, о чем ты задумался?— ласково улыбнулся Николай.— Я скоро дома... Вон моя, вторая отсюда, улица Пушкина...

— Пушкина,— рассеянно повторил Андреев и торопливо протянул руку товарищу.— Счастливо, а я в другую сторону. Прощайте.

В привокзальном скверике было еще безлюдно. Новые, недавно сделанные скамеечки поблескивали гладко оструганными досками. Маленькие тощие листья тоскливо, раздражая слух, шелестели. Хотелось срывать и срывать их до тех пор, пока сквер не останется таким же пустым, одиноким, как он сам, приехавший в почти незнакомый город офицер Андреев.

Высоко-высоко в небе, выстроенные кильватерными колоннами, куда-то спешили перистые облака, а выше, догоняя облака, безжалостно пронзали их солнечные лучи. И это тоже раздражало, злило Андреева.

«Не забудь в гости»,— вспомнил он добрые голубые глаза Николая и, вздрогнув, отвернул лицо, как будто кто-то мог его узнать, наскучить беседой.

До следующего поезда оставалось около су-

ток. Андреев направился к гостинице. Возле дверей приземистого купеческого краснокирпичного дома его кто-то с силой дернул за руку. Андреев повернулся и побледнел. Из-под козырька фуражки потекли струйки холодного пота, обжигая воспаленное лицо.

— За что ты меня обидел? — Немного красный от вина Николай казался еще добрее. Его голубые глаза, как хорошее зеркало, отражали незаслуженное оскорбление души.

Рядом с ним, не стесняясь никого, крепко обхватив руку офицера, стояла счастливая, улыбающаяся белокурая женщина.

Андреев, не веря своим глазам, шагнул навстречу жене Николая и, стремительно бросив чемодан и шинель, обхватил короткую шею товарища.

— Коля, Колька, прости...

Из-под густых ресниц медленно выкатывались тяжелые слезинки.

— Николай,— шептал Андреев, все крепче и крепче сжимая его шею.— Коля, если бы ты знал...

— А если бы ты знал, Андрей, как ты меня обидел. Вот это тот самый Андрюша, о котором я тебе говорил,— повернулся он к женщине.— Да вы познакомьтесь. Это моя супруга.

— Катя.

«Никогда не бывает человек так наивен и беспомощен, как в тот миг, когда он искренне раскаивается в своих ошибках»,— думала жена Николая, глядя на глуповатого от непонятного счастья нового друга мужа.

Андреев не бежал, он летел, не ощущая под собой весенней напоенной вдоволь талыми водами земли, летел, не обращая внимания на удивленные лица прохожих, летел, не замечая, как преображается весной небольшой позеленевший городок. Вот калитка.

Постучать? Нарушить покой? Андреев поднял сжатую в кулак руку. Сейчас раздастся первый стук. Что он принесет? Может быть,

новые сомнения, терзания? Рука медленно опустилась. А вдруг вернулся Николай?.. А вдруг Валя выехала и ему откроет совсем незнакомое заспанное, сердитое лицо?.. Но все-таки он стучит. Тишина. Он стучит чуть громче и настойчивее. Прислушивается, затаив дыхание. Показалось, будто скрипнула в глубине дверь, и снова наступила тишина. Нет, кто-то идет. Андреев ясно слышит человеческое сонное бормотание. Кто-то тяжело ступает по скрипучему полу. Звякает запор, и с легким, знакомым ему писком открывается дверь. Да, Андреев не ошибся. Вали нет, вместо нее живет какой-то инвалид на костылях.

Сначала показался край нового костыля, а потом к оторопевшему, готовому извиниться Андрееву приблизилось знакомое-знакомое до боли лицо. Столетьем тянулась пауза. Где и когда он видел этого человека? Откуда у него такие темные, как ламповая копоть, глаза?

— Валя!

Валя дико рванулась вперед, но потом что-то вспомнила и отпрянула, костыль неуверенно покачался и упал, оглашая квартиру грохотом. Андреев протянул руки, и Гордеева оперлась на них.

— ...Я вам верю, Андреев,— говорила Валя, глядя, как в открытом окне одна за другой вспыхивают на чистом небе звезды.— Но вы меня простите, я теперь немного не такая стала, во мне появилось недоверие к людям. Нет, конечно, не ко всем, но к некоторым. Мне кажется, что у нас есть еще низкие, себялюбивые людишки. Они вместе со всеми идут в учреждения, на фабрику, на завод, они, как и все, отрабатывают установленные законом часы, иногда выступают на собраниях, ругают бюрократов, зазнаек, а сами, между тем, порой не замечая этого, бывают и бюрократами и зазнайками и, больше того, ворами и просто подлецами. Им, например, ничего не

стоит обидеть жену фронтовика, выписать неправильно наряд, «урвать», как у нас говорят, копейку с государства. Я сейчас Горького читаю. «Фома Гордеев». Слышали? Там Маякин, купец, говорит: подходя к человеку, держи в одной руке мед, а в другой нож.

Андреев заметил, как все чаще поднимается ее грудь, как глаза тупее и тупее вглядываются в сумерки.

— А я, Андреев, как вы помните, подошла к вам, держа в обеих руках мед.

Ей было трудно говорить. Она отстранила костыль и села на подоконник. Андреев молчал. Да он, собственно говоря, и не знал, что еще можно сказать ей, чем доказать всю нелепость происшедшего.

— Вы, Андреев, выпили мед, и вот...

— Нет! — крикнул он. Ему показалось, что он не в комнате и не его, андреевская, судьба вершится сейчас, а здесь поле брани, от его решающего слова зависит судьба вверенных ему полтысячи человек.— Это не я, понимаете, Валя, не я наградил вас костылями.— Он подбежал к ней и, еще не зная будущего, опустился на колени. Андреев целовал тонкий батист платья, теплые ноги, прижимался горячим лицом к немым деревяшкам костыля, слепо ловил повисшие плетью Валины руки и целовал их. Целовал бесконечно долго, словно они были источником жизни.

Несколько раз он поднимал огорченное лицо. Ему хотелось только встретить ее глаза. Большие, когда-то манящие, обещающие. Пусть они теперь не такие. Ему этого не надо. Андреев хотел видеть только их блеск. Но Валя, откинув голову, казалась безжизненной мумией.

— Простите, Валя. Я ничего не хочу от вас. Только одного слова,— шептал Андреев, глотая комок в горле. Он снова уткнулся лицом в батист.— Мне все время казалось, что я принес вам несчастье. Я писал вам, но письмо возвратилось... Простите меня за то, что я ос-

тановился на полпути, не разыскал вас там, в госпитале... Но все эти месяцы я любил только вас, только вас.

Может, час или больше сидел Андреев, не думая ни о чем, ожидая одного слова. Наконец он ощутил прикосновение ее руки. Она нежно гладила его рассыпавшиеся волосы. Ему хотелось схватить эту руку и снова целовать, но он побоялся испугать ее и не дождаться ответа.

— Андреев,— она нагнулась, и ее голос звучал около самого уха.— Андреев, я верю вам. Вы не виновны в моем несчастье. Мне только больно, что все произошло так...

Валя как будто сбросила с себя непосильный груз. Теперь ей стало легко. Она отстранила его голову и, взяв костыль, направилась к двери.

— Вот так, я сказала вам все.

Она включила свет, положила на диван одеяло, потом подумала немного и принесла пуховую подушку.

— Ложитесь здесь,— негромко сказала Валя, и голос ее показался Андрееву бесконечно добрым, таким, как будто между ними ничего не произошло, а если и произошло, то только очень хорошее.

И Андреев понял — Валя простила. Но этого теперь показалось мало. Ему нужно было большего — Валиной любви. Любви, которая сберегала его на фронте, в бескрайних заснеженных полях, любви, ради которой он приехал. А она была. Валина любовь была. По крайней мере, полгода назад. Тогда она предстала перед ним доброй, доверчивой, ласковой. Так почему же та самая любовь сейчас прячется, не верит Андрееву. Почему женщина, хранящая ее, из-за снисходительности к постороннему человеку, а не ради встречи, оставляет его ночевать у себя? Почему?

Потому, что Валя потеряла веру в него, Андреева, любимого человека.

— Вы, Андреев, потушите свет, а то всякая

мошкара налетит,— тоном хозяйки сказала Валя, скрываясь за ширмой.

Андреев исполнил распоряжение и, не раздеваясь, лег. Закрыв глаза, он почувствовал, что куда-то проваливается.

— Андреев, вы не спите? — спросила она.

— Нет, а что? — приподнялся на локте Андреев.

— Я хотела поделиться с вами новостью. У меня с Колей началась переписка, а вчера получила телеграмму — скоро, может быть, даже завтра будет дома. Оказывается, вы были правы. Николай воюет в армии. Мне почему-то все время кажется, что вы чуть ли не рядом воюете. Он сейчас начальник боепитания батареи. Орден получил. Может быть, вы слышали фамилию? Тупикин. Андреев? — позвала озабоченно Валя.— Почему вы молчите? Вы же не спите... Вы помните наш разговор о нем в ту ночь?..

Андреев молча встал и пошел к вешалке...

На улице было прохладно. Весенний воздух свежей струей спешил влиться в легкие каждого, кто хотел жить. Бессчетное множество блестящих звезд осыпало черное, как плодородный чернозем, небо.

Андреев шел к Николаю. Дума в голове была одна. Уехать, уехать сегодня же.

Раньше, обычно после второй рюмки водки, у него начиналось головокружение, а теперь он пил четвертую, и голова оставалась по-прежнему светлой, глаза глядели строго и трезво, он не улыбался каждому пустяку.

Когда в комнате смешался солнечный, пока еще бледный, свет с электрическим, Андреев попрощался с Николаем и, взяв на этот раз неимоверно тяжелый чемодан, пошел на станцию.

* * *

...Тупикин выбрасывал из чемодана все новые и новые платья и туфли. Шелка, крепы, легко шурша, растекались, словно вода, по

недавно вымытому полу. Туфли громко стучали о доски.

Валя, опираясь на костыль, безучастными глазами глядела на голубые, розовые, ярко-зеленые куски материи и красные жилистые руки мужа. Когда чемодан оказался пустым, Николай вскочил и, сжав кулаки, подбежал к жене.

— Одевай все. Будь еще привлекательнее. Нравься офицерам. Молчишь.

Его немолодое, но еще свежее лицо, налитое кровью, покрывали белые пятна. Глаза озверело глядели на костыль.

— Обрадовалась, что муж погиб,— кричал Николай.— Дура! Я не погиб, я живой. Ты видишь, живой и невредимый, а ты,— он презрительно сощурил глаза,— а ты калека и проститутка... Мне рассказали, как ты вела себя здесь. Днем один, вечером другой...

Вале показалось, что ее кто-то бьет по лицу. Она отшатнулась.

— Не смей! — крикнула Валя, защищая лицо рукой.— Ты не имеешь никакого права меня оскорблять. Хам. Уйди отсюда. Уйди сейчас же. Я тебя ненавижу. Теперь я тебя до конца поняла. Ты любил не меня, а вот эти тряпки. Ты и меня избрал только потому, что я в тот вечер охраняла банковские деньги. Я до сих пор никому ничего не говорила о том, что ты бежал, захватив с собой семь тысяч казенных денег. В отряде думают, что эту сумму мы потеряли, когда уходили от карателей. Но я-то знаю...

— Врешь, врешь! — зарычал Тупикин, приближаясь к ней.

— Я позову сейчас соседей.

— Соседей?! — вскипел Николай.— Тебе понадобились соседи, а когда ты тут принимала офицеров, соседи были ни при чем. Нет,— злорадствовал Тупикин, засовывая руки в карманы галифе,— так просто я не покину этот дом. Я по крайней мере буду доволен теперь тем, что набью тебе морду.

Валя отступила к столу и, схватив тяжелую бронзовую чернильницу, тихо сказала:

— Уйди. Честью прошу, уйди.

Николай попятился, но тут же, овладев собой, уже более спокойно произнес:

— Ну, хорошо, я, конечно, уйду. Было бы бессмысленно после всего оставаться здесь, но давай поговорим на прощанье.

— Мне не о чем говорить с тобой.

Но Николай, не обращая на нее внимания, сел на порожний чемодан.

— Мне больно, Валя,— сказал он тихо.— Я ведь тебя любил. Я там на фронте жил только для тебя. А ты... Ты не смогла оценить меня.— Николай нагнул лысеющую голову и, немного помолчав, так же тихо продолжал: — Все это, что я привез... Ты не знаешь, как оно мне досталось. Дорого, очень дорого. Порой я рисковал отдать богу душу, но все-таки брал, не брал, а честнее — воровал. Для кого? Для тебя. А ты... Ну, что ты? Женщина, которая потеряла все на свете.

— А именно? — спросила Валя, ставя чернильницу на место.

— Мужа, совесть и честь...

— Честь,— усмехнулась Валя,— не понимаю, как может говорить о чести человек, который не имеет представления о ней. Мне это напоминает Пушкина. Может, помнишь, художник и сапожник?

— Нет, не помню. И ты, пожалуйста, сейчас не говори всяких глупостей, не раздражай меня.— Николай встал.— Очень жаль, что меня не свела судьба с этим молодчиком. Уж кому-кому, а ему, наверное бы, досталось.— Он остановился против Вали: — А ты по-прежнему хороша, костыли тебя немного портят.— Тупикин опустился на кучу привезенного шелка.— Ах, Валька, Валька, какая же ты дура... Деньги, тряпки — все это для тебя, ради тебя.

Гордеева увидела, как его большие рыжие ресницы часто захлопали и губы начали вытягиваться. Тупикин рукавом смахнул слезу.

Вдруг он вскочил и, подбежав к Вале, сильно обнял ее.

— Валя, Валенька.— Горячие губы обожгли ее лицо.— Валентина, милая, зачем, зачем все это? — шептал Тупикин.— Лучше бы написала сразу, легче, ей-богу, легче. Куда ты теперь годна с этими палками?

Валя одной рукой слабо обнимала шею мужа.

— Коля, ты не расстраивайся за меня. Я проживу. А что у нас с тобой так получилось — значит, судьба...

— Судьба? — откинул устало голову Тупикин.— Судьба, говоришь? Нет, врешь. Почему другие годами ждут?

— Потому что верят и любят,— равнодушно ответила Валя.

— А ты, выходит, не верила. Думала — подох. А я назло тебе жив. И буду жить. Но не с тобой. Я найду себе достойную пару, а ты, ты меня извини, оставайся здесь и живи, как тебе хочется.

Он аккуратно сложил все вещи в чемодан и, одевшись, подошел к столу.

— Фото свое возьму. Не хочу, чтобы ты глядела на мою физиономию.

— Конечно, возьми,— согласилась Валя.— Она мне не нужна.

* * *

— Скоро вы нагостились, Андреев,—встретил сошедшего с попутной машины офицера начальник штаба Абакумов.

— Здравствуйте, товарищ подполковник,— сказал Андреев, приятно удивленный второй звездочкой на погонах Абакумова, и, чтобы не дожидаться вопросов, быстро заговорил: — Да скоро. Нет охоты отдыхать, когда такие дела затеваются.

— Какие дела? — спросил Абакумов.

— Наступать скоро будем.

— Это одно,— согласился подполковник,— Орденом вас наградили... Как, довольны?

— Так точно, доволен.

Они ушли к штабу полка.

— Андреев, а как у вас с той девушкой? — спросил Абакумов, останавливаясь перед дверью.

— Плохо,— честно признался Андреев.— Она меня выгнала.

— Может, после войны все-таки сойдетесь,— сочувственно произнес подполковник. И, помолчав, добавил: — А у нас несчастье. Вчера похоронили Сковороду...

— Ваню? Как же...

— Ходили на операцию и его принесли.

Они вошли к командиру полка.

— Разрешите доложить, товарищ полковник?

— Доложите,— разрешил, обрадованный возвращением молодого офицера, командир полка.

— Старший лейтенант Андреев прибыл из отпуска.

— Очень рад. Садитесь, Андреев.

Немного помолчали. Оглядели друг друга, улыбнулись одновременно.

— Вот, Федор Николаевич, а мы думали, кого послать. На ловца и зверь бежит. Верно?

— Безусловно,— согласился начальник штаба.

— Сегодня, Андреев, вами я больше чем доволен. Вы прибыли очень кстати. Я всегда верил в вас. Но это дело добровольное.— Лицо полковника вдруг утратило признаки веселости. Небольшие с проседью усы слегка зашевелились, дуги бровей сомкнулись, глаза глядели в настороженное лицо старшего лейтенанта.

Абакумов кивнул полковнику, и тот торопливо открыл сейф.

— Орден ваш... Чуть не забыл...— Он встал и, протянув Андрееву коробочку, тише обычного сказал.— От души поздравляю...

Абакумов, привинтив новую награду на китель, погладил рукой плечо Андреева.

Растроганный офицер сначала ни с того ни с сего начал кланяться и говорить «спасибо», но скоро, овладев собой, отчеканил:

— Служу Советскому Союзу!

— Да,— после недолгой паузы раздумчиво произнес полковник,— мне, Андреев, трудно расставаться с вами, но я еще раз повторяю, что операция, которую я вам сейчас предложу,— дело добровольное. Скажите, Андреев, вы готовы выполнить любой приказ командования?

Андреев не ответил. Ему было совершенно ясно, что задание, которое предстоит выполнить, трудное и очевидно (при одной мысли вздрогнул) требующее огромной цены, иначе полковник не говорил бы в таком тоне.

— Может быть, вы подумаете? — спросил Абакумов.

— Да, это лучше,— подтвердил полковник.— Идите, а к десяти дайте ответ.

Андреев не шевельнулся.

— Вы слышали, Андреев?

— Да, я все слышал. Один вопрос. Это та операция, откуда не вернулся лейтенант Сковорода?

Полковник медленно опустил голову.

— Я готов,— вытянулся Андреев.

...Далеко позади остался передний край. Они уже давно миновали первый эшелон немцев. Казалось, что у сегодняшней ночи не будет конца. Мелкий, колючий, как патефонные иголки, дождь бил прямо в лицо. Ему тоже, казалось, не будет конца. От сплошной черноты мокрой ночи с каждым движением вперед на душе откладывалось какое-то неприятное ощущение. Чего-то пройденного, но, как думалось людям, не совсем удачного прошлого, а может быть, так себя чувствовал только Андреев. Он приостановился на мгновение и повернулся к ползшему за ним Мамаеву.

— Как самочувствие? — шепнул Андреев.

— Честно? Неважное,— сознался ординарец.— Плохо человеку, когда он еще жив, а знает, что скоро умирать. Все ему кажется, что не так жил, не так работал, любил не так. Жизнь, она, Андрей Ильич, по-моему, не того хочет, когда выпускает на свет божий новорожденного. Это, может, моя философия. Но, по-моему, именно так решает жизнь. Я вот сейчас ползу за вами и все думаю: ему уже за двадцать, он офицер, командует целым батальоном, а чего-то не так живет, что-то мешает ему жить так, как надо.

— Это как же надо? — спросил строго Андреев, отползая во тьму.

— А надо по-иному. Если ты воюешь, то и воюй, а любовь, да еще хуже, влюбленность тыловикам оставь...

— Глупость это,— вмешалась в рассуждения ординарца ползущая за ними связистка Лида Мокрова.— Один казахский мудрец сказал: «Любовь твой спутник, без любви ты не человек».

— «Мудрец»,— передразнил ее Мамаев.— Он мудрецом в свой темный век слыл, а ты его в нашу эпоху пихаешь.

— Тише,— предостерегающе прошипел Андреев. Сквозь нудный шорох дождевых капель он расслышал тихое, убаюкивающее пение воды. Где-то совсем близко протекала река. Андреев взглянул на светящийся циферблат часов. Скоро четыре. Значит, они у цели. Шестеро мокрых, угрюмых, почти злых людей, вздрагивая больше от нетерпения, чем от холода, замерли у прибрежных кустов.

— Та-та-та,— точно патефонные иголки, сыпался дождь на поверхность воды.

— Буль-буль-буль,— откликалась река.

— Кто? — спросил Андреев, не поворачивая головы. Пятеро упрямо молчали.

— Никого? — тем же тоном переспросил он. Снова молчание.

— Мамай?

— Есть, товарищ...

— Не надо. Я не о том. Вот мы с тобой, наверно, последние минуты видимся, и с каждым... Ты верно давеча говорил. Не все мы сделали, что могли. Ты многое правильно говорил, а главное, забыл, или вернее утаил. Почему? Почему ты жил и работал не так, как надо? Чего тебе в жизни не хватало? Я знаю, ты ответишь: детство, мол, серое, юность невеселая, а тут война. Только это не то. Детство у нас было лучше, чем у наших отцов, а они революцию совершили, они голод и холод, вшей и тиф победили. Теперь они говорят: мы отдали стране все, что могли, настала ваша очередь. Скажи, как, по-твоему: Матросов, мальчишка, беспризорник, все сделал и умер с чистой совестью?

— Матросов? Да, все,— твердо согласился ординарец.

— Верно. А мы не все,— Андреев перевел дух,— ты понимаешь, для чего я тебе все это говорю?

— Понял, Андрей Ильич. Я готов.

— Ни черта ты не понял,— вспылил Андреев.— Я сам пойду, а говорил тебе на будущее.

— До будущего еще дожить надо,— философски заметил Мамаев,— а сейчас самое время мне идти.

— Ну, тебе виднее,— не стал спорить Андреев.

Мамаев нащупал руку командира и сказал:

— В случае чего, Андрей Ильич, отпишите моим родителям, что я недаром хлеб ел.

Андреева кто-то осторожно тронул за рукав.

— Товарищ командир, вы меня простите,— робко говорил совсем молодой, месяц назад прибывший в батальон рядовой Васько.

— Что тебе? — повернулся к нему Андреев.

— Вы спрашиваете: «Кто?» Мы молчим. Страшно было, а теперь я понял. Пощупал в кармане комсомольский билет и понял, что я должен был первым ответить вам... Разрешите мне с Мамаевым?

— Иди,— сказал Андреев, сжимая его ру-

ку.— Только ты вниз иди. А то вдруг мы ошиблись.

— Есть,— коротко ответил Васько и бесшумно пополз к воде. С берега потянуло холодом. За спиной, в степи, медленно начал расплываться весенний рассвет. Вернулся Мамаев.

— Метрах в ста зенитки, пулеметы. По мосту все время ходят часовые. Только водой можно добраться. Вокруг мины, чуть не напоролся.

Остальные ближе придвинулись к ним. Андреев теперь различал их лица. Они смущенно отводили глаза в сторону.

— Не стыдитесь, товарищи,— ласково проговорил он,— всех бы я и не послал. Вот теперь главное. Решение мое такое. «Ученому и книгу в руки»,— говорится в пословице. Волжанину, значит, в воду, а остальным проверить автоматы, приготовить гранаты и туда.— Он протянул руку к мосту.— Держаться до взрыва, а потом — живы останетесь — отходите. Друг друга не ждать.

Как только Андреев спустился в воду, ему показалось, что кровь заледенела, но, значит, есть в человеке что-то сильнее сердца, потому что он, Андреев, двинулся вперед, бесшумно разрезая холодную воду.

Рука со шнуром и аммоналом ныла, наступали минуты, когда ему казалось, что он не доплывет и операция провалится. Он опускал возбужденное лицо в воду, и мысль, живая, здоровая, возвращалась.

Первый выстрел раздался в то время, когда Андреев ясно различал на сером фоне предрассвета темные балки и сваи длинного и высокого моста.

Выстрел как будто подтолкнул его, и, напрягая последние силы, он онемевшими пальцами свободной руки мертво вцепился в изуродованную поверхность бутового камня. А на берегу в беспорядочную трескотню автоматов вмешались гранаты. Нападение русских в та-

ком тылу было для врага большой неожиданностью. Андреев, задыхаясь и давясь, глотал воду. От первого быка он резким толчком ноги достиг второго. Отсюда ясно вырисовывалась серая черта берега. Прямо из земли тянулись вверх металлические сваи, над головой, угрожающе вздрагивая от взрывов, повисли многотонные башмаки. То, что среди немцев началась паника, Андрееву было совершенно очевидно. Около самого въезда на мост ровными штабелями лежали ящики с боеприпасами, искусно замаскированные от налета авиации.

Стрельба усиливалась. Иногда до ушей Андреева доносился резкий крик команды или приказа. Груз тянул его назад, но он упорно лез наверх, цепляясь за сваи, обжигающие руки.

«Лишь бы не заметили, лишь бы не заметили»,— непрерывно билась мысль. Под ногами блеснули лучи солнца. Андреев на животе добрался до досок настила. Укладка шашек аммонала и бикфордова шнура была закончена в секунды. И теперь, когда надо было немедленно спускаться, он почувствовал, что силы иссякли.

Немцы, очевидно, поняли, что против них дерется малочисленный отряд, не преследующий цели проникнуть на мост. Это было ясно по утихающей стрельбе, по тому, что часовые на мосту суетливо забегали, заглядывая через перила вниз. Вода по-прежнему спокойно отражала прыгающие ленты солнечных лучей.

Андреев сделал усилие подтянуться, но руки не смогли удержаться, и он камнем упал в реку.

Всплеск воды приковал внимание находившихся на мосту немцев. Еще не видя упавшего, они открыли бешеную стрельбу.

Взрыв произошел в то время, когда Андреев, отнесенный течением метров на двадцать, показался на поверхности. Какой-то металлический обрубок с воем упал около него, дру-

гой, меньших размеров, ударил его по голове. Красная кровяная вода залила Андрееву глаза, он, теряя сознание, опускался на дно.

«Так приходит конец»,— мелькнула мысль. Но в это время черные, ламповой копоти глаза приблизились к нему, а кто-то очень просительно окликнул его: «Андрюша, найди в себе силы...»

И он, почувствовав под ногами дно, резко оттолкнулся. Потом еще и еще, пока голова не легла на сырой песок отмели.

* * *

У самой калитки ее встретила полногрудая русоволосая женщина.

— Вам кого? — приятным голосом спросила она.

Гордеева смущенно улыбнулась. Она хотела что-то ответить, но вдруг легко и безразлично махнула рукой.

— Вы что, ищете кого? — допытывалась женщина.

— Да, ищу,— подтвердила Валя.

— Теперь многие ищут,— посочувствовала женщина.— Не нашли?

— Нет. Дайте воды, пить хочется,— попросила Валя, стараясь избавиться от смущения. Сквозь открытую калитку ей был виден уголок молодого сада. Маленькая кудрявая девочка, о чем-то болтая, держала такую же маленькую вишневую ветку. Мужчина в военной форме, делая широкие взмахи руками, бросал в лунку землю. Иногда он не попадал в цель, и девочка, обиженно надувая розовые яркие губки, сердито кричала:

— Опять! Я вот брошу.

Мужчина говорил ей что-то, но так тихо, что Валя, не могла разобрать не только слов, она даже не слышала его голоса.

— «Извините»,— передразнила его девочка,— последний раз, и потом брошу. Все чувяки запачкал.

Женщина вынесла воду и, подавая кружку Гордеевой, заметила ее напряженный взгляд.

— Целый день вместе работают и целый день ссорятся.

— А почему он так странно кидает землю? — спросила Валя, возвращая кружку.

— Слепой,— спокойно, будто всю жизнь провела среди незрячих, ответила женщина.— На войне ослеп. Это сейчас не самое главное. Главное, что жив, а то другие совсем...— добавила женщина, слегка покраснев.

— Давно он ослеп? — не скрывая тревоги, спросила Валя.

— Нет, прошлой весной.

— Весной,— вздрогнула Гордеева,— в мае?

— Да.

— Катя, с кем ты там разговариваешь? — крикнул мужчина, поворачивая к ним лицо.

— С прохожей, Андрюша.

...Белые, будто театральные, хлопья ваты повалили с неба. Снег, снег... На площади звенит оркестр, полк идет дальше. На белом жеребце едет Андреев. Вот оно, то же самое лицо. Оно совсем не изменилось. Именно его искала Валя эти месяцы, жила с ним, сидела в переполненном вагоне, подходила к справочному бюро, писала письма своим знакомым и друзьям, даже в этот город она приехала с ним. Широкие карие глаза напряженно вглядываются в нее, но кроме привычного мрака ничего не видят. А может, видят. А может, видят. Ну, конечно! Он сделал шаг к ней! Валя хотела оттолкнуть эту чужую, отделяющую от нее Андреева женщину, но что-то удержало ее в немом оцепенении.

— Она своих ищет,— объяснила, не повышая голоса, молодая хозяйка.

— Ничего, найдет,— улыбнулся задорно слепой.— Немцы вот сад у нас сожгли, а мы назло им лучше прежнего рассадим. Главное — жить!

Валя слышала сейчас другой, похожий на этот, голос в своей комнате зимой прошлого

года: «Я люблю жить. Жить, не просто поедая хлеб насущный...» Как давно это было!

— Да вы не плачьте,— успокаивала ее незнакомка,— не плачьте. Найдете.

Гордеева молча вытерла незаметно появившиеся слезы.

— Да, теперь мне не надо плакать,— громко сказала она.

Слепой остановился. Он выше поднял голову. Ясно — он что-то уловил, он прислушивается. Значит, Андреев помнит ее голос, помнит все, что разделено месяцами их разлуки.

— Погодите,— шагнув ближе, попросил ее слепой.— Скажите, как вас зовут?

И, прежде чем он успел сделать еще шаг, она покорно прильнула к его горячему лицу.

— Наконец-то ты пришла,— шептал счастливый Андреев.— Я верил. Раз письма не возвращались, значит, ты была на месте.

Валя нежно гладила его волосы. Слезы мешали ей говорить. Она чувствовала на своих плечах его сильные, дорогие руки. Что ему теперь сказать?

Женщина тихо ушла в дом. Девочка серьезно наблюдала за тем, как мамин брат прижимает к своей груди совсем чужую тетю. Она осторожно подошла к ним и дотронулась до Андреева. Он быстро поднял девочку и, улыбаясь (он раньше никогда так не улыбался), сказал:

— Вот это та самая тетя Валя, о которой я тебе говорил. Валя, почему ты молчишь?

— Она не молчит, а плачет,— ответила за Гордееву девочка и, легко соскользнув с рук Андреева, убежала в дом.

— Вытерла слезы? — спросил Андреев и, уловив ее кивок, сказал: — А теперь послушай, что я тебе скажу...

— Позже, а сейчас давай посидим, послушаем тишину,— сказала Валя, опускаясь на штабель соснового теса.

1947 г.

РАССКАЗЫ

ДВЕ ВСТРЕЧИ

1

Бежала долго. Ноги едва касались земли. Сердце билось в бешеном ритме. Задыхалась, хватая ртом раскаленный июлем воздух. Остановилась, когда пальцы вцепились в молоденький тополь. Горячим лбом прижалась к светлой коре, потом впервые оглянулась. На дороге никого не было.

А когда поняла, что опасность миновала, задрожала и обессиленно опустилась на траву. Сколько пролежала, не помнит. Поднялась. Глянула туда, откуда прибежала. Горизонт красный. Воронье крыло дыма отлетало к займищу: горел хутор. Ее хутор, дом, сад, ферма... Все жгут, растаскивают, топчут фашисты.

Теперь не по книжкам и одноактным пьесам своего клуба знает она их лицо. Наглое, откормленное, страшное...

Если бы вчера послушалась председателя, ушла с гуртом за Дон, может, и не довелось встретиться вот так, лицом к лицу, не пришлось бы бежать от черной точки автоматного дула, ожидая каждую секунду пули в спину. Почему он не погнался за ней? Было не до нее?

Фашист бросился в коровник, но там было пусто. Разъяренный, совал горящий факел в плотную солому крыши.

В это время она была уже далеко, за пригорком. Справа и слева взлетали к небу сно-

пы искр, уши болели от автоматной трескотни. И сейчас в них еще стоит эхо выстрелов. Может, не эхо? Чего им стоит прибежать сюда.

Уехала с Алешей на Урал, не видела бы и не слышала ничего. Не уехала. Осталась. Пожалела мать. А теперь?

Впервые за весь день слезы не удержались на ресницах и покатились по щекам.

Смахивая их, побрела в глубь леса.

2

Трое, тяжело дыша, остановились. Повернулись к хутору, стерли пот с лица. Хутор все еще дымился, тарахтел автоматными очередями. И это пугало.

— Давай глубже в лес,— скомандовал самый высокий, широкоскулый, голубоглазый Родион.

— Может, к партизанам,— нерешительно добавил светловолосый, курносый Илья.

— Ты, Илья, чудак,— отозвался третий, совсем юный, низкорослый, тщедушный Иван.— Партизан искать... Не примут. Они всех своих в райкоме отобрали.

Помолчали. Покосились на дорогу. Самый высокий сплюнул и зашагал из прилеска.

Вошли в чащу: мертвая, надежная тишина охватила их. Остановились. Родион, подражая взрослым, выругался:

— Мать твою перемать, пропал хутор. Сожгли, сволочи.

— Может, все не сожгут,— неуверенно проговорил Илья.— Ведь шестьдесят дворов...

— «Не сожгут»,— передразнил Родион. Он у них был за старшего и по возрасту, и по трудовому стажу, и по житейскому опыту. Авторитет.— Будто сам не видал. Нет, Илья, фашист — он как волк, даже хуже, лютее. Волк задрал овцу — и спрятался. А этот почти всю Европу проглотил да нас теперь слопать хочет. Но попомните мое слово — подавится. Мы им не какая-нибудь там Австрия.

У нас есть чем.— Он сжал свой огромный кулак.

— Верно, Родя,— согласился Иван,— чтоб подавился, нам нужно достать оружие.

— А вдруг наши еще выгонят их,— неуверенно произнес Илья.

Двое промолчали. Напряженно послушали. Тихо. Родион достал портсигар, протянул приятелям. Отводя душу, задымили.

Думали об одном: куда теперь? Что в займище должны быть партизаны, не сомневались. Куда же, если не в партизаны, уехали прошлой ночью секретарь парткома колхоза Рожков с десятком старых казаков, куда исчезли все активисты? И зачем им понадобились охотничьи ружья, осоавиахимовская мелкокалиберка и дробовик сторожа сельповского магазина.

А вот их не взяли с собой, считают малолетками, хотя самому младшему — Ивану — пошел уже шестнадцатый, а Родион еще в позапрошлом году получил паспорт, когда в ремесленном учился.

«Как в поле — так «наша надежда»,— сердито думал Родион, вспоминая свой разговор с Рожковым,— а как в партизаны, так пацаны. Ладно, разыщем, небось, не прогонят».

То, что разыщут, Родион не сомневался. Места вдоль и поперек знакомые. Особенно ему. С отцом сколько верст исхожено в поисках зайца, лисы, волка, куропатки, дударей...

— Ну, айда,— скомандовал Родион, вдавливая окурок каблуком в землю.— Не примут — свой создадим.

Двое тоже погасили папиросы, подтянулись, бодрее двинулись за старшим.

3

Где-то совсем близко треснула сухая ветка.
Насторожилась. Напряглась. Ждет беду.
Ясно слышатся шаги.

Прижалась к траве. Пожалела, что не может сейчас вот так, как былинка, качаться на ветру. Снова дрожь охватила тело. Снова во рту пересохло. Горло кто-то давит железным обручем.

Шаги совсем близко. Вот и голоса. Не лающие. Родные, русские.

Подняла голову. Замерла. От радости, от счастья перехватило дыханье. Угадала. Всех троих. Вскочила. Крикнула:

— Родя!

Трое быстро оглянулись. Разглядели. Заулыбались.

— Наташа! Спряталась?

— Испугалась?

— Видела фашистов?

Торопясь, комкая и глотая слова, пополам со слезами, рассказывала, как вырвалась из хутора, как бежал за ней немец с автоматом.

От рассказа, от всхлипываний в лесу стало жутко, опасно.

— Брось реветь! — потребовал Родион.— Лучше думай, куда денешься?

— С вами,— вскинула на троих испуганные глаза Наташа.

— Не по пути нам,— сказал Иван.— Ты ж девчонка. Война — не твое дело, а наше.

Наташа торопливо проглотила слезы, крепко вцепилась в руку скуластого Родиона, горячо зашептала:

— Не бросайте меня. Пропаду. Домой не пойду. Умереть легче, чем туда возвращаться. Возьмите с собой.

Парни поскребли затылки, переглянулись.

— Взять придется,— размышлял Родион.— Раз ее приметили — обратного пути ей нет.

— Взять-то взять,— нерешительно сказал Илья.— Да что мы с ней делать будем?

Она глядела на них не по-девичьи сурово. Над прямым носом сошлись почти вплотную широкие темные брови.

— Я вам пригожусь. Обед буду варить, рубашки стирать.

— Не обеды надо варить, а немцев бить,— пробасил за всех Родион.

— Винтовку дадите, фашистов бить стану.

— Дадите, — усмехнулся тщедушный Иван.— Словно они у нас за пазухой. Самим бы хоть одну на троих. Мы б тогда показали гадам.

— Сама достану,— жестко сказала Наташа, и в глазах ее сверкнул злой огонек.

Парни оглядели девушку с ног до головы, Крепкая, кость широкая — мужская. Грудь, обтянутая кофтой, рвется на волю. Пряди русых волос выбились из-под косынки, упали на гладкий лоб. Хоть и давно знали ее, но сейчас будто впервые увидели. И такая она понравилась им больше, чем прежде. Поверили, что вместе с ними вынесет все и будет в отряде нужной.

И тогда Родион за всех ломающимся баском решил:

— Ладно, айда с нами.

А Илья как-то странно, Наташе показалось, откровенно поглядел на расстегнутый ворот кофточки и добавил:

— Только красоту свою прячь подальше...

Яркий румянец вспыхнул на щеках. Сердце стучало, губы смеялись. Смуглой рукой прикрыла вырез:

— Спасибо, ребята.

4

Вечер, ночь, утро бродит четверка по займищу. Ищет партизан, которых увел Рожков. Все заветные тропы, балки, глухомани обшарили — нет. А ведь знают, где-то близко отряд.

Набрели в полдень на избушку егеря. Давно тут никто не живет. Но на полке за трубой нашли банку с пшеном, коробку из-под чая с солью, под загнеткой — котелок. Забрали все, ушли на поляну, в терновник, разложили костер.

Крепко спят в тени трое загорелых, усталых,

злых парней. Дрожат золотые лучи на серебряных листьях кустарника. Щелкает, греясь на солнце, птица. Тонкой змейкой вьется едкий дымок костра. Варится каша в котелке. Бурлит, пенится серая вода. Неторопливо мешает Наташа еду, неторопливо плывут над лесом жиденькие облака, неторопливо ворочаются мысли в голове девушки. Берет ее сомнение: правильно ли поступила, что не вернулась к матери, а пошла с парнями партизан искать? Другие-то не побежали. Взять хотя бы Ольгу Долгову — комсомолку, или Шуру Ветютневу — избача. На язык обе такие бойкие. А вот не побежали от фашистов. Одна она перепугалась. Может быть, тот немец и не убил бы ее? Теперь вот сиди и думай, что там дома с матерью. Нет, видно, и впрямь не девичье это дело партизан искать, с парнями по лесу шастать. Да были бы парни как парни, как те, что в армию ушли, или как Алексей, а то так — мелюзга. И тоже туда же, куда и большие: цигарки, выражения всякие...

Булькает жидкая кашица, идет пар из котелка. Готов обед. Разбудила ребят. Заспанные, взлохмаченные, сели в кружок, дружно заработали ложками-самоделками.

После обеда закурили. Глотают жадно дым и думают. А Наташа взяла котелок и пошла к ручью.

Родион, Илья, Иван молча думают. Об одном и том же: где партизаны, как разыскать их?

Легли. Закрыли глаза, грызут сухие веточки. Вдруг из какого-то сказочного далека донесся писк паровоза. Родион отбросил ветку, приподнялся.

— Ребята, надо на станцию податься. Там у меня есть верный человек. Он все знает. Он скажет...

Приподнялся сияющий Иван.

— Верно, Родя. Как это мы раньше не допетрили.

— Нам туда вряд ли можно,— неуверенно

протянул Илья.— Там ведь немцы. В момент сцапают.

Родион встал, глянул на товарищей.

— Вот лопухи. Нам, понятно, туда носа совать нельзя. Я не про вас, про Наташку! Ей нечего бояться. Придет, узнает — и обратно.

— Здорово придумал! — одобрил Иван.

Вернулась Наташа. Она слышала их разговор.

— Значит, на станцию пойду я?

Родион широко улыбнулся:

— Ты. Кому ж еще. Нас сразу цап-царап — и в фатерланд.

— Молодцы. Хорошо придумали,— обиженно зазвенел ее голос.— Сами в кустах будете отсиживаться, а мне пропадать.

— Зачем пропадать? — пробасил Родион. В его голосе девушка уловила суровую нотку.— Зачем тогда пошла с нами?

Наташа отошла от парней. Не хотела слушать их упреков. Изредка взглядывала на хмурые лица. Долго думала, взвешивала все. Вспомнила хутор — мурашки побежали по спине. Наконец решила: правы они, им на станции нельзя показываться, а на нее кто обратит внимание? Разве только встретит того немца. Ладно, была не была.

Поправила прядку волос, аккуратно заправила кофточку, одернула юбку, подошла к Родиону.

— Рассказывай, куда идти?

— Вместе пойдем,— пробасил Родион.— Скажем, из эвакуации домой возвращаемся.

— Не надо, Родя,— твердо произнесла девушка.— Вдруг на знакомых напоремся. Вы меня проводите и ждите в условленном месте. Если утром не вернусь — тогда уж решайте сами.

5

Вывели ее парни на разбитую колесами дорогу. Еще раз спросил Родион, все ли она запомнила. Ответила «да». Постояли, помолча-

ли. На прощанье Наташа каждого из них обняла и поцеловала, будто самых родных и близких.

Резко повернулась и широко зашагала в ту сторону, откуда изредка доносились паровозные гудки.

До станции добралась к закату. Разыскала нужный дом.

Старик Яков, с маковки до кадыка заросший сединой, с прокуренными желтыми усами, внимательно выслушал ее, почесал за ухом.

— Ишь чего надумали... В партизаны. Тебе сколько годков-то?

— Восемнадцатый.

— А им и того меньше. Ну какие вы воины? Горе с вами одно.

Старик задумался. Стал набивать трубку.

— Не нашли, стало быть. Вот печаль. А они ведь где-то здеся ходят. Вчерась возле Рогачей эшелон разбился. Теперь немцы эсэсовцев понагнали. Рыскают по всем домам. Дороги оцепили. Как это тебя не заметили? А может, и заметили, нароком пропустили. Теперь следят за тобой. Ты поосторожней будь, девка. Сегодня я тебе не скажу, где Рожков. Ушел он, а куда — пока не знаю. Сторожевать пойду, может, разузнаю, а утречком передам тебе весточку. Передам, если разрешат. Значит, кто там у вас?

Наташа снова рассказала о ребятах, о себе, о том, как фашисты грабили и жгли хутор, как она убежала в займище и встретила там троих. Старик снова слушал, не перебивая. Молча показал старухе на стол. Та собрала ужин.

— Ты сама-то чья?

— Павлова.

— У вас полхутора, почитай, Павловых.

— Евдокии Васильевны, птичницы, дочь.

Старик заулыбался.

— Это на тебе, выходит, мой племяш Алешка хотел жениться?

Наташа зарделась.

— Не успели свадьбу сыграть,— будто оправдываясь, проговорила.— На Урал его эвакуировали.

Старик почесал за ухом, странно улыбнулся и сказал:

— Дык приказ. Ну ладно, бери ложку, хлеб.

Поужинали. Старуха убрала со стола. Старик вытер пот с лица, начал набивать трубку. Кто-то резко застучал в дверь. Потом упала щеколда, и в комнату шагнул неразличимый в темноте человек.

Луч карманного фонаря пробежал по стене, по старику, старухе и уперся в испуганное молодое лицо. Наташа быстро отвернулась, но было поздно. Вошедший шагнул в глубину комнаты.

— Давай свет,— потребовал человек, без особого труда выговаривая русские слова.

Старуха достала с полки лампу, засветила ее и поставила на стол. Наташа увидела на черных петлицах немецкого мундира две извивающиеся белые полоски.

— Документ? — прозвенел его дребезжащий голос.

Просматривал справки комендатуры долго, внимательно.

— А юнгфрау? — спросил, возвратив бумаги.— Девушка?

— Это племянница наша,— засуетилась старуха.— Из хутора. Мать у ее помирает, пришла сказать.

— Мольшать! — приказал немец, разглядывая Наташу. Снова вспыхнул луч его фонарика: словно щупальцы прошлись сверху вниз.

Немец сел около Наташи. Достал пачку сигарет, закурил.

— Вы,— повернулся к хозяевам,— шнель! Пошли быстро, быстро! — Луч его фонарика скользнул по русской печке. Старики, покряхтывая, забрались на лежанку.

Немец положил длиннопалую руку на колено Наташи. Она, как ужаленная, шарахнулась

с лавки, прижалась к стене. А луч медленно блуждал по ее лицу, груди, по бедрам, ногам. Так продолжалось, пока эсэсовец не выкурил сигарету и не встал.

— Ты хорошая! — определил немец.— Но у тебя нет справка. Мы сейчас будем гулять в комендатуру.

Наташа похолодела от страха. Она сжалась и с ненавистью поглядела на врага.

— Она же с хутора, господин офицер,— начала умолять старуха, свесив ноги с печи.— Мать у ее умирает. Устала она. Оставьте ее. А утречком она к вам заявится.

— Мольшать! — завизжал офицер.— Печка прячься!

Он расстегнул кобуру. Наташа попятилась к двери. Эсэсовец схватил ее за руку.

— Отстань,— вырывалась девушка, но рука была точно зажата тисками, которые она видела в слесарной мастерской своего жениха.

— Но,— кидая яркий сноп света в лицо Наташи, сказал немец.— Когда офицер германской армии говорит девушке гулять, надо гулять!

— Не пойду! — зло крикнула Наташа.

Эсэсовец повернулся к печке:

— Вы все партизаны. В комендатур, марш!

Хозяйка запричитала, заохала:

— Окстись, господин хороший, какие мы партизаны?

Быстро спрыгнула с печки, подбежала к Наташе.

— Чего дрожишь, Наталья? По-хорошему он с тобой. Сходи, объясни, может, все обойдется.

— Не пойду! — отрезала Наташа.

— Все в комендатур! — доставая пистолет, кричал немец.

Старик оттащил девушку к печке, зашептал:

— Выходит, выследили тебя. Ты особенно не упирайся. Ступай уж, а так пропадем все.

Офицер выжидающе глядел на них. Конечно, он может поступить с ними, как ему забла-

горассудится, но разрядить пистолет никогда не поздно. Эта юная, красивая казачка сводит его с ума. На нее не надо кричать.

— Если фрау гуляет добровольно, скоро она дома,— вкрадчиво заговорил эсэсовец.— Потом я дам ей пропуск. Но?

Наташа, закусив губу, заправила кофту и, не глядя на хозяев, бросила:

— Прощайте.

Вернулась она за полночь. Молча прошла к лавке, хотела сесть, но ноги подкосились, и она тихо опустилась на пол.

Подошла хозяйка. Тронула рукой рассыпавшиеся по вздрагивающей спине волосы и, опустившись тут же, тихо заплакала. А Наташа, кусая окровавленные, вспухшие губы, безутешно по-женски рыдала.

6

Утром дед Яков вернулся молча. Задымил трубкой. Присел возле окна. Отвел глаза в сторону улицы и лишь потом рассказал накоротке, куда следует двигаться.

Запомнила Наташа его рассказ. Знала теперь, где отряд, как к нему пробраться, какой пароль назвать, чтоб за своих приняли.

Выслушав, стала торопливо собираться в обратный путь.

— Завтракать не будешь? — спросил старик, не глядя ей в лицо: стыдно было за вчерашнее. Яков считал, что часть вины за случившееся несет он, так как уговаривал Наташу идти в комендатуру.

Она, также не глядя на деда, ответила:

— Нет.

— Ну, ладно,— даже с каким-то облегчением проговорил хозяин.— Торопись.

Он покряхтел, почесал за ухом, прошелся от окна до печки и обратно. Остановился возле хмурой девушки, просительно проговорил:

— Ты на нас зла не держи. Подкараулил он тебя. А мне рисковать нельзя. Можно сказать,

из связников один я остался. Пропаду — тяжело будет рожковским.

— Я понимаю,— нехотя разжала зубы Наташа.— Все понимаю, только мне от этого не легче. И зачем вы меня племянницей назвали. Они в комендатуре смеялись надо мной. Говорили: племянница, а не знает, где родная тетка живет, у встречных спрашивала.

Старуха тут же набросилась на Наталью:

— Эх ты, несмышленая. Сказала бы: давно не была, запамятовала.

А старик снова покряхтел.

— Кто же знал, что так обернется. Ну ты, Наталья, духом не падай. А ребятам не афишируй. И мы со старухой до гроба промолчим. А бог даст, встретишься с этим гадом еще разок, тогда и расквитаешься.

Подбадривал Яков, успокаивал, врал, сам мало верил в это. Оттого сильнее прежнего дымил едким самосадом.

Наташа понуро подошла к двери.

— Прощайте...

Голос вздрогнул, но сдержалась, не заплакала, плотнее стиснула ровные белые зубы.

— Прощай. Алексея часом встретишь, привет передавай.

Наташа ошалело посмотрела на хозяина.

— Он же на Урале...

— Сказывают: эшелон их под Карповкой разбили, они в займище подались.

Длинные ресницы снова часто захлопали.

— Зачем я ему такая нужна?

Прикрыла на шее синие пятна и, толкнув дверь ногой, ушла.

Уже на опушке остановилась, оглянулась: нет никого. Можно идти дальше, но ноги словно одеревенели. Боялась ступить в лес. Вдруг Алексей встретится, что скажет, как объяснит, поймет ли?

Поймет. Должен понять. До сих пор понимал.

В прошлом году в такую же июльскую жару приехал Алексей с бригадой слесарей в их

колхоз. Был он в железнодорожной форменке, брюках с зеленым кантом. Пальцы у него подбитые металлической пылью, охристые, в заживших ссадинах. Приехали со станции монтировать подвесную дорогу на ферме. Девчата сразу ожили, прихорошились. Надо не надо — бегут на площадку, с парнями лясы точат. Одна Наташа не выказывала особого интереса к приезжим. Когда Алексей первым спрыгнул с телеги, глянула на него и сразу зарделась, как июньская вишня. Алексей тоже посмотрел на нее внимательно, увидел ее смущение и начал подгонять друзей-приятелей.

— За дело, ребята!

Целый день работал, не забегая в комнату доярок, словно и не было тут Наташи, словно и не глядел на нее по-особенному. Может, забыл.

После вечерней дойки подошел, спросил тихо, ласково:

— Наташа, в клуб придешь?

Еще чего захотел. А сердце трепетно застучало в груди: не забыл, среди всех тебя выбрал, понял твой взгляд там, у телеги.

Осенью, когда дорога была смонтирована, продолжал ходить в колхоз. Подолгу блуждали они за околицей. Говорили каждый о своих делах, знакомых. Однажды, преодолев застенчивость, поцеловал ее. Она с силой оттолкнула его в сугроб и убежала. Он не обиделся и каждую субботу все равно стоял под ее окном.

Весной, когда непонятное томление вошло в душу, когда жадно и ненасытно сама целовала его, понимающе сказал:

— Если разрешат — поженимся.

С тем и пришли в дом. Но там умерили их пыл. Война. Такое горе, а им свадьбу. Вот к осени, бог даст, разобьют немца... Но Наташе казалось, что осень никогда не настанет, а он только жалел, ласкал и успокаивал ее. И недавно, когда отказалась ехать на Урал, не обиделся, понимающе погладил русые во-

лосы, заглянул нежно в омуты черных глаз, попросил:

— Береги себя.

Не выполнила его наказ, не уберегла. Из хутора убежала, мать бросила на растерзание. А ведь говорила: из-за нее остаюсь. Боль, обида, злость стояли в горле, мешали дышать. Вот так бы упасть и умереть.

Умереть? А те трое? Не дождутся ее, пойдут сами. Их непременно схватят, и старику Якову пропадать тогда. Нельзя сейчас пропадать, жить надо. И тот гад будет ходить по земле, выслеживать девчонок, затаскивать в комендатуру. А вдруг действительно, бог даст, и она с ним еще раз встретится... Так что умирать сейчас никак нельзя.

7

Добралась до условленного места. Обрадовала ребят известием. Широко, радостно заулыбались парни. Ласковыми, добрыми стали. Родион нежно хлопнул по плечу.

— Молодец девка. Теперь к Рожкову айда!

А Наташа будто не рада: горестная, замкнутая. Озадаченные, спросили:

— Что с тобой?

— Ничего. Отвяжитесь.

Догадались о чем-то худом, переглянулись. Молча двинулись. Шли быстро, уверенно. Часа через три на едва приметной в две стопы тропинке встретили дозорных. Парни были не местные. Недоверчиво выслушали пароль, предложили сдать оружие, документы. Ни того, ни другого у ребят не оказалось. Они, довольные встречей, охотно выворачивали карманы, выдергивали рубашки из-под поясов.

— Давайте вперед,— скомандовал один, с двумя треугольниками на линялых петлицах.

Наташа выполняла все приказы молча. И только когда услышала «вперед», заколебалась снова. Надо ли ей идти в отряд, вдруг

там Алексей. Уж очень хитро смотрел на нее старик, прося передать привет племяннику. Родион дотронулся до ее руки. Она встрепенулась, отдернула руку, посмотрела на ребят — не в избе Якова, здесь бояться некого и нечего. Покорно пошла впереди военного.

Вели их по глухой тропинке недолго. Показался стан партизанского отряда — шалаши, стреноженные кони, брички, костры. Подвели к одному из них. Около котла наваристого борща сидели Рожков и Алексей.

Доложил дозорный и отодвинулся, а пришедших уже обнимали, хлопали, целовали. А Наташа, не смея поднять глаза, стояла возле Алексея до тех пор, пока он бережно не взял ее руку и не посадил возле себя. Заглянул в лицо девушки, глубокие борозды легли поперек крутого чистого лба. Снял с себя пиджак, накинул ей на плечи — спрятал от любопытных синяки.

Словно пружина поднялся к Родиону:

— А ее зачем?

— Сама она,— буркнул парень.

— Сама?

Встала Наташа. Несмело глянула на партизан:

— Не прогоняйте меня. Помогать вам буду.

Рожков оглядел ее с ног до головы. Слегка прищурился, засияла на лице такая знакомая теплая, добродушная улыбка. Как та, когда разговаривал с ней о переходе на ферму.

— Помогать? Коров у нас нет, значит, кашу варить?

Засмеялись вокруг партизаны.

— Могу и кашу, Федор Акимович,— с обидой проговорила Наташа. И затих сразу смех. Насторожились.— Но не коров доить и не кашу варить, а бить их,— кивок в сторону станции,— сволочей ползучих хочу!

Голос оборвался. Плечи вздрогнули. К покрасневшим глазам прихлынули слезы. Уткнулась в отворот пиджака, заплакала.

Алексей подставил Наташе свое плечо. Жес-

том отогнал всех. Рожков погладил девичьи волосы, чмокнул сочными губами:

— М-да. Возьмешь к себе, в разведку.

Алексей благодарно улыбнулся:

— Слушаюсь.

8

Скоро научилась Наташа стрелять из винтовки без промаха. С особым удовольствием пробивала сталь трофейных касок. В партизанских буднях загорела, запылилась, окрепла. А в свободное от вылазок и ученья время стирала и починяла грубое мужское белье.

Сколько раз по вечерам заходил в Наташин блиндаж Алексей. Ждала и боялась этих приходов. Думала: Алексей начнет расспрашивать о той ночи, проведенной в немецкой комендатуре. Но он спрашивал, как прошел день, не скучно ли ей, готовится ли она к новому делу. Догадывалась женским чутьем Наташа — старик Яков поведал Алексею девичью печаль-обиду.

Однажды осенним вечером задумалась Наташа, сидя около догоравшего костра. Подошел кто-то сзади, беззвучно опустился около нее.

Вздрогнула, оглянулась. На примятой траве докуривал самокрутку Алексей.

— О чем задумалась? — спросил с приятной располагающей теплотой.

Сразу насторожилась: знает, знает, и присел не случайно, выбрал удобный момент, когда в лагере почти никого не осталось — ушли на задание. Ее не пустил Рожков — побоялся за Наташу. Вчера передали, что ее мать скончалась. Не без участия оккупантов и полицаев, которые нет-нет да и привозили птичницу в участок и все допытывались, куда сгинула ее красивая дочь, заморочившая голову господину коменданту.

— О чем же мне думать,— неопределенно ответила Наташа.— О мамаше думаю, о ско-

рой зиме думаю, как мы тогда, куда подадимся?..

— Гляжу я на тебя эти дни, Наталья. Та же ты и не та,— пропустил он мимо ушей ее вопрос.— Давно хочу спросить тебя.

Повернула к нему настороженное лицо, попросила:

— Только не теперь.

Нежно обхватил плечи сильными руками.

— Ната, я тебя как прежде люблю.

Догадывалась об этом, не обманывало ее сердце: в разведку посылал — волновался, чаще курил, в вылазках всегда был возле, прикрывал собой, не пускал вперед. Не любил бы, давно на правах жениха увел куда-нибудь в падинку...

— Только не теперь...

— Когда же?

— Потом... К волчьему логу приходи.

И когда замер лагерь, осторожной тенью прошмыгнул Алексей на дно балки, затянутой боярышником. Молча сел возле невесты, прижался горячими губами к холодной щеке. И Наташа не оттолкнула, а мягко, бережно обняла его.

9

— Вчера наши перешли в наступление. Идут сюда. Мы должны захватить станцию. Не дать фашистам возможности угнать эшелоны с новой техникой и боеприпасами,— говорил Рожков, развертывая карту.— Нас просят продержаться до вечера. Пойдем так...

Ночью мелкими группами пошли в разные стороны, чтобы сойтись в одной точке. Двигались туда, где чутко дремала насторожившаяся станция.

Приблизились почти вплотную, обложили ее, как медведя, надежным огневым кольцом.

И когда с юга в небо взметнулась красная ракета, у водокачки прогрохотал пулемет. Из пристанционного сквера, из-под колес, с крыш теплушек и пассажирских вагонов затрещали

выстрелы. Поднялись люди и в едином азартном порыве устремились к перрону, к вокзалу. Бежали с грохотом, гулом, криком.

До рассвета шел бой. А с первыми лучами солнца все стихло — станция была взята.

Догорали на путях пульманы с новой техникой, боеприпасами. Из черного дыма рвалось в синее небо красное полотнище, прикрепленное к крыше вокзала.

В двухэтажном здании комендатуры были собраны пленные. У двери и выбитых окон ходили часовые. К часовому, стоящему у двери, подошла Наташа. Волосы опаленные, растрепанные, лезли наружу из-под порванного платка. Окровавленным бинтом перевязана левая рука.

— Тебе куда? — взял винтовку наперевес часовой.

— Пусти-ка, парень. Товарищ Рожков разрешил. Гада одного ищу.

Молча и хмуро сидели на полу, на лавках, столах грязные, в ненавистных френчах и шинелях немцы. Увидев девушку с револьвером в руке, съежились, почувствовали что-то недоброе, попрятали рыжие морды в воротники. Наташа обошла нижний этаж. Останавливалась возле каждого, холодным дулом поворачивала испуганное лицо и, презрительно взглянув, шла дальше.

На втором этаже, в той самой комнате с деревянной кроватью и комодом, резко остановилась. Огрубелым от ночного крика и дыма голосом скомандовала:

— Вставай!

С кровати тяжело поднялся длинный нескладный немец, в черных петлицах которого запутались две серебристые змейки. Поднял глаза на Наташу, встретил ее огненный, ненавидящий взгляд — изменился в лице: посерел, задрожала нижняя губа.

— Узнал? — крикнула Наташа.— Узнал!

Думал, не встретимся. Довелось. Комок застрял в горле, мешал дышать. Глубоко вздох-

нула. Вскинула голову и с размаху ударила рукояткой в ненавистное на всю жизнь лицо.

После приговора чрезвычайной тройки вывела к водокачке, поставила лицом к себе. Не выдержал взгляда, отвернулся к стене. Наташа сделала шаг назад, подняла револьвер. Долго целилась. Очень не хотела так скоро, так легко лишать его жизни. Медленно нажимала на курок.

Грянул выстрел сзади.

Вздрогнула от неожиданности, оглянулась. С папиросой в зубах стоял Алексей. Голубой дымок вился из ствола карабина. Подошла к нему, взглянула в усталые от бессонницы, но милые, родные глаза. Алексей понимающе улыбнулся, обнял осторожно Наташу.

— Теперь успокоилась?

Хотела положить наган в кобуру, раздумала:

— Нет. Пока последний не уйдет с нашей земли.

По перрону бежал Родион. Далеко был слышен его бас:

— Танки! Наши танки идут!

1948 г.

МЫ ЕЩЕ ПОЖИВЕМ

— Дарь Степанна! Скорее! — крикнула сестра, когда санитары вывезли мою каталку из лифта. Я лежал, боясь не только пошевелиться, но даже вздохнуть — адская боль разрывала грудь. Сердце ворочалось, точно плохо обкатанный жернов, то устраивая бешеные скачки, то, споткнувшись обо что-то, замирало.

— Думала, не довезем,— с всхлипами объясняла кому-то сестра.— И камфору и папаверин, а он никак не реагирует.

— Ну, ну, без паники,— спокойно произнесла, очевидно, та самая Дарья Степановна.— Минуточку, товарищи,— попросила она санитаров.

Надо мной склонилось мягкое, улыбчивое лицо пожилой женщины, из-под белого чепца которой на лоб спадала почти такого же цвета челка.

— Вы меня слышите? — спросила женщина, приставляя воронку фонендоскопа к груди. Я закрыл и открыл глаза.— Смотрите на мой палец,— сказала она, отводя указательный палец то в правую, то в левую сторону.— Ну,— облегченно произнесла Дарья Степановна,— мы еще поживем.

А я в это время, успокоенный ее голосом, смотрел не на резиновые трубки прибора, не на руки, которые привычно проворно убирали фонендоскоп в нагрудный кармашек халата, а на ее лихо подкрученную прядку, заносчиво выглядывающую из-под шапочки. И до и после я видел много подобных прядок, но лишь об одной мог сказать «заносчиво». Конечно, в этой полнеющей женщине с ниточками морщинок возле глаз, губ, пожалуй, ничего не было от той знакомой моих военных лет. Только имя. Ту звали Дашенька, Даня, Данюшка. Эту Дарья. Но была ли Дашенька Степановной, этого, голову даю на отсечение, никто в батальоне не знал. И все-таки после ее заверения, что мы еще поживем, я набрался нахальства и позвал: «Доктор!»

Наверняка она не расслышала моего голоса, потому что практически никакого звука я не произнес. Она уловила движение моих губ и снова наклонилась надо мной.

— Вы Ивченко?

Она удивленно заглянула в мои глаза: значит, расслышала.

— Да,— кивнула она, но тут же предупредила: — Но вам нельзя говорить.

— Теперь можно,— с обескураживающей самоуверенностью заявил я.— Вы же та самая, наша...

С этой минуты не одна боль, но и радость распирали мою грудь. Еще не зная, чем кончится первая ночь в реанимации, я уже ехал

тем двадцатилетним, а за каталкой шла не пожилая Дарья Степановна, а совсем юная Дашенька...

Та самая, которая в памятный сентябрьский день сидела на краю пня и внимательно наблюдала за кропотливой работой муравьев.

За спиной тяжелые сапоги раздавили сухую лозу, и короткий, как выстрел, треск замер, поглощенный лесной глубиной. Курносые жесткие пальцы нырнули в шапку ее густых светлых волос.

— Садись, Аркаша,— не повернула головы Дашенька.

Он шагнул вперед, ступни его сапог безжалостно втоптали в землю будто раскаленных зноем муравьев.

— Ну вот, радуйся,— недовольно заметила Дашенька, когда он сел подле нее.— Как танк, давишь живность.

Аркадий, не убирая руки с ее головы, поглядел вниз и улыбнулся.

— Какой ты еще ребенок, Даня. Муравьи — живность. Я понимаю, корова или баран, на худой конец...

Она недоверчиво взглянула ему в глаза и, слегка покраснев, тихо проговорила:

— Они ведь тоже живые... Мне с некоторых пор стало жалко всех. Понимаешь, Аркаша, я должна тебе сказать... Но сначала ты скажи мне. Я такая, как и прежде?

Он утвердительно кивнул.

— Говоришь, я ребенок, а сам такой глупый и недогадливый.

— Ивченко, к командиру! — крикнул нарочито зычно долговязый ефрейтор.

Аркадий, встревоженный ее голосом, потянулся за рукой подруги, но она успела убрать ее и, оправив гимнастерку, быстро прошла мимо лукаво улыбающегося ефрейтора.

— Вы, Ивченко, эвакуируетесь в тыл.— Лейтенант, не спуская с нее взгляда, машинально выстукивал на столешнице загадочную морзянку.

Даше показалось, что он узнал о ее отношениях с Аркадием, догадался или ему донесли о том, чего никак не хочет замечать ее друг, и поэтому теперь решил, не поднимая шума, эвакуировать ее в тыл.

— Не эвакуируетесь,— поправился комбат,— отправляетесь в тыл со специальным заданием. Только что получены сведения: мы отрезаны от полка.

Ивченко невольно подалась вперед.

— Как?

— Как в сорок первом,— поднялся ей навстречу лейтенант.— В мешке, короче говоря, в капкане.— Он сделал несколько шагов по блиндажу и, вернувшись к столу, на мгновенье задумался.— Вы, Ивченко, добрый автоматчик,— офицер пристально поглядел на ее побледневшее лицо,— но сейчас... У меня пять тяжелораненых и среди них замполит. Короче говоря, вы должны их доставить в Васильевку, в полковой госпиталь. Вчера он был еще там.

— Я? — глаза Дашеньки тотчас заволоклись туманной пеленой. Замолчавший комбат казался ей водянисто-призрачным и почему-то неимоверно широким. «Он хочет спасти меня, но если это спасение хуже той смерти, которая уготовлена здесь им, что тогда?» — А вдруг...

— Никаких «вдруг». По моим соображениям, успеете проскочить лесом,— уловил в ее глазах болезненное сомнение лейтенант.— Я просто хочу знать, вы можете выполнить приказ?

— Да,— решительно сказала Дашенька.

Пока солдат впрягал лошадей в санитарную повозку, Ивченко разыскивала Аркадия. Но его нигде не было. Она подошла к санитару и, помогая ему затягивать постромки, спросила:

— Вы случайно не встречали Мельниченко, Аркашу?

Санитар не ответил и, покончив с упряжкой, направился в блиндаж. Скоро он вернулся, помогая раненому подниматься по ступенькам.

— Чего глядишь,— проходя мимо сержанта, пробурчал санитар.— Иди комиссару подмогни. Кончим да поедем скорее. Дорогу я знаю. К закату доберемся.

Раненые не стонали, и, если бы не плотно сомкнутые веки, искусанные губы, сжатые до синевы кулаки, можно было бы подумать, что это здоровые, только истомленные непосильным трудом люди прилегли отдохнуть. Дашенька заботливо накрыла кого плащ-палаткой, кого шинелью. Когда кто-нибудь из них вздрагивал или начинал бредить, она шептала те слова, которые, как ей казалось, способны были заменить скальпель хирурга, укол морфия, ватный тампон: «Потерпи, милый, мы еще поживем».

Повозка отъехала от лазарета уже далеко, когда на дорогу вышли лейтенант и Аркадий. Они долго махали пилотками и что-то кричали. Она тоже подняла руку над головой, потом привстала и крикнула:

— До встречи, товарищи!

Лейтенант приподнял обе руки, и она ясно услышала:

— До встречи!

Аркашка пробежал несколько шагов вслед за повозкой.

— Даня! Дашенька,— надрывался он,— береги себя!

Ивченко тоже хотела ответить ему такими же словами, но они застряли в горле, и она только улыбалась и кивала.

Полуденное солнце, раскаленное до ослепительной белизны, беспощадно пронзало измученную листву. Раненые все беспокойнее ворочались, бормотали. Они открывали глаза и, убедившись, что кругом свои, просили:

— Пить...

Ивченко проворно доставала баклажку и, дав два-три глотка, извинялась.

— Больше нельзя, милый, понимаешь.

Раненый кончиком опухшего языка жадно водил по бесцветным губам, стараясь собрать

оставшиеся там капли, но их не было, и он снова устремлял на сестренку виноватые, умоляющие глаза.

Лес с двух сторон сдавил неширокую дорогу. Под колесами хрустели жухлые пестрые листья, в знойном воздухе кружились паутинки и лепестки цветов. Неожиданно с переднего колеса со скрежетом спал обод; спицы, не выдержав тяжести, дрогнули, и не успела Дашенька до конца понять, что произошло, как сползла с облучка повозки. Санитар натянул вожжи и замысловато матюкнулся.

— О починке нечего думать,— собирая остатки колёса, с отчаянием сказала Ивченко.

— М-да,— промычал санитар, давая этим понять, что он-то, настоящий обозник, отлично осознает серьезность происшествия. Растягивая удовольствие, он еще раз выругался по адресу своего незадачливого существования на этом свете и бесславной кончины не на поле брани, а возле женской юбки и лишь после этого глубокомысленно закурил.

Откуда-то издалека, наверное, от реки, за которой держал оборону их батальон, донеслось несколько орудийных выстрелов. Санитар оглянулся по сторонам и, боясь, что кто-то сможет его заметить, присел на корточки, делая вид, что изучает колесо.

— Я думаю, вот что, подружка,— сказал он, не поднимаясь.— Побегу я за новой повозкой, а ты пока посиди с ними.

— Нет,— резко сказала Ивченко.— Давай откатим телегу подальше от дороги, а потом...

Она сама не знала, что будет потом, но все-таки заставила санитара выполнить приказ. Пока раненых снимали, переносили в густые заросли ивняка и боярышника, пока распрягали лошадей, пока с грехом пополам протащили повозку меж стволов на полянку, горячий воздух остыл и небо загустело до фиолетовости.

— Утром сходишь,— сказала Ивченко ездовому, и он, не споря, пошел к коням.

Уговорились ночью спать по очереди. Дашенька была твердо уверена, что кто-то из своих непременно должен ехать по дороге, и тогда они попросят о помощи.

После полуночи, когда Ивченко сменила санитара и удобно прислонилась к объемистому стволу могутного в своей высоте и осанке дуба, услышала осторожный шорох сзади. Сняла затвор с предохранителя...

— Сержант...

Дашенька облегченно вздохнула, наклонилась в сторону голоса.

— Вы, товарищ замполит?

Раненый с трудом подполз к ней.

— Вот очнулся и не пойму, где и что. Оказывается, беда случилась. Значит, решила до утра. Ладно, перекурим это дело. Сверни, пожалуйста,— попросил он и протянул портсигар.— А где же санитар? — спросил лейтенант, выпуская густой ядреный дым.

Дашенька сказала, что он пошел спать. Они немного помолчали. В лесу было тихо, только изредка ветерок прислонялся к верхушкам, шурша листвой, да где-то вдалеке бубнила потревоженная кем-то птица.

— Будто война кончилась: тишь какая! — задумчиво произнес замполит.

— Да, как будто,— согласилась Дашенька.— А ведь хорошо было бы, товарищ лейтенант, если бы мы завтра приехали в Васильевку, а нам сказали: войне конец!

— Нет, Ивченко, этого, во-первых, не может быть, а во-вторых, какой же конец. Нам вообще конец нужен, а победа. Вот до Берлина дойдем, тогда и, считай, конец.

Тишину ночи разорвала короткая автоматная очередь, за ней другая, третья.

Дашенька сжала автомат. Через минуту выстрелы повторились ближе. Она срослась со стволом. Напрягая зрение, почувствовала, как в правом боку что-то толкнулось. Кровь хлынула весенним потоком к лицу, сердце забилось чаще, горло точно сжали удавкой, под

глазами, на лбу, подбородке выступили капли пота. Это он! Он, ради которого она согласилась ехать. Он живой! И она сделает все, чтобы он жил.

На дорогу выбежали двое. Раненые очнулись. Замполит тихо пополз к ним. Тревога за раненых тяжелым грузом упала на ее плечи. Двое остановились. Один из них что-то сказал другому. Вздох облегчения вырвался из ее груди. Русские! Она приподнялась и тихо окликнула их:

— Товарищи!..

Беглецы дышали, как загнанные лошади. Один, с бородой, в кителе, наклонился над сержантом. За его спиной стоял подросток лет пятнадцати.

— Слыхал? — спросил бородач, опускаясь около Ивченко.— За нами. Мы из Васильевки...

— Не может быть,— почти крикнула Дашенька,— там наш госпиталь.

— Точно, был в школе,— ответил бородач,— на рассвете эвакуировался. Теперь они там хозяйствуют. Садись, Митяй,— обратился он к спутнику.

Не расставаясь с автоматом, Митяй осторожно присел на корточки и, непринужденно разглядывая девушку, сказал:

— Папань, я думал, это солдат, а это тетя.

— Факт, не дядя,— согласился бородач.

К ним подошел санитар.

— Как пальбу услыхал,— начал он,— враз осмыслил: бяда. Не иначе, как германец на партизан облаву устроил.— Он наклонился к мальчику и спросил: — Где они?

— В Васильевке,— ответила за него Дашенька.

— Ну? — опешил санитар.— Это что же нам выходит? — Он перекрестился и двинулся к раненым, бормоча: — Крышка, крышка.

Когда санитар исчез в темноте, бородач спросил:

— Много вас?

— Пятеро раненых и мы,— ответила она.

— Надо что-то сообразить,— горячо заговорил прибежавший.— Здесь только до утра можно оставаться. Потому как ночью они наверняка не пойдут в лес, а утром явятся непременно. Я их знаю. Тебя как зовут?

— Ивченко, Дарьей.

— Митяй,— обратился он к сыну,— ты поможешь Дане спрятать раненых. К деду тащите их. Только я наперед потолкую с ними, ранеными-то.

Не откладывая решения, он направился к повозке.

Дашенька даже удивилась тому, с какой детской доверчивостью она относится ко всему, что говорит и делает человек в кителе, которого она видит впервые.

— Мы с отцом помогали раненых на машины грузить,— сказал Митяй, когда они остались вдвоем,— а после хлеб и картошку с колхозниками прятали. Мы прячем, а они в деревню входят. А нас продал Кудла, тракторист был такой в колхозе, все на отца зуб точил за то, что он осудил его. Правильно ведь судил. Зачем хлеб колхозный воруешь да бабам керосин продаешь. Хлеб-то ему, немцу, все равно не достанется. Тот, что раньше спрятан, они не найдут, а этот мы спорышем заразили. Пусть едят на доброе здоровье,— засмеялся парнишка, представляя немцев, поедающих зараженный хлеб.— Ты чего такая печальная? Не бойся, мы всех спасем. В здешних местах отец все уголки знает. Спрячем, а после за линию фронта переправим...

Цокот конских копыт заставил их взяться за оружие. Но тотчас они поняли, что лошадь удаляется.

— Стой! — крикнула Ивченко и выбежала на дорогу.— Сволочь, ускакал. Испугался.

Остаток ночи они втроем переносили раненых к балке сквозь заросли краснотала и терна в небольшую древнюю сторожку лесника, которую в этих местах все называли «Саввича изба». В ней не оказалось ни одного цело-

го окна, в проеме не было двери, в углу чернела груда кирпича вместо плиты. Зори становились прохладными, поэтому Дашенька заботливо укутала каждого раненого, каждому перед сном дала по нескольку ложек тушенки с хлебом и понемногу воды. К рассвету она начала дремать. Сквозь сторожкий сон слышала разговор замполита и бородача.

— Калмыков моя фамилия,— говорил отец Мити,— может, по радио или в газетах встречали. Председатель я здешний. У меня, лейтенант, не примите за бахвальство, колхоз «Светлый путь» первым по области шагал. Пшенички по двести пудиков с гектара собирали.

Они закурили, помолчали, но молчать не хотелось, и замполит спросил:

— В Москве бывали?

— Не пришлось. Аккурат перед войной наш секретарь говорил: «Поедешь ты, Максим Максимыч, осенью в столицу»,— а в июне, сами знаете...

Опять помолчали, и опять Калмыков сказал:

— Я германцев с прошлой войны не видал. Думал, они за эти двадцать с лишком лет уму-разуму набрались, а нынче поглядел — дикари, право слово. Ну, куда им до нас? Нет, сломаем мы им хребтину. Помяните мое слово, сломаем.

— Обязательно,— тихо сказал раненый.— Иначе быть не может. Мы еще с вами, Максим Максимыч, по Берлину пройдемся, по их знаменитой Александрплац и по Линденштрассе...

— Вы там уже бывали?

— Нет, из книжек знаю.

Дашенька проснулась от теплого прикосновения солнечного луча. Первое, что бросилось ей в глаза,— отсутствие Калмыкова, Митя, прикорнув у самой двери, сладко спал. Она вышла из сторожки.

Утро выдалось теплое, голубоглазое. Заливались щебетом пернатые обитатели леса. Нехотя падали бронзовые листья. Ветки шипов-

ника и терна склонялись под тяжестью налитых пурпурных и агатовых плодов.

Дашенька с жадностью набросилась на терпкий сочный терн. Съела пару горстей. Утолила жажду, стала набирать плоды в пилотку. В это время пришел Калмыков. Принес автоматные диски и гранаты.

— Теперь пусть сунутся,— шутил он, выкладывая все на пол.— Товарищ замполит, как вы себя чувствуете? Хорошо? Вот и ладно. Я тут в заветном месте был... Глянул, поубавилось запасов. Значит, где-то мои ребята орудуют. Ночью в Васильевке конюшни сгорели...

Его рассказ был прерван далеким псовым лаем. Все насторожились. Чутьем, обретенным на войне, поняли — немцы. Отступать поздно. К обороне готовились спешно, но тщательно. Трое вооруженных людей располагались так, чтобы во время боя можно было видеть друг друга и оставаться невидимыми для врагов.

Там, где так недавно Дашенька собирала ягоды, искусно замаскировался Митя, тропинку, ведущую к сторожке, взял под прицел сосредоточенный Калмыков; Дашеньке отвели место, самое удобное для связи с ранеными. Те, чувствуя надвигающуюся опасность, отползли к задней стене.

Все ближе и ближе лаяли собаки, гортанно перекликались немцы.

Первым выстрелил Митя. Проводник овчарки без крика и стона упал. Калмыков не успел выстрелить. Ему было уже не в кого стрелять: немцы повалились, как снопы в бурю. Палец Дашеньки сросся с горячим курком автомата. Над головой зловеще позвякивали пули.

В том месте, откуда раздался выстрел, с оглушительным треском разорвалась граната. На минуту все вокруг обложила серая удушливая пелена. Дашеньке показалось, что впереди качнулся куст. Она прицелилась и выстрелила. Куст больше не качался. Калмыков повернул к ней спокойное, ободряющее лицо и улыбнулся.

Немцы без выстрелов подползали к лачуге. От невидимой тройки их отделяла теперь сотня-другая шагов. Дашенька по опыту боев знала, что скоро гробовому молчанию наступит конец.

И правда, враги, набравшись духа, вскочили и, расстреливая обоймы, побежали к сторожке. Но меткие короткие очереди троих заставили их снова залечь. Началась перестрелка.

— Вот и хорошо,— проговорил после очередного выстрела Калмыков,— постреляем, а там, глядишь, и мои ребята подоспеют.

Но ребят все не было, и Калмыков стал чаще оглядываться, а потом перевел автомат на одиночные выстрелы. Наконец он подполз к Дашеньке.

— Положение у нас, Даня, создается неважнецкое,— смахивая рукавом нагар с патронника, сказал Калмыков.— Как думаешь, вдвоем продержитесь с часок?

— Должны,— уверенно ответила Ивченко.

Калмыков, не поднимая головы, пополз к сыну. Дашенька видела, как они прижались друг к другу. Митяй повернул к ней широкое лицо.

— Держитесь. Я скоро,— сказал он, отползая от избушки к густому камышу.

Только сейчас Дашенька поняла, почему немцы не могут подойти к ним с тыла. Там довольно широкий и глубокий ерик. Значит, за спиной у них надежное укрытие. Надо только держать фронт.

Привычным ухом раненые поняли, что один из троих выбыл. Замполит стиснул зубы и пополз к оконному проему.

— Тяжело, Ивченко? — спросил он.

— Жарковато,— ответила Дашенька, стреляя.

— Вот что, сержант,— строго заговорил лейтенант,— может, я возьму автомат, а тебе удастся уйти незамеченной...

Дашенька поняла, что он требует от нее невозможного. Чувство обиды захлестнуло ее.

— Не мешайте, уходите,— резко крикнула она.

Калмыков, услышав крик, приподнял голову и тут же опустил ее. На ходу достав бинт, Дашенька подползла к нему. Пересекая височную впадину, тонкая изломанная струйка крови метнулась к глазу, на щеку. С трудом разжав пальцы, она взяла автомат и, не поднимая головы, поползла обратно.

Лейтенант, увидев оружие, молча потянулся к нему. Дашенька передала автомат. Замполит перевернулся на левый бок и поволочил правую ногу к выходу.

— Ну, Ивченко, только не назови его в мою честь,— вдруг задорно проговорил замполит.— Обижусь. А теперь покажем фрицам, где раки зимуют.

А Дашенька, оглушенная не столько выстрелами, сколько неожиданным откровением лейтенанта, вновь почувствовала, как заворочался кто-то там внутри. И почему этот чудак замполит решил, что обязательно будет мальчик? Смешные эти мужики.

И она, пересиливая страх, теперь больше за него, чем за себя, улыбнулась лейтенанту и сказала:

— Покажем!

— Да тут еще гранаты,— будто нашел клад драгоценностей, радостно крикнул лейтенант.

«Хорошо бы одну мне,— подумала Дашенька,— на всякий случай». А внутри что-то снова теперь протестующее заворочалось, и она вынуждена была извиниться: «Ты прости меня, будущее, это я так, на всякий, на самый крайний случай. А вообще-то мы еще поживем с тобой...»

В проем, будто птица, плавно влетела огромная серая овчарка. Грязными, жесткими лапами собака придавила ее к земле, потянулась отточенными клыками к горлу. Дашенька изловчилась и сунула ствол автомата в пасть. Овчарка выбила его лапой и еще тяжелее навалилась на жертву. Выстрел в упор заставил

собаку беспомощно лизнуть горячим языком шею сержанта и медленно сползти на пол.

Ивченко с трудом встала на трясущиеся колени и услышала резкую дробь автоматов и крики...

...Наверное, много дней и ночей находилась она в беспамятстве, потому что, открыв глаза, увидела светлую комнату с кроватями, цветами на тумбочках и сестру в белом халате.

— Уже в госпитале? — удивленно шевельнула она бледными, сухими губами.— А где же они?

Сестра наклонилась ближе и, не понимая вопроса, привычным движением поправила конец одеяла.

— Все, где все? — отчетливее спросила Дашенька, но поняла бессмысленность вопроса и закрыла глаза. И вдруг она почувствовала бездонную пустоту в себе. Она приложила руку к животу и похолодела.

Начинался утренний обход. К ее кровати подошел доктор.

— Живем, говорите,— пробасил он, присаживаясь на табурет.— Хорошо! Теперь нам поправиться, как топору утонуть. Боли не ощущаете? Хорошо.— Доктор вдруг наклонился к ней.— Пришлось спасать вас,— с сожалением произнес он и тут же добавил: — Ничего, это не последний. Еще будут!

Обход продолжался. Дашенька после слов доктора начинала ощущать в каждом суставе, в каждом мускуле, в каждой клетке своего тела жгучую боль. Закружилась голова, захотелось кричать, громко, навзрыд, звать на помощь, сбросить одеяло, сорвать бинты и бежать. Туда, где нет людей, где никто не услышит ее дикого крика.

Разбивались с легким треском о стекло крупные дождевые капли. Иногда серое, набрякшее тучами небо пронзали вспышки молнии, откуда-то со второго этажа доносилась самая глупая в мире песенка. Тенор кого-то умолял:

Брось сердиться, Маша,
Крепче обними.
Жизнь прекрасна наша
В солнечные дни.

Она хотела крикнуть, чтобы прекратили это издевательство, но слезы задушили ее, и Дашенька уткнулась в подушку, а сверху накрылась одеялом. Теперь слащавый фальшивый тенор не так лез в душу. Подошла сестрица.

— К вам товарищи из части. Можно?

— Неужели? — почти крикнула Дашенька.— Ну конечно, что же вы стоите.

Она вытерла слезы, прихватила косынкой растрепанные волосы и машинально закруглила прядку, выскочившую на середину лба. Думала, верила, надеялась, что приехал Аркадий, но в палату вошел командир батальона.

— Здравствуйте, Дашенька,— протянул он широкую ладонь.

— Здравствуйте, товарищ лейтенант,— в замешательстве проговорила Ивченко, заглядывая с надеждой за его плечо. Но в дверях больше никто не появлялся.

— Так, говорите, поживем. А я приехал не просто, а, короче говоря, с особым заданием генерала.— Приказом по дивизии вам положено знаете что?

— Нет,— ответила она, пряча глаза.

— Вам положено,— замолчал лейтенант, подыскивая нужные в таких случаях, особенные слова, и, не найдя их, закончил очень буднично, будто он сегодня целое утро только и раздает награды: — Вам положено быть героем, а короче говоря, носить медаль.

Вот о чем вспомнил я в первые часы пребывания в реанимационной палате. Поэтому, когда в полночь в очередной раз надо мной склонилась озабоченная Дарья Степановна, я уже довольно внятно произнес:

— Порядок, доктор. Короче говоря, мы еще поживем.

1956 г.

ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ

Виталий Наумович Бобров, начальник технической лаборатории Гидростроя, только что ознакомился с химическими анализами, выполненными Галиной Крапивкой, молодым инженером. Анализы были, как всегда, сделаны безупречно. Начальник хотел снять трубку и сообщить в управление заключение лаборатории, но в это время раздался телефонный звонок.

Бобров снял трубку и тотчас услышал голос начальника строительства.

— Добрый день,— басил начальник.— Сейчас получил сводку: уровень воды за двое суток поднялся на сто — сто двадцать сантиметров. Перемычку может размыть, если мы ее не укрепим. Весь грунт из прежних карьеров выбран. Безотлагательно ищите новые карьеры близ перемычки. Ясно?

— Ясно, Федор Георгиевич,— только и успел ответить начальник лаборатории.

Бобров понял, что дело более чем серьезное и медлить в эти минуты равносильно преступлению. Через пять минут перед ним стояли Галина Крапивка и две другие лаборантки.

Виталий Наумович коротко объяснил девушкам срочность и ответственность возлагаемого на них задания.

Лаборантки спустились к перекрытому рукаву реки. К будущему карьеру шли сырым берегом.

Всю дорогу Крапивка волновалась. Бобров, остановившись возле первого колышка, вбитого неподалеку от перемычки, сказал, обращаясь к Крапивке:

— Вот ваш участок, Галина Антоновна. Желаю вам удачи.

Крапивка открыла чемоданчик, достала оттуда несколько холщовых мешочков, совок и торопливо начала брать образцы пород.

Она вернулась в лабораторию и тотчас

приступила к работе. Надо было определить механический и химический состав грунта. Скоро вернулись и ее товарищи. Они также принялись за анализы.

Крапивка подошла к приборам, вынула несколько стаканов, пробирок и, не найдя ничего подозрительного, поставила все на свое место.

Нескончаемо долгими показались часы просушки навесок. Наконец можно было приступить к химическому анализу. «Что-то он даст? — волновалась Галина.— Может ли грунт быть использован для укрепления перемычки?»

Пропустив жидкость через фильтр, Галина отнесла его в сушилку. И снова для нее потянулись томительные минуты ожидания.

Но вот закончилась и сушка. Лаборантка понесла к весам бюксы.

Взвесила и сразу почувствовала что-то недоброе. Под руками не оказалось справочника, но она и без него догадалась, что порода содержит высокий процент солей, легко растворимых в воде. Теперь осталось только определить, какими именно солями перенасыщен грунт. Она догадывалась, что земля содержит соли калия, кальция или магния. Да, ее карьер был перенасыщен бикарбонатом кальция, веществом, легко растворимым в воде. Галине стало жарко. Грунт содержит бикарбонат кальция! У нее опустились руки. «Вот и помогла,— опечалилась Крапивка.— Они там ночью воюют с водой, а я должна огорчить их. А может, я ошиблась? — сомневалась Галина.— Надо проверить еще раз. Немедленно бежать на карьер». Но ее остановил Бобров.

— Куда вы? — сказал он.

— На карьер.

— Так поздно? Зачем?

Крапивка сообщила Боброву о результате химического анализа, высказала свои опасения и попросила разрешения повторить опыт.

Галина опустилась на стул подле Боброва

и терпеливо стала ждать, что скажет начальник.

Тот определил, что анализ сделан безукоризненно.

— Грунт не годен для засыпки в перемычку,— сказал Виталий Наумович.— Благодарю за службу. Вы свободны. Ваши результаты я сообщу...

Крапивка вздохнула. Домой она пришла усталая. Ей поскорее хотелось лечь и забыться. Она подошла к зеркалу и внимательно посмотрела на себя. «Как ты изменилась за эти недели,— разговаривала она сама с собой.— От той застенчивой девочки, которую знали в школе и в институте, ничего не осталось. Даже взгляд стал какой-то строгий и сосредоточенный». Как ни велико было утомление, но счастье, переполнившее ее сердце, было сильнее физической усталости. Еще бы, сегодня она могла с гордостью сказать о себе: да, она выдержала серьезный экзамен. Хорошо бы в эту минуту поделиться радостью с кем-нибудь близким, родным. Не зажигая огня, она присела на подоконник. По дороге бесконечной лентой двигались самосвалы, тракторы, скреперы.

За дорогой, на поляне, строился бетонный завод.

В небо поднялись первые конструкции.

Крапивка, дыша свежим воздухом, пристально всматривалась в далекую темноту. Там виднелось много алых огоньков на стрелах башенных кранов, на экскаваторах, на мачтах буровых.

Они, казалось, то горели высоко, под самыми облаками, то у самой воды.

Сердце девушки наполнилось гордостью за тех, кто зажег эти звезды.

Галина даже немного опечалилась потому, что грунт ее карьера оказался непригодным для отсыпки в перемычку. И сейчас строители должны ездить к дальнему карьеру, найденному ее подругами-лаборантками. Думая

об этом, она невольно стала отыскивать из окна ту балку, где сегодня так тщательно отбирала образцы. «Там где-то рядом стоял земснаряд,— припоминала Крапивка,— даже два земснаряда». Она старалась по огонькам, блуждающим по воде, найти их. Вдруг Галина увидела, что в балке ярко светят фары автомашин и прожекторы, установленные на кабинах экскаваторов. «Неужели они берут грунт из моего карьера? — испугалась девушка.— Не может быть... Ведь Виталий Нумович должен был передать в управление мои анализы. А вдруг он не сделал этого?»

Словно обожженная, она выскочила из комнаты и побежала к своему карьеру, где сновали автомашины, лязгали металлическими челюстями экскаваторы. И чем меньше оставалось расстояние до карьера, тем отчетливее представляла она, какая большая беда надвигалась на участок. Теперь у нее не оставалось сомнения в том, что машины работают именно в ее карьере. «Надо позвонить, но до телефона дальше, чем до балки». Задыхаясь, Галина подбежала к ближайшему экскаватору и отчаянно замахала руками, требуя заглушить мотор. «Стойте!» — крикнула она. Но ее крика никто не расслышал. Стрела с ковшом, плавно описав полукруг, ткнулась вниз и тут же начала подниматься к верхней кромке карьера.

— Остановитесь! — кричала Крапивка, махая руками.— Остановитесь!

Но экскаваторы продолжали работать, а машины одна за другой становились под погрузку. Тогда Крапивка, недолго думая, нисколько не остерегаясь, прыгнула с обрыва к опускавшейся стреле, несущей порожний ковш. Теперь ее небольшую фигурку, в сером распахнутом пальто, освещенную лучом прожектора, все заметили. Но ковш, хотя и медленно, продолжал опускаться. «Ударит или нет?! Если ударит — все. Никто ничего не узнает до завтра. Но завтра — поздно».

Машинист повернул стрелу вправо, и зубья ковша упали недалеко от ее сапожек, утонувших в рыхлом грунте. Из кабины выпрыгнул машинист.

— Чего лезешь под ковш! — зло крикнул он Галине.

— Остановите экскаваторы! — Крапивка шагнула навстречу экскаваторщику. За ее спиной раздались тревожные сигналы автомашин. Шоферы, недовольные задержкой, требовали груза.

— Почему? — как глыба, надвинулся на девушку машинист.

— Грунт негоден для отсыпки.

— Да нам сам Губарев, начальник участка, сказал... По его распоряжению мы...

— Грунт не пригоден. Много бикарбоната кальция.

— Чего, чего?

— Солей много, легкорастворимых.

— Знаешь что,— посуровел машинист,— иди-ка ты к начальству и там разбирайся, а нам не мешай работать.

Машинист отвернулся и, быстро вскочив в кабину, переключил мотор с холостого на рабочий ход. Шоферы побежали к своим машинам. Но Галина не отступила. Она поставила ногу на зубец ковша.

— Не дури! — озлился машинист.— Витька, убери ее к чертям собачьим! — кричал он своему помощнику.

Паренек в замасленной кепке подбежал к Галине и попытался оттащить девушку от кромки забоя.

— Это вредительство! — рассерженно крикнула лаборантка.

И опять к ней подскочили машинист и шоферы.

— А ну, братва, помоги оттащить этот бикарбонат,— потребовал машинист.

Но кто-то из водителей резонно предложил:

— Проверьте у нее документы.

Документов у Крапивки не оказалось. Удо-

стоверение и пропуск остались в кармане пиджака.

— Отправить её на участок... Там разберутся, что за птица,— предложил тот же шофер.

— Никуда я не пойду,— Галина сжала тонкие губы, чтобы не заплакать.— Я вам говорю: остановите машины!

— Да ты понимаешь, глупая: вода перемычку подмыла,— задыхался от гнева машинист.

— Кто вам разрешил здесь работать? — каменела Крапивка в своей неуступчивости.

Совсем неожиданно перед ней выросла угловатая фигура широкоплечего человека в телогрейке, высоких сапогах и серой кепке с коротким козырьком. Это был Губарев, начальник участка. Губареву объяснили, почему прекратился подвоз грунта к перемычке.

— Уйдите из карьера! — в голосе Губарева звучали железные нотки. Но, увидя, что девушка и не думает выполнять его распоряжение, он добавил: — Поймите, никакого предупреждения из лаборатории я не получал.

Перед Галиной стоял такой же юный, как она, инженер. Он, очевидно, тоже совсем недавно закончил институт. Крапивка подумала, что у него, видимо, есть выдержка, хватка, иначе так скоро ему не доверили бы участок. Она почему-то решила, что сегодняшняя ночь для Губарева такое же испытание, как и для нее прошедший день.

— Я прошу вас, переведите машины в четырнадцатый забой,— убеждала она Губарева.— Там хороший грунт. Я предупреждаю: вы можете погубить перемычку.

— У нас нет оснований опасаться,— возражал Губарев.— Нет документов на этот счет.

К ним подошел экскаваторщик Лыков.

— Здравствуйте, Галя,— приподнял он приветственно широкую ладонь.

— Здравствуйте, Коля,— обрадовалась Крапивка.

— Что тут происходит? — спросил Лыков, обращаясь ко всем, окружившим Галину.

— Да вот, Николай Александрович,— указал машинист на Крапивку,— девчонка не разрешает брать грунт.

— Почему, Галя?

— Анализ показал, что грунт негоден. Годен четырнадцатый карьер. Это километра два отсюда. Я прошу товарищей перевести машины в тот карьер, а они мне не верят.

— Василий Яковлевич,— повернулся Лыков к Губареву.— Я знаю эту девушку. Она лаборантка.

— Но, понимаешь, мне никто ничего не говорил. А тебе же хорошо известно, что сейчас творится на перемычке.— Он замолчал. «Что же делать, какое решение принять? — размышлял начальник участка.— Почему меня никто не предупредил? А сейчас, когда вода рвется в котлован, успею ли я перевести машины в другой карьер? Главное — остановить первый напор. А что если бросить в прорыв весь бут, всю щебенку!»

— Ва-силий Яко-олич, беда!

— Слышишь? — Губарев показал рукой в сторону перемычки.— Потерять час на переход машин — значит, погубить перемычку.

— А сыпать в перемычку забракованный материал — это вредительство,— стояла на своем Крапивка.

— Василий Яковлевич,— подбежал к Губареву молодой человек в мокрых до колен брюках.— Беда. Вода напирает, а у меня там склад и два бульдозера. Все зальет!

Губарев вмиг преобразился.

— Слушайте мою команду,— повернулся он к собравшимся механизаторам.— Брать не четыре, а пять ковшей.

— Губарев, стой! — хотел схватить его за рукав Лыков, но тот уже вскочил на подножку машины.

Дежурный газик, грохоча мотором, помчался в сторону котлована.

«Все брошу. Сам в прорыв лягу, но не пущу воду! — лихорадочно думал Губарев.— По-

прошу у Тряскина щиты наката. И откуда она взялась, эта лаборантка?» Он злился на всех и на все, но больше всего на себя. Ведь предупреждали же его старожилы, чтобы сотни три мешков держал про запас. Тогда Губарев усмехнулся в ответ: «Да при нашей технике я любой прорыв в два счета заделаю». Рабочие обиделись, но вида не подали, сказали: «Вам виднее. Но только наша речка не любит шутить».— «Завтра же прикажу завезти на склад полтыщи мешков».— Он оглянулся и не увидел за собой самосвалов. «Не выполняют моего приказа. Струсили. Кто дал право этому Лыкову вмешиваться в мои распоряжения? Если перемычку снесет, все останутся в стороне, а я буду в бороне». Он еще раз глянул в заднее окно кабины — машин не было.

— Гони обратно! — приказал он шоферу.

А тем временем Лыков просил одного шофера:

— Слушай, отвези немедленно лаборантку к начальнику управления.

— Губарев же приказал грузить землю,— неуверенно отказывался шофер.

— И Губаревы, брат, ошибаются,— улыбнулся Лыков.— Садитесь, Галя,— пригласил он Крапивку и, видя ее нерешительность, добавил: — Экскаваторы работать не будут.

— Ты за себя говори,— огрызнулся машинист.

— Вот именно,— поддержали его шоферы.— Кто нам за простой платить будет?

Уже в кабине Галина узнала, что Лыков, которого здесь уважают не меньше Губарева, не просто машинист экскаватора, а и парторг конторы строймеханизации.

В управлении Гидростроя никого не оказалось.

— Куда теперь? — спросил шофер.

— К начальнику строительства,— коротко бросила Галина шоферу.

Но на работе начальника уже не было.

— Куда?

— Гони прямо на квартиру,— сказала Крапивка.

Федор Георгиевич выслушал лаборантку спокойно и внимательно.

— Большое вам спасибо,— поблагодарил он Галину, делая какие-то пометки в настольном календаре.

Она вернулась в карьер к полночи, когда последний экскаватор Лыкова покидал забой.

А немного раньше в лаборатории раздался телефонный звонок.

— Будете говорить с Федором Георгиевичем,— предупредила Боброва дежурная.

Виталий Наумович знал, что ночью начальник строительства беспокоит людей только в экстренных случаях. Он приготовился выслушать новое задание, но был немало удивлен, когда с того конца провода спросили:

— У вас есть инженер Крапивка?

— Есть, Федор Георгиевич.

— Как она работает?

— Старательная, внимательная. С перспективой девушка.

— Можно ей доверить участок?

— Можно,— не задумываясь, ответил Бобров.

А через несколько минут Федор Георгиевич разговаривал по телефону с начальником левобережного управления, советовался с ним, можно ли дальше оставлять Губарева на участке.

— Рановато мы его выдвинули в начальники,— заметил Федор Георгиевич.— Рановато, но если ты веришь в него, давай оставим. А выговор все-таки запиши ему. Ты еще не подыскал лаборантку на второй участок?.. Нет? Тогда жди, завтра Бобров подошлет. Толковая девушка... Кто такая? Молодой инженер, Галина Антоновна Крапивка. С характером девушка.

1959 г.

ОДИНОКАЯ

Я стоял на берегу небольшого озера и любовался закатом. На красочном небосклоне вдруг появилась одинокая птица. Она легко парила в вышине. Глядя на нее, я невольно задумался над тем, что подняло ее в этот час с земли. Неосторожные шаги охотника или рокот трактора? А может, она, потрудившись возле своего гнезда, захотела отдохнуть в далеком полете? Или эта птица отстала от своей стаи?

Залюбовавшись величавой картиной заката и птицей, я не заметил, как сзади подошел человек. Дым его папиросы заставил меня оглянуться. Незнакомец был одет в охотничий костюм. Но, кроме ружья, в его руке я увидел силок, которым обычно любители ловят пернатых. Поймав мой удивленный взгляд, охотник улыбнулся и, попросив разрешения, присел, поглядел туда, где все еще кружила птица, и только после этого объяснил:

— Хотел сынишке подарок принести. Не удалось. А жаль.

Он опустился на корточки возле одной из моих лесок, внимательно оглядел берега, понаблюдал за мертвыми поплавками и, не обращаясь ко мне, продолжал излагать вслух прерванные мысли:

— А жаль... У нас бы неплохо жилось. Я для нее и клетку за трешницу купил.— Он поднял голову вверх и, отыскав птицу, восхищенно сказал: — Красивая сизоворонка. Жалко. Летает, а кто-нибудь возьмет да и подстрелит. А у нас, хоть в клетке, но безопасно бы жилось...

Я тут же заметил, что для нее, пожалуй, как и для всякого живого существа, свобода дороже самой прекрасной неволи.

— Это может быть,— после раздумья согласился мой незнакомый гость. Он тщательно растоптал окурок сапогом и тут же закурил новую попиросу.

И по тому, что он стал вдруг сосредоточенно задумчив и затягивался дымом не спеша, но глубоко, я определил, что он чем-то сильно взволнован.

Почувствовав на себе мой пристальный взгляд, он повернулся ко мне. Я поспешно перевел взор на поплавки.

В жизни бывают минуты, когда молчание для двоих становится в тягость. И тогда люди либо расходятся, либо один из них рассказывает другому свою сокровенную тайну. Ту, о которой, как правило, близкая родня даже не догадывается. Наверное, что-то подобное переживал этот охотник, сидя подле меня, потому что он не вынес молчания.

— Вот вы про свободу сказали,— обратился он ко мне так, словно не было этой долгой паузы.— Только свобода свободе рознь. Дали вон в Америке фашистам свободу, они и в президентов стреляют. Или у нас в селе есть такие свободные граждане, что их ни на ферму, ни на поле не затащишь. Или, скажите мне, одинокой женщине для чего свобода?

Я невольно насторожился, услышав его обиженный голос. Теперь мне стало совершенно ясно: моего собеседника действительно что-то угнетало, у него наступил такой момент, когда он не может дольше носить в себе обиду и горечь к людям, которые не поняли, оттолкнули его. Испугавшись, что мое безучастное лицо вдруг охладит его и он не захочет продолжать свою повесть, я заинтересованно спросил:

— Простите, но я не понимаю, о какой женщине вы говорите?

— Да это я в общем. Но можно и конкретно. Есть у нас в колхозе доярка одна. Татьяна Слободкина. Не доводилось слышать? Знатная. Всеми статьями знатная, только характером не удалась. Дикая. Одна в мазанке на ферме живет. Ну не то, чтоб одна, правда. Летом туристы у нее, студенты, которых на плантации присылают. Да это все, я так считаю, чужие люди. К ним не прислонишься.

— Что же она, всю жизнь одна?

— Какая там жизнь-то в двадцать два года. А уехала она из села не прошлой, а еще той весной, как ее мужик, мой племянник Петр, умер. Трактор из речки в половодье вытаскивал, ну и простыл, видно. Так она после его смерти сама на себя стала не похожа, горем очень убивалась. И чтоб хоть чуть забыться, стала и дневать и ночевать на ферме. Я еще тогда дебет с кредитом сводил во второй бригаде. Часто мне с Татьяной приходилось встречаться... Может, оно такое-то и наперед случалось, но я не примечал, а тут ее одну лишь вижу...

Стала мне Татьяна и клином, и светом в окошке. На ферму приду — коров не вижу. Одна она перед глазами. Правление соберется, опять то же самое. И что твоя нитка к иголке потянулся я к ней. Что ни вечер, я к ней во двор. Сперва по-родственному, с жалостью. Потом и другие разговоры у нас повелись. Стал я осторожно про совместную жизнь намекать. Она ни да, ни нет не говорит. А только однажды, когда я до ночи зачаевничался да силком усадил ее возле себя, она спросила: «Что я худого тебе сделала, Федор?» Ну тут уж меня прорвало. Я же к ней всей душой, а она это по-своему понимает. Словом, ушел я, несолоно хлебавши, а она в ту же ночь сюда, в займище, переехала. Вернулся я домой, заглянул в коровник, в катух... И верите, впервые не испытал радости от своих буренок, поросяток, индюков... Что за наваждение? Сел на крыльцо и призадумался. Почему в моей жизни дебет с кредитом не сходятся? Чем я не люб Татьяне? Может, на детей пугается выходить? Так старшего весной на действительную проводили, через три года только вернется. А младший души в ней не чает, что травинка к солнышку тянется. Да и Татьяна с ним ласковая да приветливая. Стар, может? Опять же нет. До пенсии мне еще две пятилетки ждать...

Я тогда про себя решил так: от горя еще не оправилась баба. Я-то по своей, считай, год убивался. Да и теперь как вспомню, сердце так и сожмется. А уж шестой годок на исходе.

Рассказчик умолк. Огонек папиросы временами освещал его грустное лицо. Затяжки он делал редкие, глубокие, подолгу не выпуская дым изо рта. Я терпеливо ждал продолжения рассказа, боясь неосторожным движением, не только словом, нарушить размышления человека, который и сейчас находился во власти горьких мыслей.

— Спустя еще некоторое время, я опять за свое. А она и бровью не повела. Безразлично выслушала меня и говорит:

— Я на ферме еле управляюсь.

А кто ей велел еще и телят выхаживать? Тут бабы от коров воют, а этой все мало. Зиму я с ней переговоры вел. На своем она встала. «Погоди да погоди». Чего же годить-то? Дом у меня под железной крышей, скотины полон двор, деньги имеются. Опять же на работе у меня продвижение — главным в центральную бухгалтерию назначили. Уговоры мои, что глухому колокольный звон. И тут бабка Лукерья, двоюродная сестра моей покойной матери, присоветовала мне поговорить с бабами, чтобы те на Татьяну влияние оказали.

Дело, чуете, как далеко зашло. Стали ей те бабы в пример других вдовых ставить, которые опять же замуж повыходили. Татьяна и им пословицу: «Поневоле, мол, заяц бежит, когда лететь не на чем». Призадумался я над той мудростью. И вижу, что смысл тут есть: у других-то хвосты, а у нее крылья свободные. Вот она и кружится в небесах.

Весной в Крым я поехал. Захожу перед дорогой к ней, прошу: переходи ко мне. «Приедешь,— отвечает,— тогда решим окончательно». Следить за хозяйством обещание дала, сынишку к себе взяла. Муторно, конечно, на сердце у меня, а все-таки надежды не теряю.



Из Крыма я ей письмо послал. Описал все обстоятельно: что к чему и почем.

— Вы что же, по хозяйственным делам туда ездили? — перебил я Федора.

— Зачем. В санаторий, лечиться. Да лучше б век мне этого Крыма не видать.

— Почему же так?

— Потому что из-за него у меня одни неприятности. Все с письма началось. Не ответила она на него. Я второе пишу, третье вдогонку, а от нее ни строчки. И чем я не угодил ей, чем обидел ее, по сей день не знаю.

— Да что же такого вы написали? — спросил я.

Гость, очевидно, ожидал этого вопроса, потому что он с несвойственной ему поспешностью ответил:

— Многим рассказывал, да все только плечами пожимают. Послушайте вы, может, поймете, посоветуете. Ну, первое дело, сообщил ей, как доехал. Из Симферополя до санатория везли нас автобусом, заплатил я за билет три рублика 60 копеечек. На досуге вечерком подсчитал: выходит, что они берут 6 копеек за километр, а у нас по три обходится. Вот об этом сообщил Татьяне... Места в Крыму чудесные, райские прямо. Но питание, я вам скажу, не ахти какое было. А ведь колхоз за путевку заплатил почти двести рублей. На эти денежки дома я как сыр в масле катался бы...

— Но ведь там медицинское обслуживание, лечение,— перебил я рассказчика.

— Какое там лечение,— усмехнулся бухгалтер.— Одна аэротерапия... А фрукты, позвольте вам заметить, у нас в сентябре дешевле бывают. Так что я их там почти и не кушал... Была у Татьяны думка, шаль пуховую иметь. У нас бабка Евдокимовна такие вяжет: в руку возьмешь, будто пушинку держишь. Да больно цену высокую старуха заламывает. Пошли мы с ней к Евдокимовне, поторговались. Старуха ни толики не уступает, а я думаю: зачем деньги сорить, они ведь на дороге не валяются.

Говорю Татьяне: погоди малость, я тебе не хуже этой подарю. И тут в Крыму случай мне представился. В воскресенье в подарочном шаль я купил. Она, конечно, не ровня бабкиной, нитка бумажная в ней проходит, но зато в два раза дешевле... И об этом я ей написал. Жди, мол, привезу я тебе подарочек. Думал, обрадую ее, а получилось... Как вернулся — к ней бегом. Она, видать по всему, ждала: письма, подарки на столе заранее приготовленные лежали. Ну, здрасьте-здрасьте, как живете-можете? «Как бог на душу положит». Тут у меня внутри все захолонуло. Решил я, что записалась она в какую-нибудь секту. Сами понимаете, мне при моем положении на сектантке жениться не резон. Но напрасно я переживал... Это у нее по недоумению с языка сорвалось. Тут я спроси: зачем, мол, все это на стол выложила? «Чтоб забрал обратно»,— говорит. Теперь все внутри у меня закипело. Тут она возле меня села, руку на плечо мне положила и заговорила: «Нет, Федор, видно, не судьба тебе в женах меня иметь. Не серчай на меня, Федор. Только сену с огнем не улежаться». После встала, халат, подойник взяла, накинула на плечи бабкину шаль, без меня которую купила, и ушла на дойку. А я долго еще сидел и думал. И по сей день думаю...

Он замолчал. Теперь уже молчание его длилось долго. Я видел, что, рассказав мне о неразделенной любви, этот человек не почувствовал желанного облегчения; он почти беспрерывно курил папиросы. Мне даже показалось, что сейчас мое присутствие стало ему в тягость. Но он никак не решался уйти. Может быть, Федор ждал, что я посочувствую его горю, пожалею его, но единственная фраза, которую я выдавил из себя: «М-да, история с географией»,— показалась мне не только не успокоительной, но раздражающей своей очевидной пустотой.

Разговаривать нам было больше не о чем,

а поразмыслить всегда лучше наедине. Эта мысль пришла нам, наверное, одновременно, потому что я спустился к своим поплавкам, а колхозный бухгалтер растоптал папиросу и вскинул ружье на плечо.

— Пойду,— наконец нерешительно произнес Федор. И в этом тихом глухом голосе мне послышалось и извинение за свою мимолетную слабость, и просьба если не помочь, то забыть о только что услышанном.

Через несколько минут на берегу весело потрескивал костер. В котелке варилась уха. Растянувшись на плащ-палатке, я начал, не торопясь, восстанавливать в памяти детали только что услышанного рассказа. И чем больше задумывался над исповедью бухгалтера, тем легче становилось на душе. Ведь вот бывает же так: встретишь случайно человека, поделится он с тобой горем или обидой, а ты не чувствуешь к нему ни жалости, ни уважения и поддержать тебе его не хочется, а чтобы не обиделся он на тебя за твою черствость, бездушие, произнесешь ничего не значащее: «М-да, бывает»,— и поспешишь распрощаться с ним.

Глядя на живые, бойкие язычки пламени, я старался представить себе Татьяну Слободкину, которая предпочла свою одинокую мазанку дому под железной крышей.

1966 г.

ПОСЛАНИЕ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ

Командир дивизиона для особых поручений Дундич не удивился, что ни свет ни заря его вызвали в штаб корпуса. В огромной комнате дворянского особняка на длинном дубовом полированном столе была разложена похожая на простыню карта Южного фронта. Над ней склонились комкор Буденный и начальник

штаба Зотов, о чем-то оживленно разговаривая.

Дундич щелкнул шпорами и поднес руку к папахе, но Семен Михайлович опередил доклад, подойдя к своему любимцу и протянув ему широкую жесткую ладонь.

— Слыхал, Ванюша,— заговорил он, подводя Дундича к столу,— соседи наши перешли в наступление. Уборевич взял Орел! — Буденный протянул прокуренный указательный палец к жирному кружку, правее которого было написано «Орел».— Теперь дело за нами.

— Идем на Воронеж! — догадался Дундич.— Готов хоть сейчас.

— Точно, идем, но пока не все.— Семен Михайлович пошевелил пышными усами, испытующе глядя на начальника штаба.

Степан Андреевич кивнул, как бы говоря: не томи парня.

— Можешь ты съездить в гости к моему старинному знакомцу генералу Шкуро?

Дундич снова уловил на себе выжидательно-озорной взгляд. «Испытывает? Или шутит?» — подумал Иван Антонович, но, стараясь попасть в тон командиру, ответил:

— Зачем так издалека, Семен Михайлович?

— Э, брат,— цокнул губами комкор,— тут мне поспешность не нужна. Нужна твоя высокая сознательность. Я же тебя не в дивизию генерала Покровского хочу послать, а к самому волку в пасть.

— Какой он волк?! — вставил реплику Зотов.— Овца в волчьей шкуре.

— Ну, не скажи, Степан,— серьезно возразил Буденный.— Вспомни его рейд по нашим тылам. А его телеграмму из Харькова помнишь?

— Забыть такое? — очевидно, действительно вспомнив страшные недели шкуровского рейда по тылам Красной Армии и его телеграмму в штаб Деникина, состоявшую из одного слова «Крошу», посуровел Зотов.— Век не забуду, какой урон нанес нам этот бандит.

— Ну, то-то.

Дундич тоже помнил прорыв белых севернее Царицына. Тогда тысячи его братьев — сербов, хорватов, черногорцев были зарублены, захваченные врасплох на Медведице. С той поры он питал особую ненависть к белоказачьему генералу и искал случая схватиться с ним в открытом бою. Но такого случая не представилось до сих пор. А вот теперь командир корпуса спрашивает, может ли он съездить в гости к Шкуро.

— В качестве парламентера? — стараясь разгадать замысел Буденного, спросил Дундич.

— Можно и так считать. Но без белого флага.

— Не томи парня, Михалыч,— снова встрял в разговор Зотов.

Буденный уселся на край стола, закурил и взял большой пакет.

— Хочу я честно предупредить того бандюгу, что иду на Воронеж и чтобы он приготовился к встрече красной кавалерии.

Это было неожиданно даже для такого отчаянного воина, как Дундич. Он знал, что в истории имели место подобные жесты со стороны великих полководцев, например, Дария, который при наступлении направлял в стан неприятеля своего вестового с запиской в три слова «Иду на вы». Что ж, если Буденный решился на такое письмо, значит, он крепко верит в успех операции. И, конечно, Дундич сделает все, от него зависящее, чтобы обеспечить победу.

— Давайте пакет,— потянулся он к командующему.— Доставлю точно по адресу.

— Знаешь, где находится у них штаб?

— Язык до моря доведет.

— На Большой Дворянской, в гостинице «Бристоль»,— дал справку Зотов и попросил Буденного: — Прочтем ему?

— На, читай,— разрешил Семен Михайлович.

Степан Андреевич извлек из плотного конверта лист гербовой бумаги, развернул его и, пригласив Дундича сесть, прочитал:

«Его превосходительству генерал-лейтенанту А. Г. Шкуро. Завтра мною будет взят Воронеж. Обязываю все контрреволюционные силы построить на площади Круглых рядов. Парад буду принимать я. Командовать парадом приказываю тебе, белогвардейский ублюдок. После парада ты за все свои злодеяния, за кровь и слезы рабочих и крестьян будешь повешен на телеграфном столбе там же, на площади Круглых рядов. А если тебе память отшибло, то напоминаю: это там, где ты, кровавый головорез, вешал и расстреливал трудящихся и красных бойцов. Мой приказ объявить всему личному составу воронежского белогвардейского гарнизона. Буденный».

— Ну, как? — не без гордости за сочиненное письмо полюбопытствовал Семен Михайлович.

— Красота! — пружинисто поднялся со стула Дундич.— Надо срочно везти.

— Надо,— согласился Буденный, останавливаясь около Дундича.— Помни, Ваня, в самое логово едешь, будь предельно осторожен. Ни в какие авантюры не ввязывайся. На первой же заставе передай пакет и аллюром назад.

— Как на заставе? — опешил Дундич.— Приказано лично. Для чего же адрес дан?

— Ну-ну, горячая головушка,— усмехнулся Зотов.— Он и впрямь собрался предстать лично перед Шкуро́й. Ты ему внуши, товарищ Буденный, пусть ваньку не валяет, иначе вся обедня кобыле под хвост попадет.

— Смотри по обстановке,— рассудительно заметил Буденный,— но голову не теряй. Она теперь не тебе одному принадлежит, но и Марусе.

— Спасибо за совет,— поблагодарил Дундич, тронутый отеческой заботой комкора, который оказался хорошим тамадой на их свадь-

бе, веселым балагуром, лихим плясуном и отличным гармонистом.

— И пакет доставлю, и голову принесу обратно.

— Чин выбирай посолиднее,— посоветовал Зотов.

— Здесь все будет чин чином,— отшутился Дундич.

— Ступай, наряжайся, бери личную охрану и заходи за пакетом.

Выехали после завтрака. Лесной просекой прошли версты три, прежде чем заметили на косогоре сияющий шлем большой церкви. Сверились по карте. Рамонь. От нее до города шесть верст. Здесь, по данным разведки, расположен узел связи дивизии. Все, вроде, честь по чести. Ни дать ни взять сидят в седлах гусары. Хоть сейчас на парад. С такими не то что к Шкуро, к самому Деникину можно пожаловать.

— Урядник Шпитальный, ко мне, остальные идут метров на десять. Стрелять только по моей команде. А в случае чего, действовать по обстановке...

Ехали смело, с разговорами, шутками, дымили папиросами, выданными интендантами корпуса специально для случая. Табак кисловатый, дым вонючий. Нет никакого сравнения с моршанской махоркой, не говоря уже о самосаде.

Возле утлого мостика через ручей остановила застава. Из палатки, замаскированной в кустах, вышел франтоватый поручик. Увидев две голубые полоски на желтых погонах, представился:

— Поручик Нуждин. Начальник караула связи.

— Красота!— восторженно воскликнул Дундич, легко соскользнув с седла.— Князь Дундадзе,— покровительственно протянул руку поручику.— Командир седьмого гусарского полка группы генерала Савельева.

— Очень рад личному знакомству,— восхи-

щенно поглядел на полковника Нуждин.— Премного наслышан о лихих гусарах вашего сиятельства.

— Виктор Захарович направляет мой полк в личное распоряжение Андрея Григорьевича.

— Это превосходно, господин полковник,— доверительно сказал начальник караула.— Нужен крепкий кулак. До вас дошли сведения: красные захватили Орел? А у нас под носом безнаказанно действуют буденновские головорезы.

— Да, дорогой друг, мне известны последние сообщения с военного театра. Как видите,— кивнул в сторону своего отряда,— даже я не решаюсь следовать один. Виктор Захарович приказал взять сторожевое охранение. Дюжину донцов-молодцов.

— Без этого теперь нельзя,— подтвердил поручик.— Может быть, вас препроводить в штаб его превосходительства, господин полковник? — с тайной надеждой в голосе спросил Нуждин.

После вчерашней пирушки у госпожи Панковой поручик страдал головной болью, а сердце съедала черная ревность: разошлись ли его собутыльники, или кое-кому подфартило и он теперь нежится в пуховых перинах Веры Васильевны. А тут такой удобный случай. Вместе с этим легендарным полковником он легко доберется до Дворянской, а там до особняка Панковой один переулок.

— Я хотел бы связаться с его превосходительством по телефону, уточнить маршрут своего полка,— ответил Дундич.— А тогда отправлюсь в «Бристоль».

— Сейчас обеспечу вам связь,— привычно щелкнул каблуками поручик, скрываясь в палатке.

Дундич выразительно глянул на своих товарищей. Этот взгляд лучше слов говорил: будьте готовы ко всему. Хотя поручик не потребовал документов, даже не поинтересовался, откуда следует полковник с охранением,

Дундича насторожило его заинтересованное предложение сопровождать отряд до штаба Шкуро. Может, поручик, уйдя в палатку, сообщает своему командованию о появлении группы? Дундич стремительно направился к палатке. Поручик растерянно держал трубку полевого телефона над аппаратом.

— Вот досада,— отчаяние сквозило в голове молодого офицера.— Телефон не работает.— Свинцов! — крикнул он, не поворачивая головы.— Пошли проверить линию!

— Слушаюсь, ваше благородие,— звонко ответили снаружи.

Поручик, торопливо надевая шинель, извинился перед полковником:

— Думаю, ждать нет резона, ваше сиятельство. Я провожу вас в штаб узла связи. Оттуда легче соединиться с Андреем Григорьевичем.

Снова в душе поручика слабо затлела надежда на скорый марш в Воронеж, на встречу с обворожительной Верой Васильевной. А в душе Дундича еще раз шевельнулось подозрение: очень уж настойчиво предлагает себя в проводники этот франт. Неужели что-то заподозрил и теперь хочет лично передать полковника в руки генерала?

— А как же караул, дорогой друг? — с очаровательной улыбкой предостерег он Нуждина.

— Разрешите откровенно, ваше сиятельство? — умоляюще глянул поручик в настороженные глаза полковника. Тот кивнул и, достав золотой портсигар, вынул папиросу, предложил Нуждину. Разминая гильзу, поручик рассказал о вчерашней вечеринке в доме на Московской, двадцать один, о своих терзаниях.

Полковник слушал сочувственно. Не дав закончить исповедь, уже весело приказал одеться и быть его сопровождающим.

В помещении узла связи их встретил пожилой капитан. Узнав, в чем дело, начальник узла беспомощно развел руками:

— Телефон не работает. Очевидно, где-то

на линии диверсия. Выясняем. Могу предложить вашему благородию телеграф.

— Буду весьма признателен.

Дежуривший у аппарата унтер-офицер связался со штабом Шкуро, но оттуда ответили, что генерал занят. По его поручению вести разговор будет начальник штаба полковник Бантовский.

— Передавайте,— несколько огорчился молодой князь.— Седьмой гусарский полк группы генерала Савельева прибыл в распоряжение генерала Шкуро и ждет дальнейших приказаний.

— Карту! — обратился капитан к поручику, прочитав сообщение из Воронежа.

Нуждин взял со стола карту и, развернув, поднес полковнику.

«Держитесь южнее станции Графская, которую мы оставляем. Форсированным маршем следуйте до станции Отрожка. Ясно?» — выдавил аппарат длинную ленту, испещренную черными буквами.

— Ясно,— ответил Дундич, обдумывая, как теперь быть с пакетом. Конечно, можно передать капитану и попросить срочно доставить в штаб корпуса. Но кто знает, попадет ли письмо лично генералу или его прочтет адъютант? И вообще, мало ли что может случиться с нарочным. Надо попытаться побывать в штабе самому.

— Когда буду принят в штабе? — спросил Дундич унтер-офицера, будто тот мог самостоятельно решить вопрос.

Спустя несколько минут лента вытолкнула ответ: «Через час».

Дундич машинально взглянул на циферблат. Офицеры сделали то же самое. «Полчаса до города, полчаса назад. По дороге можно повредить телефонную линию. Рискнем»,— принял он решение и снова наклонился к телеграфисту.

— Буду сопровождении поручика Нуждина,— продиктовал Дундич.

Просветлевшее лицо поручика тут же потускнело, как только Бантовский сообщил, что ждет полковника Дундадзе одного.

Выйдя из дома, Дундич приказал адъютанту Казакову вести полк на станцию Отрожка, держась южнее Графской, а сам со Шпитальным, Середой и Князским направился в город. Когда Дундич попросил Нуждина проводить его адъютанта до лесной просеки, тот в свою очередь попросил полковника поручить одному из своих телохранителей заехать по указанному адресу и передать записку хозяйке дома. Дундич вручил послание поручика Шпитальному, и они расстались как добрые друзья.

Когда въехали в старинный парк, Дундич попросил Шпитального:

— Читай, что пишет наш дорогой друг.

— «Милая Верочка! Страдаю. Передай с подателем для меня бутылочку коньяка. Серж»,— то и дело ухмыляясь, прочитал ординарец.

— Заедем? — с надеждой спросил Князский.

— После штаба,— пообещал Дундич.

На Большой Дворянской не только не чувствовалось приближения фронта, но не было заметно вообще, что Воронеж прифронтовой город. Мелькали фаэтоны, дрожки, кареты, красочные вывески магазинов, кафе, ресторанов зазывали желающих утолить голод и жажду, огромные афиши кинематографа приглашали публику посмотреть последнюю ленту с участием несравненной Веры Холодной, праздная публика медленно фланировала по тротуарам. И если бы не группы офицеров возле штабных зданий да не редкие патрули, можно было бы подумать, что Воронеж находится вообще на невоюющей территории.

Вот и сияющая огромными голубыми окнами «Бристоль». Дундич, передав повод Шпитальному, поправил папаху, одернул бурку и, приложив руку к груди, убедился — пакет на месте, сердце стучит не громче обычного. Внешне

все выглядит нормально, но, взглянув на приятелей, заметил их необычное волнение: как-никак, а ведь к самому идет. Вдруг примет «сей минут», вскроет, прочтет — ноги не успеешь унести. Хотел что-то сказать, передумал, привычно ободряюще подмигнул. Для верности расстегнул (по забывчивости) кобуру — на всякий случай.

С необыкновенной легкостью (все-таки сильно напряжены нервы) открыл огромную дверь. Не обратив внимания на часового, шагнул в прохладную полутьму вестибюля, направился к столу под высоким зеленым торшером. Навстречу нехотя поднялся капитан с черной повязкой на рукаве. В свете торшера сверкнул серебряный череп. «Из личной охраны»,— догадался Дундич, чувствуя, как неприятный холодок пробирается к сердцу. Вот уж сколько раз встречался он с врагом один на один не в сабельной атаке, а в штабах, ресторанах, на квартирах. Казалось, пора бы привыкнуть, поверить в свои возможности. Нет, всякий раз, особенно поначалу, он волнуется больше обычного. Вот и сейчас главное — соблюсти выдержку. Не дать повода не только для подозрения, но даже для сомнения. Побольше уверенности в себе, этакой легкости в разговоре, умения ошеломить каким-нибудь пикантным пустячком, недавно происшедшим в верхах, вовремя дать понять о твоей, более чем широкой, осведомленности, а если к тому же выпадет мизерный случай и ты сумеешь рассказать новый анекдот, тебе цены не будет, особенно среди молодых.

Сколько раз Дундича выручала эта выдержка, это истинное вхождение в образ созданного его воображением человека.

— Как прикажете доложить? — вежливо, но холодно спросил капитан.

— Командир седьмой гусарской группы генерала Савельева князь Дундадзе к полковнику Бантовскому.

— Полковник только что уехал в штаб,—

так же холодно ответил капитан, а на удивленный взгляд князя добавил: — Здесь осталась резиденция его превосходительства, а штаб перебрался на Николаевскую.— Заметив, что полковник продолжает над чем-то размышлять, уже любезнее поинтересовался: — Чем еще могу быть полезен князю?

Дундич достал пакет и, глядя прямо в нагловатые глаза офицера, с оттенком легкой обиды за столь холодный прием произнес:

— Лично князю ничем, а его превосходительству Виктору Захаровичу,— положил пакет на бемское стекло, уставленное телефонами, бронзовым чернильным прибором, заваленное бумагами.— Просил вручить в собственные руки.

Капитан осмотрел конверт без подписи, без печатей, но тщательно заклеенный и сказал:

— Передам после отдыха.

Дундич легко кивнул головой и неспешно направился к двери.

«Это красота, что генерал отдыхает,— радостно думал Дундич, садясь в седло.— Значит, у нас есть время посетить полковника Бантовского и уточнить с ним позиции гусарского полка».

Без особого труда они отыскали штаб, и через несколько минут формальностей молодой полковник был принят начальником штаба. В квадратном кабинете со сдвинутыми штофными портьерами кроме Бантовского возле камина за журнальным столиком в портшезах сидели еще два офицера. Язычки пламени искрились в рубиновой жидкости бокалов. В комнате пахло сигаретами и вином. Дундич аппетитно потянул воздух.

— Прошу, князь,— любезно пригласил Бантовский.— «Мускат», «Бордо»?

— Предпочитаю «Цинандали»,— отшутился полковник.— Печень пошаливает. В следующий раз непременно составлю вам компанию. А сейчас долг службы. Разрешите уточнить позицию, господин полковник.

— Жаль,— скривил пухлые губы Бантовский.— Вот здесь, восточнее поселка, справа от полка Семенова.

Пока Бантовский водил кончиком карандаша по карте, Дундич наметанным глазом успел зафиксировать жирные линии соединений и частей, расположенных вокруг Воронежа.

Бросив карандаш, полковник протянул руку.

— Желаю удачи.

— Благодарю, господин полковник.

Когда они снова появились на Большой Дворянской, Князский напомнил о записке поручика.

— Можно,— согласился Дундич.— Пока его превосходительство отдыхают, штабисты пьют вино, мы закусываем.

Конечно, они могли без промедлений покинуть город, но Ивану Антоновичу очень хотелось самому узнать, какое впечатление произведет послание. Он верил, что, ознакомившись с приказом красного командира, Шкуро потребует от своих головорезов разыскать наглецов, доставивших пакет. И тогда они, вдосталь насладившись погоней за призраками, уедут знакомой дорогой в расположение своего корпуса. «А если генерал проглотит пилюлю? — вдруг встревожился Дундич.— Тогда надо еще что-то придумать, чтобы всколыхнуть это волчье логово. Что-нибудь придумаем».

Не успел Дундич с товарищами закончить поздний обед за обильным столом хлебосольной подруги Нуждина, как затрещал телефон. Вера Васильевна, подняв трубку к маленькому розовому уху, едва не выронила ее. Она стояла бледная, с удивленно-испуганными глазами, а вздрагивающие губы шептали:

— Господи! Ужас какой!

— Что вас так обеспокоило? — поднялся Дундич.

— Красные в городе! — шепотом произнесла хозяйка.

— Это недоразумение,— попытался успокоить ее Иван Антонович.

Но Панкова, еще больше бледнея, шептала:

— Нет, нет. Мне сообщили из штаба. Они вручили его превосходительству ультиматум! Только вчера генерал говорил, что он здесь навечно...

Дундич повернул ликующее лицо к товарищам. Вот оно, началось то, чего ждал, ради чего рискует своей жизнью. Оправдалась надежда. Нужно спешить, увидеть своими глазами в глазах врагов страх.

— Извините, очаровательная, долг службы. Господа, за мной!

Теперь Большая Дворянская и прилегающие к ней улицы были совсем не похожи на те, что видели они днем. Как ветром сдуло с тротуаров праздную публику, куда-то стремительнее летели конные упряжки, мостовая гудела от цокота копыт. На углах стояли патрульные.

Не раздумывая, Дундич пристроился в хвост колонне всадников в черных шинелях. «Красные! Красные!» — доносилось до ушей Дундича с разных концов. Где-то в противоположном конце улицы раздались винтовочные выстрелы. Колонна перешла на галоп.

На перекрестке с Николаевской Дундич отделился от белоказаков и устремился к старинному особняку с внушительной колоннадой высокого портика. Вот и те окна, сквозь зашторенные портьеры которых едва пробиваются призрачные полоски света.

— Давай,— скомандовал Дундич Середе, показывая на окна второго этажа.

Боец ловко выбросил руку выше головы, и почти тотчас раздался треск разбитого стекла и грохот взорвавшейся гранаты.

— Красные! — в отчаянии кричали за спиной Дундича.

И он, поддавшись всеобщему настроению, уже радостно, истошно завопил:

— Красные! Красные в городе!

Свернув в боковую аллею, четверка перевела коней на размашистую рысцу и, слушая крики и редкие выстрелы, направилась к Ра-

мони, но теперь уже не большаком, а лесными тропами, чтобы миновать знакомый кордон.

— Жалко поручика,— посочувствовал Князский, когда церковная колокольня спряталась за косогором.— Ждет, небось, сердечный, коньячок-то.

— Да, забыли захватить презент,— согласился Дундич.

Князский опустил руку в сумку и протянул Дундичу темную бутылку. А шустрый ординарец уже держал стакан.

— За здоровье князя Дундадзе? — спросил Князский, откупоривая бутылку.

— К черту князя,— задумчиво произнес Иван Антонович.— За наш успех, товарищи!

1977 г.

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ

Город жил напряженными буднями. Отброшенные на несколько километров части генерала Краснова готовились к новому штурму. Командование фронтом принимало все меры к длительной, прочной обороне. Шла всеобщая мобилизация, нетрудовые элементы были брошены на рытье траншей, на восстановление железнодорожных линий, на расчистку улиц от завалов. С утра до позднего вечера на плацу, на полигоне шли учения молодых бойцов.

Краснов готов был в любой день и час начать наступление на город, но главнокомандующий Добровольческой армией требовал от своих сподвижников особой тщательности в подготовке операции. Потерпев поражение в летней кампании, он, взяв Царицын, собирался превратить его в плацдарм, с которого можно было бы шагнуть на Москву. Возлагая надежды на Войско Донское, генерал Деникин понимал, что без создания крепких массовых контрреволюционных ячеек в городе его планы могут остаться благими намерениями.

Вот почему в эти дни из белогвардейского штаба в Царицын, прилегающие к нему станицы, хутора уходили переодетые офицеры. Им вменялось в обязанность создавать в тылу красных боевые дружины, диверсионные группы...

От задержанных диверсантов стало известно, что в Царицыне готовится мятеж. Он приурочен к началу наступления белогвардейцев. Точная дата наступления пока оставалась неизвестной. Оно могло начаться в любой день. Необходимо было спешно выявить и обезвредить гнезда контрреволюции. Чекисты разбросали своих людей по известным явкам, взяли под наблюдение дома оставшихся в городе купцов, заводчиков, офицеров, злачные заведения. Но враг тщательно маскировался, усилия сотрудников особого отдела оказались тщетными.

В эти тревожные дни начальник отдела пригласил к себе несколько девушек. Была среди них и Мария Казанская. Хрупкая, миловидная, с большими глазами и высокой шапкой каштановых волос, она совсем не была похожа на человека железной воли, необыкновенной храбрости и находчивости. Но такой ее знали в особых отделах армий. Когда направляли для выполнения важных заданий в тыл врага, верили — выполнит. Бывшая гимназистка, недурно владеющая французским и латынью, начитанная, играющая на гитаре, легко подражающая шансонеткам, умела обворожить поклонников из числа штабных офицеров.

На этот раз Марии не нужно отправляться в тыл к белым. Ей сказали, что в город пробрался небезызвестный организатор контрреволюционных мятежей и диверсий некий Финстер с группой офицеров из контрразведки Донской армии. Им поручено возглавить готовящийся мятеж. Девушек просили поселиться временно в домах, которые находились под подозрением. Они должны были выдавать се-

бя за родственников белогвардейцев, погибших в боях. Марии достался старый особняк на Астраханской улице, где проживала жена Финстера. Вела она себя очень скромно, работала в городской библиотеке. Ни в каких связях с контрой не замечена. Муж в доме пока не появлялся, но красное командование надеется, верит, что непременно должен наведаться туда.

— Выдадите себя за невесту поручика Клинского,— сказал начальник отдела, доставая из папки фотографию молодого офицера с тонкой ниточкой усов под горбатым носом. Взгляд офицера показался надменным. Ей даже почудилось, что эта надменность относится к ней, к ее роли «невесты».— Возьмите, храните как самую дорогую реликвию. Кроме нее, у вас ничего не осталось на память о любимом человеке, судьба которого вам пока неизвестна. Вот его подробная биография,— начальник отдела разгладил белый лист.— Кстати, он тоже местный, окончил реальное... Может быть, приходилось встречаться?..

Мария еще раз взглянула на фотокарточку, стараясь вспомнить это лицо. Нет, ни человека, ни его фамилии она не помнит. И ничего удивительного, даже если учились рядом. Он лет на десять старше...

— Как только вы поймете, что появился именно Финстер, немедленно найдите способ сообщить нам. В доме напротив будут ждать. Трижды зажгите и потушите свет. В любое время.

Начальник подошел к сейфу, достал несколько золотых и серебряных рублей дореволюционной чеканки, перстни с набором драгоценных камней, медальон на изящной цепочке.

— Спрячьте понадежнее. Покажите хозяйке лишь при случае. На ваше счастье на медальоне монограмма «М. К.». Считайте вещицу фамильной реликвией.

Вечером с ордером на подселение Мария

вошла в двухэтажный дом на Астраханской улице. Хозяйка, встретив ее в темном коридоре, долго не могла понять, чего от нее хочет озябшая, усталая девушка в легком, хотя и модном демисезонном пальто.

— Два дня жила на вокзале,— с дрожью оскорбленного самолюбия сказала гостья, чувствуя, как ее обливает холод надменности полнотелой женщины.— Спасибо коменданту: направил в горсовет. Я не стесню вас,— заверила девушка хозяйку.

— Вы приезжая?

Мария охотно рассказала, что приехала из Екатеринодара по просьбе жениха. Он писал, что пятнадцатого октября они должны встретиться в освобожденном городе возле кафедрального собора. Но сегодня уже семнадцатое, а в Царицыне все еще властвуют большевики. И где искать Юрия, одному богу известно. Слова, кажется, произвели впечатление на хозяйку, Ее восковое лицо слегка оттаяло, и в круглых чуть навыкате глазах появилось что-то вроде участливости.

— Прямо не знаю, милочка, куда вас поместить. Мы с Изольдой ютимся в кабинете мужа. Остальные комнаты не отапливаются. Ваш милый горсовет забрал почти все дрова для своих штабов и госпиталей.

Она замолчала, прикидывая что-то в уме. Мария, глядя на нее умоляющими глазами, не теряя достоинства, глубоко вздохнула.

— Всем теперь тяжело, милочка,— ответила на ее вздох хозяйка,— эти огорчительные перемены коснулись не только нас.

— Понимаю,— чувство отчаяния все больше овладевало девушкой.— И для чего он звал, если не был уверен в своей судьбе? И вот я здесь. Без угла, без работы, без средств. А он... Я даже представить не могу, где он теперь?

— Как вы назвали жениха? — спросила женщина, словно пытаясь восстановить что-то в памяти, хотя Мария не назвала фамилии

«суженого». Это была тактическая уловка хозяйки. Мария легко ее разгадала. Более чем простодушно «повторила»:

— Клинский... Юра. Юрий Васильевич.

Теперь лицо хозяйки совершенно оттаяло. На нем заиграла улыбка счастливой женщины. Счастливой своей причастностью к судьбе близкого человека. Она довольно бесцеремонно взяла пришелицу за рукав и стала увлекать в кухню, говоря:

— Я вас совсем заморозила. Здесь у нас чуть-чуть теплее. Пойдемте посмотрим вашу комнату.

Бледное лицо девушки преобразилось. Радость ее была беспредельна. Слезы отчаяния, только что сверкавшие в уголках глаз, сменились слезами искренней признательности. Мария чувствовала, как внутри у нее спало, точно с горы свалилось, тягостное напряжение подозрительности и зародилось чувство крошечной надежды.

— Могу предложить вам детскую,— сказала хозяйка, останавливаясь возле первой за кухней двери.— Здесь немножко теплее, чем во всех других.

Казанская вошла в небольшую комнату, где никаких следов недавнего пребывания детей не заметила. Сиротливо стояла односпальная деревянная кровать, справа от окна темнел секретер, в углу приткнулся небольшой столик, заваленный книгами, журналами, газетами. Два венских стула дополняли меблировку. Было видно, что в комнате давно никто не жил, и, кажется, с тех пор помещение не только не убирали, но даже не проветривали.

Маша широко открыла рот, выдохнула воздух и заметила легкие клубочки пара возле своего лица. Это было страшнее неприбранности, но спорить с хозяйкой не хотелось. Думала, что больше двух-трех дней здесь жить не придется.

— Можно, я прилягу? — спросила Казанская, надеясь поскорее освободиться от при-

сутствия назойливой женщины. Та согласно махнула рукой.

— Конечно, милочка. Я принесу вам тулуп Захара. А вечером вместе с Изольдой мы подумаем о вашей дальнейшей судьбе...

— Я вам так признательна за бескорыстную заботу, что не знаю, смогу ли когда-нибудь достойно отблагодарить.

— Ну, какие могут быть счеты,— польщенная словами квартирантки, пропела хозяйка.— Не смею вам дольше докучать.

Не поворачиваясь, она спиной открыла дверь и вышла из комнаты. Девушка сняла пальто, сбросила осенние ботинки на байковой подкладке и легла, свернувшись калачиком. Хотелось осмыслить все, что произошло, покопаться в себе дотошно, попытаться трезво оценить свое поведение — не дала ли повода для подозрения, не переиграла ли? Вглядываясь мысленно в лицо хозяйки, пыталась вспомнить все оттенки реакции на свою исповедь. Даже мелкая дрожь пробила, когда в голове заронилась мысль: вдруг мадам лично знала Клинского и тот показывал ей фотографию настоящей невесты...

За дверью раздались негромкие шаги, скрипнули проржавевшие петли. Не изменяя позы, Казанская крепче зажмурила глаза. Ощутила на себе тяжесть овчинного тулупа и скоро забылась чутким сном.

Когда за окнами смеркалось, в комнату настойчиво постучали. Открыв глаза, первые секунды Мария не сразу сообразила, где она, но, вспомнив свое «вселение», решила не спешить с приглашением. Она была уверена, что хозяйка пришла не одна, но и не с «ним». Не могла Казанская допустить мысли, что так скоро завоевала безупречное доверие в этом большом пустом холодном доме. «А вдруг?..»— подумала девушка, чувствуя, как жар опалил ее всю. Она сбросила тулуп и устремилась к окну: действительно ли в доме напротив ждут ее условного сигнала? Показалось —

там пустота. Значит, придется действовать в одиночку. Неслышно добежала до постели, села и на очередной стук в дверь сонно сказала:

— Войдите.

Сначала показался огонек свечи, поднятой над головой (вчера произошел взрыв на электростанции), затем в проеме выросли две женские фигуры.

— Отдохнули? — спросила хозяйка, направляясь к кровати.— Пока вы спали, мы с Изей думали, куда вас определить на службу,— говорила она, ставя канделябр на край столика. Ее спутница, высокая, стройная молодая женщина, испытующе разглядывала квартирантку, которая после короткого сна не могла взять в толк, что от нее хотят: такой рассеянный был взгляд у девушки. Кутаясь в пуховые шали, женщины сели напротив Казанской.

Маша почувствовала, что с приходом Изольды в комнате запахло карболкой, йодом и еще чем-то больничным. Ей был хорошо знаком этот специфический запах, она запомнила его на всю жизнь с тех пор, как в шестнадцатом году пошла в госпиталь помогать раненым на германском и австрийском фронтах.

— Я вам очень признательна за заботу,— ответила она, обращаясь к Изольде, хотя та не произнесла пока ни слова.— Но я не знаю, где могу быть полезна.

— Конечно же, не в библиотеке,— категорически заявила хозяйка.— Книги сегодня никому не нужны.

— Но не идти же ей в грузчики, Наталья Сергеевна,— возразила Изольда.— Может быть, машинисткой? — спросила она, наклонившись к растерянной квартирантке.

— К сожалению, не умею,— виновато улыбнулась Маша.

— Жаль. Машинистки нужны всюду, даже в штабе фронта, а там хороший паек.

— Я же говорила: самый лучший вариант — в госпиталь,— настойчиво произнесла хозяйка,

очевидно, продолжая ранее начатый разговор.

— Судна выносить за товарищами,— презрительно скривила полные губы Изольда,— портянки стирать.

Поддаваясь ее настроению, Казанская тоже презрительно передернула плечами. Но тем не менее она понимала, что госпиталь — наиболее благоприятный вариант ее трудоустройства, поэтому сказала:

— Не обязательно же санитаркой. Может быть, в перевязочную.

— Там не такие от крови и гноя в обморок падают.

— Тогда не знаю,— безучастно проговорила девушка.— Наверное, мне лучше уехать к маме.

— Куда, куда? — вскинула густые брови Изольда.

— Я тебе говорила, что Машенька приехала из Екатеринодара.

— Как это вам удалось? — не скрывая подозрения, полюбопытствовала Изольда.

— Очень просто,— наивно уставилась на нее квартирантка.— Мы благополучно доехали почти до Сарепты, а дальше пошли пешком.

— И красные дозоры вас не задержали?

— Останавливали. Но я ведь местная. Мы жили в Отраде. Папа был управляющим имения генерала Бекетова. Я показывала документы, говорила, что возвращаюсь домой. И меня пропускали.

— А почему же вы попали в центр? — еще больше насторожилась Изольда.

— Папа погиб. Имение разграбили, дом наш сожгли. Думала пожить у кого-нибудь из подруг. Представьте — ни одной не оказалось на месте. Если бы не это легкомысленное письмо Юрия...— Маша часто заморгала ресницами.

— Ну-ну, успокойтесь, милочка,— погладила ее, как маленькую, Наталья Сергеевна. Она поднялась, взяла со столика канделябр и сказала: — Пойдемте в кухню. Чайку попьем и продолжим разговор. Ехать вам никуда не

надо,— обратилась она к постоялице.— Подождем еще немного. Может быть, бог даст, скоро вы встретитесь с господином Клинским.

Из этой реплики Маша поняла, что хозяйка что-то знает о готовящемся наступлении красновцев на город и о мятеже.

Утром они пошли в госпиталь. Изольда назвала Казанскую своей дальней родственницей, скромной девушкой и неплохой медсестрой. Комиссар госпиталя, молодой человек с пустым рукавом, затиснутым за широкий ремень, как показалось разведчице, с излишним любопытством знакомился с ее метрической выпиской, с аттестатом второй женской гимназии. Очевидно, что-то давало ему повод ворошить память. И она молила всевышнего об одном, чтобы комиссар не вспомнил, где и когда они встречались прежде. Молитва дошла до бога: комиссар протянул документы и сказал, что допускает новенькую к работе.

Вечером, за очередным чаем, Маша осторожно сказала, что работа ужасная, кормят отвратительно и ей лучше, наверное, вернуться к маме. Из разговоров она знает, что если нужному человеку дать золото, он поможет выбраться из города и уехать хоть к чертям на кулички. Дикое отчаяние сквозило в ее голосе. Она призналась, что третий день голодает, хотя у нее есть кое-что для обмена.

С этими словами достала из сумочки перстень, в тонкой оправе которого даже при тусклом огоньке свечи засверкали искры полированного рубина. Ей, конечно, жаль расставаться с такой памятной вещицей: это подарок мамы в день окончания гимназии, а вот это ей торжественно преподнес папа. Она расстегнула воротник платья, и на изящной цепочке закачался овальный медальон с вычурной вязью монограммы «МК». Маша заметила, как вначале завистью наполнились глаза женщин, а затем она увидела в их взглядах, которыми они мимолетно обменялись, заинтересованное соучастие. Она не сомневалась, что

Изольда после суточного испытания недоверием теперь смотрит на нее если не как на сообщницу, то и не как на подсадную утку, приведенную в их дом чекистами. Эту перемену она почувствовала по предложенной услуге.

— Я помогу вам. У меня есть знакомый каптенармус. Он может и вывезти вас из города, и снабдить продуктами...

— Стоит ли подвергать опасности Константина,— предостерегла Изольду от скоротечного решения Наталья Сергеевна.— Думаю, лучше попросить Федора,— она выразительно глянула на родственницу.

— Пожалуй. Кстати, он сегодня или завтра возвращается из рейса.

Оставшись наедине, Маша снова перебирала в памяти разговор. Недомолвки женщин, их переглядки говорили о том, что они приняли квартирантку за даму своего круга. Но, кем-то направляемые, пока еще боятся с полной откровенностью доверить ей семейные, а может быть, не только семейные тайны. Ни одной фамилии пока названо не было. Каптенармус Константин и, очевидно, железнодорожник Федор. Кто они? Диверсанты или мелкие спекулянты, мешочники? О муже Натальи Сергеевны не произнесено ни звука, точно его не существует в природе. И все же каким-то интуитивным чувством Казанская ощутила, что недаром тратит время, что-то должно случиться именно здесь.

Она подошла к окну. В доме напротив, казалось, вообще никто не живет: форточки наглухо закрыты, даже в глубине комнат не видно света. Кому же она должна давать сигнал в случае чего? Темная, пустынная Астраханская улица пугала своей настороженностью. Казалось, за каждой калиткой тебя подкарауливает беда. Шаги редких прохожих громом троянской колесницы оглушали обывателя. Вот в сторону Астраханского моста прошагал патруль. Один из бойцов глянул, может, только показалось, именно на окно,



возле которого стояла Мария. «Значит, я не одна»,— почти с детской наивностью решила она, забираясь под тулуп.

Спала чутко, как полевая мышь в страдную пору. Но никаких шорохов, тем более мужских шагов, голосов в эту ночь не услышала.

Лишь на следующие сутки в полночь осторожно, а потому и протяжно проскрипели петли черного хода. Если бы это был кто-то из женщин, как уже успела заметить Маша, дверь скрипнула бы коротко и резко: они выходили во двор и возвращались торопливо, не опасаясь ничего, кроме проникновения лишнего холода в комнаты. Она проснулась именно от этой осторожности, от натренированных, с носка на пятку, шагов, от короткого и радостного возгласа:

— Боже мой, наконец-то!

Первым желанием было подняться, подбежать к окну, дать сигнал своему. Но она подавила его в себе. Во-первых, нужно быть точно убежденной, что явился именно «он», а во-вторых, чтобы с той стороны улицы обратили внимание на окно ее комнаты, она должна была зажечь лампу или свечу. Но свет могут прежде увидеть в коридоре (она проверяла — из щели под дверью сильно пробиваются блики) и поинтересоваться причиной столь неурочного пробуждения. Так логика подавила в душе молодой разведчицы эмоциональный порыв и заставила Марию, не сомкнув глаз, лежать и слушать осторожные шаги, редкие, полушепотом произнесенные фразы где-то в зале за плотно прикрытыми дверями. Она отлично понимала, что если даже ей выпала огромная удача, не будет же он вести с женой и племянницей разговоры о своих посещениях явок, о готовности к мятежу, о главарях подполья и не будет же он в такой час давать задание женщинам: сходить туда-то, пригласить того-то.

Утром, когда Мария плескала на воспаленное лицо холодную воду из умывальника, На-

талья Сергеевна, вдруг помолодевшая и похорошевшая, с оригинальной укладкой смолянистых волос, необыкновенно нежно произнесла: «С добрым утром», а на завтрак предложила краюшку белого калача и крошечный кусочек масла. Хозяйка ничего не сказала о ночном госте. Это было более чем странно. Если это Федор, о котором они говорили накануне, зачем скрывать его присутствие. А если это каптенармус, то все равно Казанская не видела особой причины молчать о нем. Она вопросительно посмотрела на открытую дверь, как бы интересуясь, почему задерживается Изольда.

— У нее жутко подскочило давление,— не без радости ответила на ее взгляд Наталья Сергеевна.— Сообщите там, пожалуйста, что Изя сегодня на службу не пойдет.

Весь день Мария думала о ночном госте и его отношении к дому, к хозяйке, к Изольде. Когда она увидела помолодевшее и даже чуть похорошевшее лицо Натальи Сергеевны, у нее не было сомнений, что в доме появился человек, близкий и дорогой ей, может быть, самый близкий из всех мужчин, но когда девушке сказали о внезапно подскочившем давлении Изольды, она засомневалась в неопровержимости первоначальной догадки. И теперь думала: имеет ли право на сообщение в чека? Тут могли быть какие угодно варианты. Первый, напрашивающийся без труда,— проверка. Пришел посыльный, переночевал, получил о ней необходимые сведения. Второй — мог приехать действительный родственник. То, что он проник в помещение не с парадного, а с черного хода, говорит о его хорошем знании дома, всех его ходов и выходов. Он мог пройти через двор, чтобы не булгачить хозяев. Третий — ночной гость пришел от мужа Натальи Сергеевны, передал ей что-то, незаметно, как появился, удалился. Любая из этих версий имела право на существование, но не давала права ей, разведчице, обнару-

жить себя преждевременным донесением. К такому заключению пришла Мария, снимая халат и прощаясь до завтра с сотрудницами хирургического отделения.

В сумерках, проходя мимо противоположного дома, она все-таки не удержалась, замедлила шаги с тайной надеждой заметить что-то нужное ей одной в окнах. Но в доме, очевидно, жили своей, далекой от ее забот и тревог жизнью: никто не взглянул, ни одна занавеска не откинулась. Марии снова предстоял вечер единоборства.

В доме было тихо, как в морге, но тепло и пахло чем-то вкусным, скорее всего тушеной бараниной, печеным тестом. От аромата у Марии даже слегка закружилась голова. Убегая от соблазна заглянуть на кухню, она на цыпочках проскользнула в свою комнату. Дверь оставила не плотно прикрытой. Не раздеваясь, присела к окну, пододвинула роман Андрея Печерского «В лесах», открыла на заложенной странице. Но читать не могла: не только буквы, строчки сливались в сплошную черноту. Свет зажигать не стала, хотя еще в полдень на электростанции ликвидировали последствия диверсии.

За дверью по-прежнему не ощущалось признаков присутствия мужчин. Это заставило еще больше насторожиться, напрячься. Хотя нужно было, просто необходимо, перейти в противоположное состояние. Умом понимала, а совладать со своими нервами не могла. Ведь ее длительное отсутствие на вечернем чае, затаенность могли быть по-своему истолкованы теми, кто находится в других комнатах. Наконец она заставила себя встать, зажечь свет.

В доме как будто только и ждали этого: в коридоре раздались шаги, и до ее слуха донеслись голоса. Как показалось Марии, они были громче и возбужденнее обычных. Хозяйка уверяла кого-то, что квартирантка только что вернулась, иначе она давно заглянула бы

в кухню. Постучав скорее для приличия, будучи уверена в разрешении, Наталья Сергеевна открыла дверь и тут же представила жиличке своего попутчика:

— Прошу познакомиться. Это Федор Федорович. Тот самый, о котором мы с Изей говорили. Думаю, вам будет интересно и полезно узнать его ближе.

В маленькую комнату шагнул высокий мужчина в кителе железнодорожника. Черная квадратная борода, высокий лоб с залысинами делали его лицо запоминающимся. Интеллигентное и в то же время холодное, как мрамор, оно не притягивало, а скорее отталкивало, а пронзительный, как удар шпаги, взгляд даже пугал поначалу.

— Федор Федорович Угрюмов,— представился гость, виноватой улыбкой как бы прося прощения за свою фамилию, подчеркивающую характер.

Маша протянула руку и тотчас ощутила крепость тренированной руки. Она знала, что такие руки принадлежат людям, не прикасающимся к черенку лопаты или кувалды. Если они имеют дело с металлом, то им может быть лишь рукоятка нагана или эфес шашки. Она обрадовалась своей маленькой удавшейся хитрости. Слабая улыбка скользнула по ее лицу. Но и она не осталась незамеченной. Чернобородый еще проницательней заглянул в глаза девушки. Чтобы обезоружить противника, Маша как можно искреннее произнесла:

— Именно таким я представляла вас.

Кустистые брови гостя вскинулись.

— Я же предупреждала тебя, Фрэд: Маша очень непосредственная,— ласково сказала хозяйка, касаясь локтя Угрюмова.— У нее что на уме, то и на языке. Не смущайтесь, милочка.

— Нам будет приятно,— заговорил гость, вкладывая в интонацию всю возможную душевную теплоту,— если вы подарите свой вечер нашему маленькому обществу.

Маша вскинула на него удивленные глаза. В них без труда проглядывались радость и настороженность: неужели он не уловил ее волнения, не того, о котором говорит хозяйка, присущего всякой, в меру воспитанной девице, а волнения, идущего от ощущения встречи с тем ловким и сильным врагом, каким представили его в отделе. Впрочем, может быть, она ошибается, и стоящий перед ней не Финстер. То, что он не имеет отношения к паровозам (ни на лице, ни на руках нет следов въевшейся угольной пыли), ей стало ясно с момента рукопожатия. Но этот факт не дает ей права считать его главным лицом готовящегося мятежа.

Видя ее замешательство, Федор Федорович легко переключился на тон старших, умудренных опытом мужчин, которым они обычно разговаривают со смазливыми, но недалекими девушками:

— Неужели вы уже обещали его другому счастливцу? Кто он, если не секрет, конечно?

— Фрэд, оставь, пожалуйста, этот тон для своих...— Хозяйка замешкалась на секунду и закончила просьбу весьма своеобразно: — Безбилетных пассажирок. Машенька девушка чистая.

— Пардон,— склонил большую голову с глубокими залысинами Угрюмов,— я вовсе не хотел вас обидеть. И не ищите в моих намеках фривольностей.

Наталья Сергеевна укоризненно взглянула на гостя, как бы говоря: «Ах, Фрэд, вечно ты проявляешь свое солдафонство», а вслух сказала с горчинкой:

— Не придавайте значения его домоганиям. Мы действительно будем рады, если вы разделите с нами семейный праздник.

— С удовольствием,— признательно посмотрела на хозяйку квартирантка.— Но позвольте мне чуть-чуть привести себя в порядок.

В это время из глубины столовой раздался призыв Изольды:

— Скоро, что ли?

— Вы и так прелестны, дитя мое,— сказала Наталья Сергеевна, протягивая к Маше полные короткие пальцы.

— Прошу вас,— предложил ей руку Федор Федорович.

Обычно закрытая, столовая была освещена не только люстрой, но и всеми настенными бра. Обилие света делало ее более просторной и высокой. Стол красного дерева манил к себе обилием посуды, очевидно, семейного сервиза, до поры до времени покоившегося в каких-то тайниках. Полная, как хозяйка, супница источала аромат наваристого куриного бульона, салатница возвышалась над скатертью пирамидой зелени, бросались в глаза краснобокие яблоки, едва умещавшиеся в вазе. Сервиз дополняли бутылки вин, названия многих из которых Мария или не знала, или успела забыть.

За столом, кроме Изольды, сидел моложавый белобрысый мужчина в кителе, на котором были видны следы погон, аксельбантов и орденских планок. При появлении хозяйки и ее спутников он поспешно поднялся и, точно в ожидании команды, застыл над столом, придавливая бледной рукой накрахмаленную салфетку.

— Константин, друг нашего дома,— сказала Изольда, глядя на Машу.— Заочно вы уже знакомы.

— Когда Изя рассказала вашу историю,— зарокотал красивым сочным баритоном военный,— я буквально обалдел. Вы, и вдруг невеста Юрия Васильевича... Как тесен мир...

Маша успела заметить, что при своем монологе Константин несколько раз бросал беглый взгляд туда, где стоял Угрюмов. Тот, очевидно, как она догадывалась, дирижировал его поведением.

Казанской ничего не оставалось, как только изобразить приятное удивление, смятение и в порыве благодарности и надежды на ско-

рую встречу буквально сорваться с места, бежать к Константину, чтобы прикоснуться к его руке.

— Где, где... он теперь? — давясь слезами радости, преданно глядела в нагловатые глаза каптенармуса эта робкая гимназистка, наивно верившая всяким россказням, если они были связаны с именем избранника сердца.

Слезы и непосредственность сыграли свою роль. Присутствующие опешили, они были потрясены ее искренностью. Даже в любительском драмкружке, когда она исполняла роль Кручининой, в трогательной сцене встречи с Галчихой, которую она вела не менее искусно, чем сейчас, на ее долю не выпадал подобный успех. Там все-таки чувствовалась сцена. Здесь была сама жизнь. Удивительно, но в жизни иногда случается играть роли, которые по эмоциональной силе воздействия стоят куда выше Офелий и Стюартов. К такому неожиданному для себя выводу пришла Мария, трепетно сжимая руку Юриного знакомца. Больше того, она вдруг почувствовала, что внутренне готова к встрече с самим Клинским.

— Успокойтесь, милочка,— обняла ее за плечи Наталья Сергеевна.— Возьмите себя в руки. Костя, это бессердечно!

— Но почему же,— снисходительно сказал Федор Федорович.— Константин действительно знал Клинского. Жаль, что он не может сообщить, где находится сегодня Юрий Васильевич. Но мы постараемся.— Угрюмов прикоснулся к голове Казанской.— Милая девочка, я постараюсь вам помочь! Ни о каком отъезде пока не может быть речи. Потерпите два-три дня. А теперь прошу всех к столу.

Маша наконец отпустила руку каптенармуса, благодарно посмотрела на Угрюмова, все еще всхлипывая, попросила разрешения на несколько минут покинуть столовую:

— Я не могу, не могу... Мне необходимо побыть наедине, прийти в себя...

— Да, да, конечно. Я понимаю,— извинила ее хозяйка, готовая уронить слезу участия.— Я сама вчера пережила нечто подобное...

Эта неосторожная фраза с новой силой побудила Марию прийти к убеждению, что один из гостей «он». Казанская считала себя вправе выйти на связного. Но как дать знать? Покинуть сейчас дом — возбудить подозрение. Зажечь свет. Но свет в подобных ситуациях не успокаивает, а, напротив, раздражает. Это может вызвать подозрение.

Она подошла к окну, прислонилась горячим лбом к холодному, как ствол винтовки, стеклу, надеясь, что напротив обратили внимание на щедрую освещенность столовой. Но дом, казалось, был нем и слеп.

Через открытую дверь в комнату ворвался поток света. Она невольно отпрянула от окна. Угрюмов шагнул к ней и вкрадчиво поинтересовался:

— Уже пришли в себя? Или попали в положение цугцванг?

Он глядел в ее глаза так, точно пытался пробраться внутрь, увидеть то, что она тщательно скрывала от всех обитателей старинного особняка. Это был наметанный взгляд разведчика, способный привести в трепет нестойкую душу, заставить ее содрогнуться. Пожалуй, лишь теперь она поверила в жестокость этого человека, о которой прежде слышала. Вся его внешняя интеллигентность не что иное, как маска. Да, теперь она знала, малейшая оплошность — и ее участь решена. Рука у него не дрогнет. И, конечно, взрыв электростанции, диверсии на железной дороге, убийство командиров — дело его рук. Но она не дрогнула, не дала повода для подозрения. Давно готовая к единоборству, она ловко продолжала играть наивность. И тем вновь обезоружила его. Теперь у Маши не было сомнения, что Угрюмов тот самый Финстер, ради которого была затеяна операция. Значит, нужно выдержать экзамен до конца.

— О чем вы, Федор Федорович? — не поняла девушка его намека.

— У меня такое чувство, что за мной следят из дома напротив,— вкрадчиво сказал Угрюмов, и у Маши внутри заледенело. «Неужели он знает? Неужели среди нас есть их человек? Неужели действительно наступил цугцванг»? Но она нашла в себе мужество, чтобы сохранить ту внешнюю наивность, которую избрала с самого начала.

— И у меня... так жутко,— доверительно прошептала девушка, не отводя взгляда от его глаз.

Наконец он добродушно усмехнулся и, положив руку на ее плечо, успокоил:

— Пока вы здесь, вам ничего не угрожает. Прошу вас,— пригласил собеседницу, заслышав звуки рояля.— Натали исполняет мой любимый вальс.

В столовой он усадил ее рядом с собой, налил себе в хрустальную рюмку водки, а ей в бокал вина.

— За исполнение желаний.

— С удовольствием.

После второй рюмки Угрюмов пригласил Машу на танец. Они вошли в гостиную, где Наталья Сергеевна сидела за роялем, а Изольда и Константин красиво вальсировали, зачарованно глядя друг на друга. От выпитого вина у Маши слегка кружилась голова, в теле появилась расслабленность, ноги почему-то плохо слушались. Осторожно и в то же время уверенно держа партнершу, Федор Федорович с затаенной завистью говорил:

— Это божественно! Это нетленно! Как бы я хотел, подобно великому Бонапарту, поставить свою фамилию на полотне Рафаэля или на партитуре Чайковского. Но, к сожалению, не дано. Я пришел в этот мир и уйду из него никому неизвестным...

— Вы писали стихи? — спросила Маша.

— Милая девочка, я делал все в своей жизни... Может быть, что-то бы свершил, но при-

шли плебеи и пытаются разрушить мой мир... наш мир. И вместо всего святого и чистого я вынужден огнем и мечом спасать свое добро... Если бы вы знали, с каким наслаждением я душу, стреляю, вешаю всех этих коммунистов и комиссаров...

При этом он снова так проницательно заглянул в девичьи глаза, что она почувствовала леденящую стрелу, пронзившую всю ее сверху донизу.

— Извините,— остановилась Маша.— Я больше не могу. Голова,— и она покрутила пальцами над прической.— И ноги не слушаются...

— Я сам, признаться, порядком утомился. Давно не танцевал.

— Спасибо вам за чудесный вечер. Я, пожалуй, пойду отдохну.

Придерживая девушку за локоть, он помог ей спуститься со второго этажа. Уже стоя перед дверью ее комнаты, по-отечески предупредил:

— Никому больше не рассказывайте, что вы приехали к жениху. По неопытности вы можете поведать свою историю чекисту, и тогда принесете несчастье своему Юрию. Я ведь тоже, подобно вашему жениху, скитаюсь, как бездомный пес... Но будем верить, что скоро нашим мытарствам наступит конец... Спокойной ночи.

Как только она осталась за закрытой дверью, сердце ее бешено заколотилось, и она чуть не запела от радости, что все ее терзания остались за чертой. «Ваши лично,— с полной уверенностью обратилась она к хозяину дома, мысленно возвращаясь в гостиную,— кончатся скорее, чем вы думаете». Хотя неведомая сила тянула девушку к окну, она, не желая больше подвергать себя,— а главное — операцию,— риску, быстро разделась и с наслаждением распласталась под пуховым одеялом, заботливо приготовленным с вечера Натальей Сергеевной. Она была уверена, что за ночь они

не раз заглянут в комнату, чтобы удостовериться в ее присутствии, и потому, к своему удивлению, быстро и крепко заснула.

Утром она проснулась от легкого стука в дверь. В проеме показалась большая голова Федора Федоровича. Он был в хорошем расположении духа. Очевидно, уже принял туалет — от него пахнуло мягким ароматом духов «Ландрина».

— Доброе утро, Машенька.

— Доброе утро.

— Ждем вас к столу,— как заботливый отец избалованную дочь, пригласил он Казанскую в столовую.

«Не ушел, не ушел,— пело ее сердце,— значит, поверил, надо спешить».

За чашкой чая он спросил, правда ли, что она готова продать фамильные ценности. Она подтвердила. С тяжелым вздохом он протянул к ней ладонь, ожидая, что она сейчас же положит на нее колье или перстень. Рука ее потянулась к вороту платья, но тут же, смутившись, девушка попросила разрешения выйти на минуту.

— Не спешите расстаться с такими дорогими реликвиями,— посоветовал Угрюмов, удерживая ее на месте.— Поживите пока у нас так, а позже мы сочтемся. Ведь мы свои же люди.

— Конечно, конечно,— поддержала его Наталья Сергеевна.— Не спешите, Машенька.

Странное дело, это участие вдруг напрягло ее нервы, спазмы сдавили горло, и она с трудом проглотила кусок бутерброда. Второй уже совсем застрял во рту. Она извинилась, сославшись на головную боль.

— Вам нужно полежать,— позаботилась о ней хозяйка.

— Лучше я выйду на улицу,— сказала Маша, поднимаясь и вопросительно глядя на Изольду.

— Да, я сейчас. Одеваюсь.

Не чуя ног, Казанская подошла к вешалке,

надела пальто и очутилась на крыльце. Бодрящий ветерок остудил воспаленное лицо. Она несколько раз глубоко вздохнула, все еще с надеждой глядя на противостоящий дом. Но ее призывы и мольбы были тщетны. Очевидно, что-то случилось с явкой. Может быть, провалилась. Может быть, Угрюмов уже знал об этом, когда застал ее возле окна? Она была уверена, что он следит за ней. Куда она пойдет, каким шагом, какое выражение будет на ее лице?

Эти детали очень важны. По каждой из них можно определить довольно точно состояние человека. И, конечно же, Изольда задерживается умышленно. Нет, господа, она не даст вам повода подозревать ее в связях с чекистами. Постукивая каблучками ботинок, Маша терпеливо ждала «подругу». Наконец та вышла, кутая лицо в мохеровую шаль. Она молча подхватила квартирантку под руку и буквально потащила ее с крыльца.

В госпитале Маша, улучив минуту, зашла к комиссару.

— Я сотрудник особого отдела Казанская. Мне необходимо срочно позвонить.

— Давай, звони,— охотно подвинул он аппарат.— То-то я в первую встречу подумал... Слушай,— засиял комиссар от собственной находчивости.— Может, тебе лучше лично туда поехать. А то вдруг подслушают...

— Это мысль,— согласилась Маша.— Пошлите нас с Изольдой за ранеными в губчека.

— Она тоже из наших? — удивленно уставился на девушку комиссар.

— Она из них.

— Вот стерва,— грохнул кулаком по столу однорукий.— Так я и чуял.

Скоро от центрального подъезда госпиталя отъехал автофургон с большими красными крестами на бортах, а через полчаса двухэтажный дом на Астраханской был оцеплен сотрудниками особого отдела чека. Но, увы, Угрюмова там уже не было.

Доставленная в отдел Наталья Сергеевна на вопросы о местонахождении мужа твердила одно и то же:

— С тех пор, как он выехал из Царицына, известий о нем не имею.

Изольда держалась высокомерно до наглости.

— Зря время теряете, гражданин начальник,— безапелляционно заявила она, даже не присев на предложенный стул.— У нас с хозяйкой был заключен джентльменский договор: меня не интересуют ее гости, ее — мои...

— Но она же ваша тетя.

— Такая же, как Луи-Филипп ваш дядя.

На повторном допросе, когда ей сказали, кто эти дни жил с ними под одной крышей, Изольда даже оскорбилась, точно знала об этом прежде чекистов. Повторив, что ее никогда не волновали гости хозяйки, она потребовала своего немедленного освобождения или листа бумаги для подачи протеста советскому прокурору.

— Бумагу мы вам дадим,— пообещал начальник отдела.— Через сутки. Но имейте в виду, гражданочка, к этому времени господин Угрюмов будет здесь. И нам не понадобятся ваши показания. Так что идите и хорошенько подумайте, прежде чем написать «во первых строках»...

Когда смерклось, в отдел доставили старика в железнодорожной форме, который «случайно» зашел в дом Угрюмовых, перепутав его с соседним. Но так как его уличили в незнании даже фамилии соседа, он, утирая скупые слезы, признался, что послан начальником узнать, может ли Угрюмов прийти в свой дом.

Через полчаса доставили второго связного, еще через полчаса — третьего. Это была девочка-подросток, разносчица телеграмм. Все они клялись, что хозяина дома никогда в глаза не видели и где он находится в сию минуту, не знают. Но посылал их один и тот же че-

ловек — помощник начальника станции. Выехавшие за ним сотрудники не обнаружили его ни на станции, ни дома. Операция оказалась под угрозой срыва. Снова пришлось вызвать на допрос хозяйку. Когда она обессиленно опустилась на стул, в кабинет вошла Маша. Наталья Сергеевна с ужасом посмотрела на девушку и спросила:

— И вас не пощадили?

— Знакомьтесь,— представил ее следователь,— Мария Николаевна Казанская, сотрудник особого отдела.

Он еще не договорил до конца фразу, а хозяйка с онемевшим от ужаса лицом и оловянными глазами, готовыми вылезти из орбит, грузно опустилась со стула, теряя сознание.

Когда ее привели в чувство, она, глядя в угол кабинета, сказала:

— Боже, если и ты на их стороне, я покоряюсь воле твоей.

И она попросила записать свое признание. Ее муж, полковник царской армии Фридрих Финстер, известный советским товарищам под именем Федора Федоровича Угрюмова, в настоящее время должен находиться у сторожа тюремного кладбища за Голубинской улицей.

Уже в полной темноте чекисты обложили сторожку — небольшой каменный домик, прижавшийся к ажурной ограде возле калитки. На стук долго не отвечали. Наконец зашаркали то ли валенки, то ли галоши и недовольный голос поинтересовался, кого принесли черти в столь поздний час?

Чугунов выразительно давил плечо Марии. Та, подделываясь под разносчицу телеграмм, зябко шмыгая носом и переводя дух, начала объяснять сторожу, что она никакой не черт и не сатана, а служебное лицо, и послана именно сюда сообщить, чтобы его гость в дом на Астраханской показываться не смел, потому как там устроена засада.

— Мели, мели, Емеля, твоя неделя,— насмешливо произнесли из сеней. Там снова во-

царилась тишина, подобная кладбищенской.

— Так ты понял, дед?! — крикнула Маша, приложив губы к замочной скважине. И, не ожидая ответа, добавила: — Ну, я побегу обратно, а то боязно тут у вас...

— Погодь! — потребовали из сеней, и в приоткрытом дверном проеме показалась голова сторожа.— Одна?

— Одна,— жалостливо проговорила Казанская.

— Ну, заходь,— сторож утонул в темени коридора. Маша шагнула туда, как в пропасть, и шепотом произнесла:

— Чего заходить-то? Я все передала, что Виктор Назарыч наказывал.

— Ступай в светелку, самому скажи,— распорядился сторож, открывая дверь в комнату, освещенную подвешенной к потолку лампой.

Не успела Маша сделать шага к порогу, как за ней с грохотом распахнулась дверная створка, сторож отлетел в угол, зазвенев кучей лопат, и мимо нее промелькнули два сотрудника. Но, очевидно, в комнате были готовы ко всяким неожиданностям. Первым же выстрелом из-за печки была погашена лампа, тут же звенькнули стекла окна. Из другого угла палили прямо в темноту проема. С улицы тоже раздалось несколько выстрелов. «Значит, сумели выскочить,— подумала Маша,— неужели он?» Она выбежала из сеней и крикнула:

— Не стреляйте!

— Не в кого уже стрелять,— успокоил ее начальник отдела.— Бородатого взяли, а того, кажется, пришили к стенке.

Он направился к сеням, обращаясь к невидимому сторожу:

— Иди в комнату, старик. Зажги другую лампу или фонарь.— Повернулся к углу дома, позвал: — Сергеев, веди задержанного.

Сторож, глубоко вздыхая и приговаривая про грехи наши тяжкие, засветил другую лампу, поставил ее на середину стола, не ожидая

приглашения, сел на скамейку. Он даже не обратил внимания на лежащего в углу человека в военной форме, с которым всего несколько минут назад делил ужин, вел беседу «за жизнь». Словно ко всему происходящему он не имел никакого отношения. Мало ли за его долгую службу здесь перебывало покойников. Что же, он за каждого должен переживать?

Маша присела на корточки, разглядывая убитого. Это был не Угрюмов и даже не каптенармус. Он стала ожидать задержанного. И как только в тусклом свете показалась высокая статная фигура бородатого человека, девушка ощутила страшную усталость. Если бы она не прислонилась к стене, ноги не удержали бы ее. Бородатый сделал шаг, поднял голову и... застыл. Несколько секунд Угрюмов глядел на Машу, а затем со злой иронией произнес:

— Старый идиот. На какого живца клюнул...— Он расстегнул ворот железнодорожного кителя и прошел к лавке, где отрешенно сидел сторож.

— Разрешите? — обернулся он к конвоиру, но вместо того ответил начальник отдела:

— Еще насидитесь, господин полковник. Не будем терять времени. Поехали.

1980 г. Какой вздор...!

СТРОКА НА КАМНЕ

Тогда, помню, я удивился. Надо же, пятнадцать лет минуло после той памятной встречи, когда она вся, от задиристых носков белых валенок до красной звездочки на серой ушанке, искрясь, как первый, не тронутый войной февральский снег Сталинграда, сказала, заполнив счастливой улыбкой тесную бекетовскую улочку:

— А я вышла замуж!

Даже меня, не имевшего на нее виды, что-

то морозное ущипнуло за сердце. А каково было бы услышать это признание тем одноклассникам, которые совсем недавно перестали досаждать девчонкам глупыми остротами, сомнительной ценности изречениями, даже сентиментальными записками. Перед войной они неизменным эскортом, целиком полагаясь на ее вкус, терпеливо ожидали участницу танцевального ансамбля клуба имени «Павших борцов» после репетиции или концерта... И они, ни черта не смыслившие в мудреных французских «па де сизо» и «рон де жамбах», искренне уверяли, что после Ольги Лепешинской только она должна взойти Авророй на сцену знаменитого Большого. А если учесть, что имя у нее было такое редкое, красивое — Грация (правда, мы звали ее на свой манер — Граней, что далеко не соответствовало переводу с латыни), то казалось, что судьба ее предопределена.

Но началась война... Поклонники ее таланта были теперь далеко от родной школы. И я понимал, что Граня осчастливила не одноклассника. И хотя поступок ее мне казался тогда более чем легкомысленным, у меня не повернулся язык, чтобы омрачить ее день какой-нибудь расхожей репликой о скоротечности фронтовых браков.

Как я благодарен своему языку и той минуте молчаливого соучастия! Оказалось, что брак был не только долговечным, но и счастливым. И она с какой-то необыкновенной гордостью рассказывала о своем муже — солисте балета Ленинградского театра имени Кирова и с легкой иронией о крушении своей школьной мечты. Нет, не потому, что она оказалась бесталанной. Горячий осколок крупповской стали, застрявший в ноге, засадил ее за счетно-вычислительную технику планово-экономического отдела. Теперь ее тихие радости сводились к очередной премьере мужа и хорошим школьным оценкам дочери. Конечно, это не совсем то, что мы ей пророчили, но она

по-своему была счастлива и не сетовала на судьбу. Так, по крайней мере, казалось мне тогда. Но позже, когда еще десять лет спустя вновь встретились с Грацией Александровной, она вдруг открылась неведомой мне стороной души. Оказалось, все последние годы она жила не только своими планами-отчетами, премьерами мужа, тревогами необыкновенного акселерата, но и нетленной памятью фронтового братства...

Мы только что вернулись от нее, и я все еще находился под впечатлением встречи в домашнем кругу. В тот первый приезд она не звала меня в гости, сказав, что живут в центре Ленинграда, на Мойке, недалеко от того дома, где прошли последние годы Пушкина. Живут они в комнате свекрови. Обещают дать новую. Наконец дали. И снова место связано с именем великого поэта. У Черной речки. Там, где пуля проклинаемого нами до сих пор Дантеса повалила Пушкина на снег. Черная речка... Помнится, когда в школе мы изучали биографию и творчество Александра Сергеевича, когда смотрели черно-белый немой фильм «Поэт и царь», казалось, что эта самая речка и место, выбранное для выяснения отношений, находятся за Питером у чертей на куличках, а оказалось — совсем недалеко от центральных шумных проспектов. Или это бешеные скорости наших дней так сократили расстояния. Словом, места дуэли мы достигли, наверное, через полчаса.

И вот стоим у скромного памятного обелиска, и чувство незатихающей боли мешает вернуться к действительности.

Глядя на обелиск, я долго не мог заставить себя двинуться с места. Подобное чувство испытал в первый приезд в Ленинград, когда, ступив на мостовую площади Московского вокзала, не мог заставить себя пересечь ее, чтобы войти в вестибюль Северной гостиницы. Все, что было до сих пор слышано, читано, видено об этом городе, навалилось на меня не-

подъемной глыбой. Я чувствовал, как вся вековая история России от моих пращуров, забивавших первые дубовые сваи в основание города, до восстания декабристов, до Великого Октября с его залпом «Авроры» и штурмом Зимнего, до героической обороны Петрограда, в которой принимал участие мой отец, рядовой первого Пензенского коммунистического полка, до тех бессмертных блокадных дней Ленинграда — все это было связано со становлением, настоящим и будущим моей Родины — вошло в меня в те минуты прикосновения к мостовой. Думаю, что подобное чувство испытал не один я, каждый, кому повезло в жизни приехать в город-герой на Неве.

Я рассказал об этом своей спутнице, когда мы шли в ее новую квартиру. И она подтвердила мои мысли, потому что нечто подобное испытала сама. А я, забегая вперед, подумал, что не торжественное открытие мемориальной доски в память о погибших, а, наверное, вот этот пушкинский обелиск, затерявшийся теперь не на лесной поляне, а средь каменных громад, натолкнул ее на ту мысль, о которой речь пойдет дальше.

...Мы сидим в уютном номере ленинградской гостиницы «Россия». Беседа течет по руслу воспоминаний. Почему? Наверное, потому, что неумолимое время стирает следы прошлого не только с полей давних сражений, но и уносит из памяти черты близких и дорогих твоему сердцу сверстников, которые в сорок первом, надев солдатские шинели, ушли, чтобы не вернуться никогда. А нам сегодня порой так не хватает их дружеского совета, бескорыстной поддержки, сурового, но справедливого предупреждения. Может, потому, что за широким окном неумолчно шумит парк Победы, посаженный ленинградцами в первую мирную весну...

Парки... Их совсем юные или вековые аллеи с размеренным хрустом заснеженных дорожек, отчаянным шелестом опавшей листвы, с не-

умолчными трелями июньских соловьев... Как о многом могут рассказать или напомнить нам городские парки. Взять хотя бы этот. Раз он связан с войной, абсолютно естественно, что, слушая его, глядя на него, мы думаем и говорим о былом, давным-давно минувшем. И в этом нашем давнем прошлом видим каждый свое и редко что-то общее. Она, например, видит, как вот в такой же жаркий день ее часть отходила через калмыцкие степи к Сталинграду. Почему именно этот эпизод всплыл в ее памяти? Наверное, в логическом мышлении человека многое построено на противоположностях, казалось бы, взаимно исключающих друг друга. Скажем: тишина — грохот, радость — горе, любовь — ненависть. И сейчас шумливая зелень парка перенесла ее за тыщу верст отсюда в полупустыню, где, гляди не гляди, не встретишь не то что дерева, кустика. Лишь прокаленная добела полынь царствует от горизонта до горизонта, заполняя воздух над степью горьким ароматом. Но, может, не парк, а вот тот грузовик с бочками в кузове перенес ее в горячую юность... Она сказала: «Отходили». Но это было сказано мягко, с долей того юмора, на который мы, как победители, имеем полное право. Можете представить батальон в семнадцать человек, у бойцов которого кроме личного оружия есть полуторка, бочка бензина, бочка подсолнечного масла и мешок сахара. Отрываясь от противника, они жмут на все железки, чтобы где-то в этом проклятом безводном безбрежии встретить своих, зацепиться на каком-нибудь участке укрепрайона. Но ни своих, ни внешней полосы обороны. А железные стервятники систематически заглядывают на дорогу, прочесывают ее огненными струями мощных пулеметов, и от танков приходится петлять, точно зайцу от охотников. Лишь недалеко от Сталинграда встретились они с частями Красной Армии, идущими на передний край, но у батальона уже не было сил радоваться своему спасению,

долгожданной встрече. Мучимые голодом и жаждой, они съели сахар и выпили масло. Теперь к первым двум недугам прибавилась страшная желудочная боль.

— Если бы ты мог представить, в каком виде нас доставили в госпиталь,— сказала она, смущенно оглядывая себя, словно на ее одежде могли сохраниться следы той фронтовой дороги.— Но, слава богу, все выжили на этот раз, а бывало хуже...

Конечно, бывало. Особенно когда не думаешь и не гадаешь, что вот сейчас будет хуже, чем есть. Может быть, заглянув в будущее, а может, вспомнив что-то незабываемое, Грация вдруг безотносительно к первому рассказу произносит:

— Теперь я могу спокойно умереть.

На мой незаданный вопрос охотно отвечает. Отвечает, торопясь и волнуясь. Оттого, что вдруг я что-то не пойму в ее высоких словах о смысле жизни, о долге.

— Ты знаешь, по неписаному закону человек должен после себя оставить какие-то добрые дела. Ну, хотя бы три. Дом построить. Это образно. А в общем-то — завод, город. Это для страны в философском смысле. Семьей обзавестись. Это для прямого продолжения. Ну, хотя бы простого воспроизводства. И еще что-то для близких. Дерево посадить, колодец вырыть... Дом построить мне не удалось. Защищала его, как могла... Дочь воспитываю. А вот покоя на душе не было. Чувствовала себя должником. Перед памятью ребят... Сколько их осталось там, на крутом яру у Сталинградского тракторного. Обо всех ли знают родные? Был среди них один из Ленинграда. То есть много было, но я об одном. Имя запомнила — Алеша. А фамилию забыла. Такая простая, распространенная. Не оттого ли выпала из памяти? Но это не оправдание. Перед другими, может быть, а перед собственной совестью — нет...

И она рассказала, как в конце холодного

и мокрого октября их батальон несколько дней подряд не выходил из рукопашных, потому что немцы решили во что бы то ни стало сбросить в Волгу оставшуюся горстку защитников завода. Бои на этом участке продолжались практически без передышки. До Сталинграда такого не было. Обычно армия рейха начинала действия после завтрака, завершала перед ужином. А тут как с цепи сорвались фашисты. Если и наступала относительная тишина, то всего-навсего на час-другой, перед рассветом. Только в эти минуты и могли вздремнуть. Но не все. Кому-то нужно было находиться в дозоре. И вот в такую ночь приказали ей с Алешей выдвинуться вперед и бдить. Чтобы не заснуть, сели они спина к спине, прикрылись плащ-палаткой и начали по очереди рассказывать про свое довоенное житье-бытье. Тогда и узнала Грация, что ее напарник, ленинградец, после школы пошел учеником токаря на тот же завод, где вся династия, начиная от деда и кончая старшим братом и дядей, токарничала. Определили его учеником к дяде Степану. Но успел Алексей постичь лишь азы мастерства, ушел на действительную службу. С тех пор не удалось ему ни разу побывать в Ленинграде. Но из писем, из мимолетных встреч со знакомыми знал, что еще в первую блокадную зиму умер дед, где-то на Пулковских высотах погибли отец, старший брат Иван и дядя Степа. Вся надежда на продолжение рабочей династии теперь на него. Наверное, поэтому за все горькие месяцы отступления Алексей даже ранен не был, хотя воевал как нужно — медаль «За отвагу» заслужил. А в конце исповеди затаенно сказал, что, если согласится Грация, увезет он ее после победы в Ленинград, чтобы продолжить, пустить новые корни своей славной династии. А она доверительно сказала ему, что уже имеет такое предложение и тоже от ленинградца. Но с тем ленинградцем они вместе воюют уже год, начиная от

Ростова-на-Дону. Алеша не обиделся на откровение, только тяжелее обычного вздохнул.

Едва забрезжил над волжской поймой рассвет, немцы начали минометную обработку нашего переднего края. Одна мина попала в окоп боевого охранения. Прикрывая девушку, Алексей принял на себя все огненные осколки. И не стало больше на земле веселого доброго парня...

Уже после войны, всякий раз, отмечая День Победы, первую стопку вина поднимали за всех, кто не дожил до этих дней, и каждый за кого-то «своего». Грация — за Алексея. И все вроде шло нормально. Но вот однажды, уже после новоселья, она попала на открытие мемориальной доски, воздвигнутой у проходных знаменитого завода. Тогда-то и запала в сознание мысль о необходимости найти фамилию Алексея на такой же плите, на обелиске. Но у какого завода, она не знала, вернее, не запомнила. А самое страшное — забыла фамилию.

В письмах однополчан спрашивала. Не помнят. Много было Алексеев. Обратилась в совет ветеранов дивизии. Тоже не получила утешительного ответа. Время шло, а тревога все больше бередила сердце: вдруг так и останется забытым ее фронтовой товарищ. Тогда она решила объехать, обойти все старые заводы — большие и маленькие, познакомиться со всеми мемориалами, со всеми музеями боевой славы. Она верила, что, прочитав фамилию, вспомнит, увидав фотографию,— узнает. Ушастого, лупоглазого, с моднячим полубоксом. На тех редких довоенных фотокарточках, сделанных по случаю перехода в следующий класс, получения комсомольского билета, вручения паспорта или заводского пропуска большинство ее сверстников выглядело именно такими. И все-таки, среди повального однообразия, она была уверена: угадает его, потому что все эти годы он жил в ней, ничуть не старея.

Теперь все свободное время Грация посвящала поискам. Сколько за эти годы она пережила дней отчаяния, не перечислишь. Родные, знакомые, поначалу охотно помогавшие ей, видя бесполезность ее мытарств, уже уговаривали отказаться, отступить. Но они плохо знали свою подругу. Она верила, что найдет. И нашла!

На фасаде большого корпуса старинного завода увидела доску. И как только взгляд дошел до строчек с фамилией Синицыных, поняла: это то, что искала. Она же помнила, что старшего брата звали Иваном, дядю — Степаном. Впереди еще двое Синицыных. Дед и отец. Но имя Алексея не было выбито на разводах серого мрамора. Ни в архивах, ни в музее не значился ее фронтовой товарищ. Пришлось убеждать, доказывать. Пока не нашла трех седых, погрузневших ветеранов, которые вспомнили: а ведь верно, был еще один Синицын. Совсем пацан, и работать ему пришлось всего ничего — с весны до осени. Ушел в армию не перед самой войной, а года за два.

— Веришь,— устало сказала Грация Александровна, словно все эти события произошли не пять лет назад, а только что,— веришь, когда выбили Алешино имя на камне, прочитала, уперлась головой о стену и как дура наревелась от души. Будто великое дело свалила...

Она замолчала. Обхватила голову руками. Несколько минут сидела, склонившись над столом. Мне показалось, что ее грустные зеленые глаза наполнились слезами. Наконец Грация Александровна решительно тряхнула все еще пышной шапкой каштановых волос, незаметным усилием поднялась со стула и, точно автоматически, ровно по прямой прошлась от окна к двери и обратно, не отнимая рук от лица, цвет которого мало отличался теперь от цвета спелой рябины, так искусно изображенной на линогравюре. Такой нездоровый цвет постоянно сопровождает гипертоников, особенно в минуты больших душевных перепадов. И я понял,

что должен, обязан сказать сейчас же моей гостье что-то доброе, хорошее, чтобы хоть чуть успокоить так некстати расшатавшиеся нервы. Я представил, сколько же она пережила подобных дней, когда решила посвятить себя святому делу. Я остановился подле нее, прикоснулся к локону и, как можно теплее, сказал:

— Все мы перед кем-то в долгу. Ты вот молодец, исполнила...

Она наконец опустила руки и улыбнулась. Конечно, мои слова были слабым утешением, но я радовался, что Грация Александровна постепенно входит в условные рамки душевного равновесия.

— Нет,— хотя и мягко, но все-таки отклонила она мою похвалу.— Мы будем вечными пленниками этого долга. Я вот сейчас вспомнила нашу Катю. Мы же вместе ушли в военкомат. Нас направили в разные части. И я толком ничего не знаю о ней до сих пор.

Она стала перечислять достоинства одноклассницы, а я думал о том, что действительно наше поколение будет в неоплатном долгу перед теми, кто с соседней парты, из параллельного класса ушел на войну... И еще подумал о том, что, пока мы живы, на обелисках, на мраморных и гранитных плитах мемориалов долго будут появляться новые строки в память о тех, кто ушел и не вернулся...

1982 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Максимович Богомолов

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ

Редактор *Л. Т. Клосс*
Художник *А. Р. Захарченко*
Худож. редактор *В. И. Волкин*
Техн. редактор *Л. Г. Илларионова*
Корректор *Л. А. Лукина*

ИБ № 604

Сдано в набор 13.10.83. Подписано к печати 15.03.84. НМ 02841. Формат 84Х90[1]/[32]. Бумага типографская № 3. Гарнитура литературная. Печать высокая. Печ. физ. л. 12,5. Печ. усл. л. 17,5. Усл. кр. отт. 17,85. Уч.-изд. л. 17,64. Тираж 30 000. Заказ 221. Цена 1 р. 40 коп.

Нижне-Волжское книжное издательство
400066, Волгоград, ул. Советская, 4
Типография издательства «Волгоградская правда»
400066, Волгоград, Привокзальная площадь.

1р. 40 к.



Нижне-Волжское
книжное
издательство